

МИХАИЛ ДЕМИН
ТАЕЖНЫЙ БРОДЯГА

МИХАИЛ ДЕМИН • ТАЕЖНЫЙ БРОДЯГА



**АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ
МИХАИЛА ДЕМИНА**

Том 1. Блатной.

Том 2. Таежный бродяга.

Том 3. Рыжий дьявол. (Готовится к изданию)

Михаил Демин

ТАЕЖНЫЙ БРОДЯГА

Роман

RUSSICA PUBLISHERS, INC.
NEW YORK • 1986

DYOMIN, Mikhail.

TAEZHNYI BRODIAGA. A novel.

© for the Russian language edition

1986 by RUSSICA PUBLISHERS, INC.

All rights reserved. Except for use in a review, the reproduction or utilization of this work in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including xerography, photocopying and recording, and in any information storage and retrieval system is forbidden without the written permission of the publisher.

Cover design by *Vagrich Bakhchanyan*.

Library of Congress Catalog Card Number: 84-62843

ISBN: 0-89830-093-2

RUSSICA PUBLISHERS, INC.

799 Broadway.

New York, N. Y. 10003.

Часть 1

ВНЕ ЗАКОНА

Ты навек, Сибирь, околдовала
Белыми туманами меня...

ВОЛЯ

Зимой 1952 года окончился мой срок заключения. Я вышел из ворот лагеря на рассвете. Пересылка была расположена на краю Красноярска, вблизи железнодорожного полотна; в ранний этот час предместье выглядело пустынным и малолюдным, оно только еще пробуждалось. На фоне светлеющего неба плоско и четко чернели гребни крыш. Над трубами стлались ватные дымки, по ним шел белесый, ледяной отсвет зари, а внизу и вокруг — в подворотнях и палисадниках — еще гнездились тени. Плотными лиловыми глыбами лежал придорожный снег. Улицы окутывала зеленоватая стеклянная полумгла.

Наконец-то, после пятилетних арестантских мытарств, ступил я в новый, рассветный мир, хлебнул вольного ветра. Он был холоден, этот ветер. Он был хлесток и пронзителен. Он забивал дыхание и обжигал глотку, как спирт. Как девяностоградусный спирт.

— А не принять ли нам, братцы, по баночке? — сказал, словно бы сразу учуяв, угадав мое настроение, низкорослый мордастый парень с широкими скулами и бесстыдно задранными ноздрями (его, кстати, так и звали — Ноздря). — Глотнуть сейчас первачка, али водчонки — ах, хорошо бы! Надо же отметить, отпраздновать... Да и вообще студно. — И он, покосившись на меня, мигнул глазом. — Ась?

Я не один вышел из лагеря; вместе со мной освободились еще трое блатных. Это все была молодежь, зелень, "комса". Комса эта, однако, жила вполне профессионально и знала все, что ей полагается знать. И вот, будучи осведомленными о том, что я уже не прежний, что я недавно завязал, выбыл из закона и более не принадлежу к Бессмертному Племени Жулья, зная все это, они, тем не менее, доверчиво жались ко мне, взирали на меня с некоторым уважением. Как-никак, я ведь оставался в их глазах личностью заслуженной, породистой. Уважение это усугублялось также и тем еще, что они — в данный момент — были нагружены моими вещами.

Вещей имелось много; все то добро, которое собрали для меня блатные на последней, прощальной сходке, оно с трудом уместилось в трех объемистых мешках. Один из них я сразу же, в воротах, дал тащить Ноздре, другой — его партнеру, конопатому и шустрому, как мышь, карманнику Гоге. Третий мешок я держал сам, но уже посматривал — как бы препоручить в другие руки и его... Мешки были набиты туго, под завязку. По идее, этого мне должно было с избытком хватить на первое время. Продавая барахло, я мог спокойно ехать в нужном направлении, мог пересечь без хлопот полстраны. По сравнению с тремя моими попутчиками я выглядел богачом! И теперь они, размечтавшись о выпивке, явно рассчитывали на меня — на это мое богатство.

— Что ж, драгоценные, — сказал я, — отпраздновать — это дело. Я не прочь. Но прежде надо отыскать барыгу. Где они вообще тут водятся? Или махнуть, что ли, прямо на толчок?

— Зачем? — сейчас же проговорил третий попутчик, по прозвищу Рашпиль — угрюмый, с темным изрытым лицом, — зачем на толчок? Там еще пусто об эту пору.

Он стоял, сложив на животе руки, грея кисти в рукавах и приплясывая мерзлыми подошвами по мостовой.

— Да и вообще рискованно. С этими торбами нас с ходу заметут, иди опосля, доказывай... Кто поверит, что это барахло не краденое? Нет, надо по-другому. — И выпростав руку, Рашпиль махнул ею, указывая куда-то вдаль, в сторону полотна. — Айда

на малину - она вон она, за дорогой, на горке.
Здесь недалеко. Я знаю, я ведь местный.

* * *

Вот так и получилось, что я, едва выйдя на свободу, снова угодил в потайной воровской притон; провел там весь этот день и половину ночи. Барыга сыскался мгновенно. Два мешка были тотчас же опорожнены. (Третий я предусмотрительно уберег, запрятал под лавку, под ноги). Вытряхнутые из мешков вещи были тщательно рассмотрены, рассортированы, оценены. И в результате я получил задаток. Теперь можно было предаться желанному разгулу. И я предался ему, забыв обо всем, ошалев от безудержного веселья.

Опять, как бывало, как встарь, окружали меня воспаленные лица, кривящиеся, хрипло горланящие рты. И вновь надрывалась, тренькала, ныла гитара - выводила щемящие, травящие душу лады:

По Сибири долго шлялся
Каторжанин молодой.
Полюби ты меня, чалдонушка,
Я налетчик золотой.
А если ты меня полюбишь,
не побрезгуешь ты мной,
то пойдем мы с тобой, чалдонка,
по дорожке столбовой.

Навалясь на стол, разбросав руки среди объедков и мокрого мусора, я раскачивался в такт гитарным ладам и шурился сквозь дым на чужие, мутные, медленно вращающиеся лица. И подпевал, тянул со всеми вместе:

Палки вырежем - длинные, тонки,
от сибирских злых собак.
И зачнем мы с тобой, чалдонка,
по Сибири кочевать.
Где достанем, где добудем,
Где обманем простака,
А где купца в лапти обуем -
все возьмем наверняка!

Потом рядом со мною появилась девка, коренастая, с толстым пористым лицом, с потной — в мягких складках — топленной шеей. Наваливаясь на меня и жарко, смрадно дыша, она бормотала что-то, подмаргивала прельстительно. И опять я шумно требовал выпивку, трещал червонцами и ронял их на скатерть, в липкие росплески вина.

Среди ночи я вдруг очнулся. Ощущение было такое, словно кто-то окликнул меня по имени, негромко и явственно позвал... В комнате, однако, было тихо. Упившаяся малина давно уже и беспробудно спала. Сквозь щель меж занавесками просачивался томительный, призрачный свет уличного фонаря — окрашивал краешек обоев и струился по лицу посапывающей, навзничь лежащей девки.

Она была нага, дебела, жирна. Непомерные груди ее обмякли и разъехались, они простерлись по сторонам, как тюленьи лапы. Лицо ее запрокинулось, из-под жидких прядей волос видны были длинные хрящеватые уши. Я содрогнулся и поспешно отвел глаза — до того она показалась мне страшна...

Я потянулся к стулу, к лежавшей на нем одежде. Нашарил там папиросы и жадно, с наслаждением закурил. Табак успокоил меня, вернул ясность мысли. И сидя на краю постели, кутаясь в дым, я на миг вернулся памятью к прошлому и затуманился, задумался, перебирая даты и вехи пройденного пути.

* * *

Грешный и путанный этот путь начался, в сущности, в 1937 году — в разгар ежовского террора. Именно тогда пошла под откос моя жизнь, распалась и рухнула вся семья. Мой дядя, Валентин Андреевич Трифонов — старый революционер и крупный дипломат — был расстрелян. Его жену (тетю Женю) отправили в Карагандинские концлагеря, где она отбыла десять лет. Отец мой, Евгений Андреевич Трифонов-Бражнев, участник Гражданской войны, кадровый военный, полковник генштаба и, одновременно, — известный советский пролетарский писатель, в ту же пору был внезапно уволен из армии, лишен партбилета и какое-то время жил, ожидая ареста. Обычно аресты

происходили ночью. И зная это, по-солдатски, спокойно, готовясь к беде, отец, как правило, не спал ночами, расхаживал до зари по квартире, прислушивался к шагам на лестнице... Он не хотел, чтобы беда его застала врасплох! Продолжалось это несколько месяцев. Затем сердце его не выдержало — разорвалось. Произошло это летом 1937 года; тогда мне только что исполнилось одиннадцать лет. Похоронив отца, я перебрался в Москву, к матери, которая давно уже жила отдельно от нас. Однако московская моя жизнь не задалась; все в ней было худо. Мать жила с новым мужем — и дети от первого брака были для нее обузой... По сути дела я оказался предоставленным сам себе. На меня никто не обращал внимания. Никто — за исключением, пожалуй, полицейских властей. А вот этого я как раз боялся больше всего. Я ведь имел уже некоторый опыт, был достаточно напуган режимом. И впервые попробовал вкус тюремной баланды в 1942 г., в шестнадцатилетнем возрасте. А затем — уже после войны — случилось так, что мне пришлось срочно бежать из Москвы, скрываться от властей, — жить тайно, без документов и без малейших шансов на возврат...

Выражаясь блатным языком, я "ушел сквозь землю", превратился в "человека без прошлого". Я стал бродягой, связался с уголовниками, вошел в воровскую кодлу. С течением времени я достиг там известного положения, приобрел авторитет. Авторитет этот во многом был сопряжен с моим творчеством — со стихами и песнями; блатные любили их, знали, заучивали наизусть.

За годы моих скитаний по лагерям (а я побывал на Кольме, на 503 стройке, в Краслаге и в Норильске — в самых крупных арктических лагерях России) мне довелось постепенно сблизиться с политзаключенными; среди них было много людей высокообразованных, благородных, искренно и добро относящихся ко мне. Общение с ними сыграло определенную, весьма благую роль. Я поверил в поэтический свой дар, решил начать жить по-иному и дал зарок: посвятить себя, после освобождения, литературному творчеству... Сообщил я об этом уркам, еще будучи в заключении, на пересылке; за день до своего освобождения. Поступая так, я шел на риск; я ведь не знал

как отнесутся к этой новости уголовники! Вообще говоря, "завязать", отойти от коды, мог, по традиции, любой незапятнанный блатной... Однако старые воровские законы с течением времени ослабли, претерпели некоторые изменения. Нынешний уголовный мир был уже не прежним - монолитным, подчиненным единой вере. За последние годы в нем обозначились ереси, произошел раскол. Результатом этого раскола явилась знаменитая "сучья война"... Жесточайшая, яростная вражда между двумя группировками (раскольники стали именоваться "суками", а те, кто был верен традициям, кто придерживался канона, - получили прозвище "законников") постепенно приобрела невиданные масштабы и охватила все тюрьмы и лагеря страны, по существу - всю огромную нашу державу! В таких условиях отход от своих (я принадлежал к группе "законников") выглядел, как предательство. Во всяком случае, именно так его можно было истолковать! И, помнится, я долго - с беспокойством и тревогой - дожидался решения воровской сходки... Шпана шумела в бараке, а я (уже утративший все свои права и отныне лишенный доступа в общество) слонялся под окнами и нервничал, упрекая себя в легкомыслии, в неуместной наивности. В конце концов, я мог бы умолчать, скрыть свои намерения и обойтись, таким образом, без лишних хлопот! Мог бы, конечно. Но тогда вся последующая, вольная моя жизнь, усложнилась бы до чрезвычайности. Воровская коды не выпустила бы меня легко из рук. И развязаться с ней было бы тогда значительно сложнее... Так я терзался и маялся, и не знал, каково же будет ее решение - чем закончится толковище? Оно закончилось весьма неожиданно.

В дверях барака появилась сухая, высокая фигура старого моего друга, ростовского взломщика по прозвищу Солома. Костлявое, длинное его лицо морщилось, лунообразный рот улыбался. Поманив меня пальцем, Солома сказал: "Взойди-ка, голубок, в помещение". И когда я взшел - он небрежно мотнул головой, указывая в угол: "Вот, смотри. Это для тебя!" В углу пестрой грудой были навалены всевозможные вещи - костюмы, сапоги, свитера, плащи. Я спросил растерянно: "Это что? Зачем?" - "А затем, что ты теперь - не блатной, - пояснил Соло-

ма. — Ты же сам говорил о том, что это первый твой шаг на свободу — и ты начинаешь новую жизнь... Так вот — начинай! И пусть этот твой шаг будет спокойным." — "Но куда мне столько?" — пробормотал я, озирая сваленные в углу тряпки. Небрежно поведя рукою, Солома сказал: "Не захочешь носить — продашь... Главное, чтобы ты не шкодил по дороге, не засекался по пустякам. Попадаться теперь тебе нельзя. Играй чисто, малыш, играй чисто!" И что-то, очевидно, заметив в моем лице — добавил строго: "Не смей отказываться. Бери все! Сходка решила..." — "Что же она, конкретно, решила?" — поспешно спросил я. И друг мой ответил: "Она решила — быть тебе поэтом!"

Это все я припомнил, очнувшись среди ночи в воровском притоне и озирая в смятении дымную, прокуренную комнату, обшарпанные — в ржавых разводах — стены, и нечистую, смятую постель, и лицо лежавшей рядом, посапывающей девки.

Кто она? — мутно подумал я, преодолевая похмельный морок, морщась от саднящей боли в виске, — как ее звать? Ах, черт возьми, что же это творится? Что я вообще делаю? Я ведь изменяю себе. И не только самому себе — но и Соломе, и всем старым друзьям моим, всей кодле. Кодла поверила в меня, выпустила из когтей... Выпустила — а я сам сейчас лезу обратно. Нет, надо уходить отсюда, спастись, пока не поздно!

Я слез с постели. Медленно, кряхтя, натянул брюки и пиджак, принялся было разыскивать сапоги — заглянул под стол и задел невзначай стоявшие там пустые бутылки. Они рухнули, дребезжа, покатались со звоном. И тотчас же девка затихла в постели. Заворочалась, всхрипнула смачно. И села, потягиваясь.

— Ты чего это? — спросила она сырым, качающимся голосом, — куда?

— По делу, — сказал я мрачно.

— Так пошто одеваться-то? Вот, чудной! Это ж тут, в коридорчике. Как выйдешь — аккурат за углом.

— Да нет, — поморщился я, — мне в город надо, понимаешь? Срочно надо! А ты — спи.

Но малина уже пробудилась. Скрипнула дверь.

Шлепая босыми ногами, вошел в комнату грузный человек в белье; это был хозяин притона, тот самый барыга, что давеча скупил у меня тряпки. Зевая и почесываясь, он пробасил:

- Отчаливаешь, значит?

- Как видишь, - пробормотал я, натягивая сапог.

- На всю ночь?

- Да.

- Ну, как хошь. Ты город-то хоть знаешь?

- Это неважно. Разберусь. - Я шагнул к вешалке, сдернул с гвоздя полушубок. - Но учти, я завтра загляну - за расчетом. Готовь гроши!

- К завтраму я навряд обернусь. - Он насупился, скребя ногтями волосатую грудь. - Ты бы подождал денька три, а?

- Нет, бытя, - усмехнулся я, - не могу. Ждать да догонять - сам знаешь - последнее дело!

Я вышел на улицу - и окунулся в мерцающую светлую темень. Голубое сияние снегов окружило меня, ледяные созвездья расточились над головою. Колючими мурашками пополз за воротник предзаревой морозец. И сразу прозябнув и протрезвев, я заколебался, пожалел о содеянном. На мгновение мелькнула юркая мысль: а не вернуться ли назад, в тепло? Куда мне сейчас идти и что мне делать - одному, в чужом этом, сонном городе? Но тут же я сказал себе: нет, нельзя! Назад уже нет возврата! Я сам выбрал себе такую участь и надо теперь идти до конца.

И запахнув полушубок, упрятав лицо в воротник, я двинулся туда, где маячили вдалеке радужные станционные огоньки.

Было тихо в ночи, лишь звонко похрустывал под подошвами снег, да кое-где, за оградами, бесились - заслышав мои шаги - свирепые цепные псы. "Палки вырежем длинные, тонки, - выплыла вдруг в памяти песня, - от сибирских злых собак".

* * *

Ах, какой томительной и долгой была эта первая моя ночь на свободе! Она запомнилась мне навек. Я промерз в эту ночь до костей, я онемел от стужи и тоски. Отрешась от подземного, потайного мира (и

не освоившись еще с новой средой), я растерялся, почувствовал себя, как в пустыне. Угрюмо и немотно вздымались вокруг очертания зданий, тянулись улицы, до краев налитые тьмой. И в этой тьме брел я, маленький, до ужаса одинокий... Никто не ждал меня в новом этом мире, никому я здесь не был нужен. Я мог бы подохнуть под любым забором, в снегу, и только псы — цепные косматые псы — отпели бы мою кончину. Тягучий их вой и хриплая многоголосица преследовали меня, провожая от двора к двору, от перекрестка к перекрестку.

Единственным ориентиром в этой пустыне служили мне станционные фонари. Они притягивали меня так же, как огонь в ночи притягивает мошкар. И точно так же, как мошкара, — когда она мечется, обжегшись, — я затрепетал и забеспокоился, приблизившись к свету, ступив в его полосу.

У дверей вокзала неспешно, вперевалячку, расхаживал милиционер. А попадаться ему на глаза мне сейчас нельзя было. Нельзя ни в каком случае!

Дело в том, что свобода, которую я добыл с таким трудом, — была свободой не полной, весьма относительной... Конотопский железнодорожный трибунал в свое время приговорил меня к шести годам лагерей с последующей трехлетней ссылкой. Выражаясь языком арестантов, я получил тогда "шесть в зубы и три — по рогам". Лагерный срок я кончил, разменял, причем разменял на год раньше, чем было положено; за время, проведенное мною на 503 стройке (на знаменитой Енисейской "мертвой дороге"), незаметно набежали зачеты. В условиях полярных лагерей они были неплохими; рабочий день здесь засчитывался — за три... В общем-то, на этой стройке — так же, впрочем, как и всюду — я не вкалывал по-настоящему, был занят иными делами (участвовал в междоусобице, жил, как на войне), но все же я числился в рабочей бригаде, и если не выходил на работу, оставался в зоне — то всегда под предлогом болезни... Лагерный врач, Константин Левицкий, неизменно покрывал меня, выгораживал всюду. Он как раз и был одним из тех "политических", с кем я сошелся, сблизился постепенно, и чье влияние привело в конце концов к тому, что я решился начать иную, новую жизнь. Левицкому я вообще был многим обязан; он

не только помогал мне, как врач и администратор, но также интересовался моим творчеством, подолгу и охотно беседовал со мною о литературе и незадолго до моего освобождения ухитрился — с помощью каких-то вольных своих друзей — переправить тетрадку с моими стихами в Красноярское отделение Союза Писателей. Теперь прямой моей целью было попасть в этот союз и увидеться с тамошними писателями...

Цель, как видите, была ясная. Однако на пути к ней имелась грозная преграда — милиция! Решительно порвав с преступным миром, я по-прежнему боялся властей, избегал их. Ведь после лагеря я должен был сразу же отправиться в ссылку. По приговору суда я был лишен гражданских прав и мог теперь жить только там, где мне укажут — а вовсе не там, где хочу... Оформляя документы на освобождение, начальство избрало для меня Хакассию — таежную область на юге Красноярского края. Главный город Хакассии, Абакан, расположен был в пятистах километрах от Красноярска. Вот там-то мне и полагалось находиться! Нет, встречаться сейчас с постовым — да к тому же еще ночью, на глухой окраине, — было делом рискованным...

Итак, увидев постового у вокзальных дверей, я дрогнул, съезжился и отпрянул... Слава Богу, он меня не заметил; он как раз в этот момент прикуривал, поднеся к лицу темные, сложенные ковшиком ладони.

Потом я какое-то время таился в привокзальном скверике, мерз и маялся, дожидаясь момента, когда постовой отойдет. Случилось это не скоро. Ночь уже начала иссякать, восток подернулся белесой пепельной дымкой, и кое-где, в пристанционных зданиях, засветились окна, роняя на истоптанный снег неровные желтые квадраты.

"ХВАТАЙ ФОРТУНУ ЗА ВЬМЯ"

Проникнув в помещение вокзала, я несколько минут стоял, прижавшись грудью к пыльной, пышущей жаром, батарее центрального отопления.

Я широко распахнул полушубок, стараясь захва-

тить, вобрать побольше тепла — раскинул руки, обнимая батарею — и замер так, закаменел, с наслаждением чувствуя, как идет по телу сладостная истома. Затем я осмотрелся, отыскивая место, где можно было бы устроиться поудобнее.

Зал ожидания был переполнен, набит битком. Вокзал жил своей обычной — бездомной, суетной жизнью. Кто-то спал, прикорнув среди мешков и корзин, кто-то закусывал, расстелив на лавке засаленную тряпицу. В углу четверо солдат (судя по всему — отпускники) — молодые, вихрастые, в распоясанных гимнастерках, в шинелях, небрежно брошенных на плечи — шумно резались в карты. Играли в подкидного, но не на деньги, а — в "носы". Проигравшему били картами по носу; он сидел, наморщась, запрокинув лицо, а остальные, сгрудясь вокруг, считали удары и сердито кричали, чтоб не ворочался. Рядом с солдатами помещалась баба в мохнатом платке; она деловито грызла подсолнухи, засекала пол трескучей шелухой. Поодаль еще одна — помоложе — кормила ребенка, выпростав грудь, подставляя ему коричневый сосок, а тот отворачивался и лопотал что-то, и хныкал пронзительно, и глядя на все это, я понял, что здесь мне ни отдохнуть, ни выспаться не удастся. И вздохнув, отправился в буфет.

Он уже открылся, по счастью; наконец-то я мог сесть, развалиться, вытянуть занемевшие ноги! Наверное у меня был неважный вид, потому что официантка, подошедшая ко мне, спросила участливо:

— Вам плохо?

— Нет, — пробормотал я, пытаюсь изобразить улыбку, с трудом шевеля занемевшим ртом, — просто устал. Вот похмелюсь — и все пройдет. Тащи-ка, милая, водочки графинчик! Ну и какую-нибудь закуску, только — не холодную... С пылу, с огня!

Потом, налив стакан до краев, я усмехнулся мысленно: "Ну, как эта новая жизнь? Не слишком скучна? — спросил я себя, — не чересчур? погоди, погоди, еще не то будет. Не заскучаешь. Нынешняя ночь — это лишь цветочки!" И подняв в непослушных пальцах стакан, я медленно выпил все до капли и шумно перевел дыхание. И на миг смежил ресницы, прислушиваясь к ощущениям. Горячая судорога сотрясла меня, прошла по жилам, по костям; стало хорошо и

вольготно. Вот теперь я согрелся по-настоящему! И сердце тоже словно бы оттаяло, стукнуло гулко и наполнилось хмельным веселым звоном.

Тогда я, открыв глаза, потянулся к шипящей яичнице. И увидел давешних знакомцев — Ноздю и Гогу. Они откуда-то возникли незаметно и теперь стояли возле столика — поглядывали на меня, ухмыляясь.

— Ну, ты даешь, — протяжно сказал Ноздря, — лихо тяпаешь, лихо!... Только ты чего же — один? Давай с нами, ась? Он мигнул. — Не возражаешь?

— Садитесь, ребята, — я широко повел рукой, — о чем речь? Прошу. Наливайте.

— Только учти, — сказал, опускаясь на стул, Гога, — у нас грошей не густо.

— Что ж так? — поинтересовался я лениво, — фарту не было?

— Вот именно что — фарту, — пробормотал Ноздря. Он бережно принял стакан. Сильно потянул в себя воздух сквозь зубы. Выпил, отдулся, помотал башкой.

— Фрайер пошел какой-то неприятный, — добавил он, нюхая корочку. — Покуда мы срок тянули — народ вконец испортился... Нервный стал, дерзкий, недоверчивый. Как тут работать?

— Опять же и рука отвыкла, — проговорил, насупясь, Гога. — Шутка сказать, пять лет на общих работах! Кайло да лопата — разве ж это подходящий инструмент? И он тоже потянулся к графинчику. И потом, хлебнув, сказал: — Вот так вот и теряешь квалификацию... Обидно.

— А вы кто же по специальности? — спросил я, — ширмачи, как я понимаю?

— Мойщики, — уточнил Гога. — На бану промышляем.

— Мойщики-банщики, — усмехнулся Ноздря. И легонько похлопал меня по плечу. — Ты же ведь сам, Чума, был майданником — нашу работу понимаешь...

Я понимал их работу! Я прошел когда-то в молодости добрую школу, познакомился со всеми воровскими профессиями и имел среди ширмачей немало друзей. Ширмачами обычно называются карманные воры, но это — общее, условное название. А сама эта профессия делится на различные жанры. И мойщики в

данном перечне занимают особое место. Суть этой профессии заключается в том, что мойщик орудует не в магазинах и не в трамваях — как обычно — а на ночных вокзалах и в пригородных поездах. Поездные пассажиры — народ для карманника нелегкий. Деньги они прячут надежно, глубоко. Здесь зачастую приходится пользоваться бритвой — "мойкой". Отсюда и общее название — "мойщик". А сочетание этого названия со словом "бан" (что значит — вокзал) дает остроумное определение ремесла.

— Ты понимаешь, — утвердительно повторил Ноздря. — Я о тебе давно слышал. И вот же, ей-Богу, досадно: ну зачем тебе было отказываться от надежного дела, от хорошего общества?

— Да как тебе сказать, — замылся я, — так с ходу не объяснишь. Ты считаешь это дело — надежным?

Я хотел добавить еще и про "общество", но — воздержался... На минуту воцарилось молчание. Гога усмехнулся, Ноздря зашуршал папиросой. Затем сказал — закурив и вытолкнув колечко синеватого дыма:

— Все, конечно, зависит от фортуны. Как она повернется, как глянет. И вообще, раз на раз не приходится... Сегодня я, к примеру, нищий... Но зато завтра — князь!

— Что ж, пожалуй, — кивнул я.

— А если, скажем, подопрет, понадобится, — любой барыга мне кредит откроет. Каждый кореш поделится. — Ноздря сощурился лукаво — щелкнул пальцем о графин. — Угостит, развеет горе... Разве не так?

— Ну, так, — сказал я. — И дальше?

— А дальше я тебя хочу спросить. Про твои шансы.

— Не знаю, — пожал я плечами, — пока никаких шансов нет. Но, думаю, — появятся...

— На что ж ты рассчитываешь?

— Так ведь он же поэт, — вмешался в разговор Гога. И укоризненно посмотрел на товарища.

— Слышал, — сказал Ноздря. — Кодла так и приговорила: быть ему поэтом! Но что такое — поэт? Это ж так... для души... Не занятие, а забава. С этого, брат, не раскрутишься, не проживешь.

— Ну, не скажи, — возразил Гога. — В Новосибирске как-то раз ребяташки колупнули квартирку у одного поэта — богатый получилась скачок! — Он выра-

Вскоре мы уже шагали по шумным, залитым январским солнцем, улицам города. Адрес удалось отыскать легко; его сообщили нам в первом же книжном киоске. И пока мы шли, продираясь сквозь людскую толчею, я перебирал в памяти те самые стихи, которые должны были быть отосланы в Красноярск Левицким. В тетрадке, оставленной у него, записано было немало! Там имелись (это мне помнилось отчетливо) тексты некоторых моих песен, а также — короткие пейзажные зарисовки, лирические миниатюры... Блатные и лагерные песни, как я понимал, пригодиться в данном случае не могли. Да и вряд ли их кто-нибудь смог бы здесь по-настоящему понять! Зато миниатюры годились для печати бесспорно. И я со вкусом повторял их мысленно, бормотал про себя: "В ночь росой обрызгана трава. Плачет рысь, да ухает сова. Свет зарниц загадочный и зыбкий. А меж хвойных лап такая мгла! Очень просто ночью, по ошибке, прикурить от вспышки рысьих глаз!" Вообще, если говорить о колорите, то в стихах моих преобладал, в основном, — ночной, какой-то тревожный... Я раньше не обращал на все это внимания. И теперь вдруг забеспокоился: а не помешает ли это? Не покажутся ли кому-нибудь стихи мои чересчур уж мрачными? В самом деле: какую вещь ни возьми — всюду та же палитра, одно освещение: "Слышишь? Козодой трубит в трубу. Наступает вечер, как солдат, — серый и зеленый, и во лбу у него — полярная звезда. И трубит, и в сумрачном дыму, плачет козодой среди чащобы... Он — поэт! Иначе для чего бы при луне всю ночь не спать ему?" Или вот такое, например, стихотворение; вроде бы уж не ночное, рассветное, но все равно, окрашенное в пасмурные тона: "Пролилось в распадок глухоманный молоко таежного тумана. На востоке звездочка слиняла. Сыростью пропахли зеленыя. Ты навек, Сибирь, околдовала белыми туманами меня!"

А все-таки это неплохо звучит, — думал я. "Молоко таежного тумана". Или: "прикурить от вспышки рысьих глаз". Неужели они там, черт возьми, не оценят? Нет, не может быть — должны оценить, должны! Невольно предался я сладким мечтам, воображая,

как все это будет, как произойдет... Вот я вхожу, представляюсь. Услышав мое имя, местные знаменитости тотчас обступают меня, цитируют мои вирши и дивятся: откуда он взялся, такой талантливый парень из народа?

Главного их начальника, руководителя здешнего Союза, я уже, кстати, знал. Имя его было - Сергей Сартаков. ?Еще будучи в заключении, на Севере, я однажды разыскал в лагерной библиотеке его роман "Хребты Саянские". Прочел и, признаться, огорчился. Три огромные книги романа посвящены были партийной борьбе в предреволюционной Сибири; они показались мне на редкость скучны и безмерно затянуты. Но, может быть, подумал я тогда же, слаб не роман - слаб я сам; очевидно, я просто еще не созрел для настоящей, большой, серьезной литературы! Встреча с Сартаковым представлялась мне так. Литературный этот босс пожимает мне руку, произносит всякие лестные слова и затем - со вздохом удовлетворения - предлагает мне свое кресло. Наконец-то можно уйти на покой; пришла достойная творческая смена!.. Ну, насчет кресла я, конечно, переборщил, и если и думал так - то с юмором. Но все же будущее рисовалось мне в радужных тонах. И твердо веруя в него, я с сожалением покосился на моих спутников: понимают ли они, дети природы, что происходит? Чувствуют ли - с кем сейчас идут?

Гога мелко семенил, ссутулясь, вобрав голову в плечи. Воротник его тужурки был поднят, шапка низко надвинута на глаза, - виден был только острый, пошмыгивающий носик, с повисшей на конце его капелькой. Товарищ его, наоборот, шагал размашисто, отворив телогрейку, бойко поглядывая по сторонам. Лицо у него было своеобразное: выпуклые надбровные дуги, обезьяньи, широко разверстые ноздри, большая, мясистая, розовая пасть.

Н-да, с такими личиками при дневном свете появляться рискованно, - отметил я машинально. - Зачем я, дурак, потащил их с собой? Представляю, какой будет переполох в Союзе, если я завалюсь туда с этим зверинцем...

Гога внезапно сказал, останавливаясь на углу:

- Слушай-ка, а нас, вообще-то, пустят туда?

- Н-не знаю, право, - замялся я. - Не представ-

ляю - какие тут порядки? Конечно, организация это строгая, официальная...

- А и верно, - встрепенулся Ноздря. - Это ведь контора! - Он наморщился в сомнении. - А я, брат, не люблю в конторах ошиваться... Давай-ка мы лучше на улице подождем. - Он посмотрел на меня. - Ась?

- Что ж, ладно, - отозвался я с видимым облегчением. - Побудьте где-нибудь поблизости. - Я указал на ближайший подъезд. - Ну, хотя бы вот здесь. В затишке.

- Ты ведь недолго будешь? - поинтересовался, закуривая, Ноздря.

- Да нет - небрежно отмахнулся я. - Ну, познакомимся, конечно, обнюхаемся - для начала... Мне главное выяснить: как там мои стихи? Может, их уже к печати готовят... Эх, братцы. - Я широко улыбнулся, не в силах сдержать распирающей меня радости. - Если это так, ох и гульнем же мы, ох и гульнем!

- Само собой, - сказал Ноздря. - Дело святое. Тебе, небось, сразу же и гроши отваят...

- Вероятно, - сказал я, - вероятно. А почему бы и нет?

Я, между прочим, был в ту пору настолько наивен, что даже не знал, как, собственно, платят поэтам? Как это вообще делается? Где и при каких обстоятельствах получают они гонорары? Весьма возможно, что так оно и происходит: автор является в писательскую свою контору - и с ходу получает пачку ассигнаций; легко и безболезненно набивает мощну...

Стало быть, мы ждем, - кинул Гога. И засеменял к подъезду. И уже оттуда, из полумрака, махнул мне рукой. - Иди, давай! Хватай фортуна за вымя!

"НЕ ХОТИТЕ ЛИ ПОСОСАТЬ"

"Красноярское отделение Союза писателей РСФСР", - как значилось на табличке, приколоченной к воротам дома, - помещалось во дворе, во внутреннем строении, на третьем этаже. Я взлетел по лестнице одним махом, как на крыльях. И вдруг на какое-то

мгновение ослаб, заробел. Я и сам не понимал — чего я испугался? Но, честное слово, если бы на улице меня не ждали приятели — я бы тотчас сбежал, ретировался незаметно... Однако отступать было уже нельзя! И весь напрягшись, и задержав дыхание (как если бы я собрался нырять в ледяную воду), я приблизился к двери и постучал.

На стук сейчас же отозвался высокий, резкий женский голос. "Войдите", — прокричала женщина. Я толкнул дверь, вошел в просторную светлую комнату и увидел сидящего за столом человека в мышинном костюмчике — пожилого, заметно лысеющего, с одутловатым, благообразным лицом.

Никакой женщины здесь не было; голос принадлежал ему. И странным этим, тонким голосом, он сказал — поигрывая карандашом:

— Слушаю вас.

— Здравствуйте. — Я перевел дух. Снял шапку — скомкал ее в руке. — Извините. Мне нужен Союз Писателей... Это здесь?

— Да, да, — подтвердил он. — У вас какое-нибудь дело?

— Видите ли, — проговорил я нерешительно, — конкретного дела у меня, собственно говоря, нету... Просто — зашел... Хотел познакомиться... Ну, и заодно выяснить: получили ли вы мои стихи?

— Стихи? — Он поднял брови. — Вы поэт?

— В общем, да, — ответил я. И потупился застенчиво. — В какой-то мере...

— В какой же мере?

— Ну, вообще. Пишу... Подвизаюсь, так сказать.

— А простите, — ваша фамилия?

Я назвал себя. И посмотрел на него испытующе. К моему удивлению, никакой реакции не последовало; sereneкий этот человек держался невозмутимо, спокойно, чересчур спокойно! Лицо его выражало вежливую скуку — и только. Тогда я добавил медленно:

— Стихи были посланы вам, примерно, полгода тому назад. С севера — из Ермакова.

— Ах, с севера, — протянул он, оживившись, — да, да, да. Из Ермакова? Припоминаю.

Он указал полусогнутой ладонью на стул.

— Садитесь пожалуйста.

— Да нет, — замаялся я, — спасибо. Постояю.

— Садитесь, — сказал он настойчиво. И сощурился — собрал у глаз лучистые морщинки. — Или, может быть, вам уж так сидеть надоело, что и думать об этом тошно? Ничего, не стесняйтесь. Я все понимаю.

И потом — когда я уселся:

— В Ермакове, если я не ошибаюсь, находится управление 503 стройки...

— Ну, в Ермакове не только управление, — пожал я плечами, — не только. Поселок огромный, жителей много. К лагерной стройке имеют отношение далеко не все.

— Но вы-то ведь имели? — Крошечные белесые глазки его уперлись в меня — обшарили с головы до ног и прикрылись бровями. — Были именно там, ведь так?

Вот этого вопроса я боялся больше всего. Мне вовсе не хотелось представлять перед писателями в качестве бывшего зэка. Черт возьми, — подумал я тоскливо, — неужто он все знает? Ах, как это некстати. Но откуда он мог узнать? Каким образом? Или просто — догадывается? Машинально — досадливым жестом — провел я ладонью по голове. И тотчас отдернул руку. Голова была колючая, коротко стриженная, типично арестантская; я совсем забыл об этом!

Ну, конечно, — понял я, — конечно. Любой дурак догадается. Из Ермакова, да еще с такой прической — кем же я могу быть?!

После короткого молчания я сказал — с трудно сдерживаемым вздохом:

— В общем, да. Как вы правильно подметили, я оттуда. Со стройки. Но теперь все кончено, я освобожден, начинаю новую жизнь и хочу всерьез заняться литературой.

— Что ж, намерения ваши похвальны, — проговорил он рассеянно, вертя в пальцах карандаш, постукивая им о край стола. — Похвальны. Но это, так сказать, — в перспективе. А конкретно, что вы намерены делать? Чем заняться? Где жить?

Он подался ко мне — простер руку.

— У вас, вероятно, имеется при себе какой-нибудь документ, справка об освобождении...

Я почувствовал внезапное раздражение. И глуша его, сдерживаясь, изобразил на лице своем небрежную светскую улыбочку:

— Справочка имеется — как же иначе! Но вы...

пардон... вы кем же тут работаете?

— Ответственным секретарем отделения, — сказал он, озаряясь ответной улыбкой. — Мое имя — Сергей Сартаков!

Я был искренне удивлен; писателей я представлял себе иначе! Творческая работа никак — в моем воображении — не сочеталась, не увязывалась с подобным обликом.

— Сергей Сартаков, — пробормотал я, — ну, как же, как же! Знаю. Читал. Так вот вы какой...

— Где же вы меня читали, — поинтересовался он, — там, на севере?

— Там.

— А где вы, кстати, были — на каком участке? — спросил он, выказывая пугающую осведомленность, — на 18-ом километре, под Игаркой, в самом Ермакове?

Простертая его рука по-прежнему лежала на столе — ладонью вверх. И задав этот вопрос, он сложил пальцы щепотью — пошевелил ими выразительно:

— Все-таки, позвольте взглянуть...

Я извлек из кармана и протянул ему справку. Он прочитал ее внимательно. И потом — судя по пробежке глаз — еще раз. И аккуратно сложив бумажку, вернул ее мне со словами:

— Стало быть, место поселения у вас — в Хакасии... Так вот, мой вам совет: не задерживайтесь здесь, не болтайте попусту! Отбывайте в Абакан и устраивайтесь там где-нибудь. Человек вы молодой, энергичный, физически крепкий; трудности для вас нипочем. Если уж вы хотите начинать новую жизнь, так начинать ее надо по правилам, чтоб все было в порядке, в полном соответствии с законом! Работайте, становитесь на ноги. А литература от вас не уйдет. Она подождет — литература... Между прочим, в Абакане имеется областное книжное издательство, своя пресса, местное отделение ССП. Словом, все, что нужно для вас! Поработайте, обживитесь, а потом свяжитесь с тамошними товарищами — они, я полагаю, поддержат.

В этот момент гулко хлопнула входная дверь. На пороге возникла рослая, румянолицая женщина в платке и плюшевой шубке. Сартаков сейчас же прервал монолог и повернулся к ней, поджимая губы.

— Долгонько. — Он коротко глянул на ручные ча-

сы. — Долгонько... Уже четверть двенадцатого! Это что же — до сих пор совещание тянулось?

— Да почти что так, — отозвалась женщина, — сами, небось, знаете, как бывает в редакциях! Я уж замаялась, ждавши. Ну, а после, по пути, в магазин заглянула. Там тюль выбросили...

— Но с главным-то, все же поговорила?

— Ага, — кивнула она, разматывая платок. — Он сказал, что материал еще в наборе; как только будут гранки — зайдет с ними сам.

Голос у нее был низкий, густой, слегка отдающий в хрип и, в сущности, — совсем не женский. И прислушиваясь к их разговору, я подумал, что не худо было бы им поменяться друг с другом голосами; произошла, видимо, какая-то путаница, неувязка...

— Значит, зайдет сам, — задумчиво протянул Сартаков. — Ладно.

Он придвинул настольный блокнот, что-то чиркнул там карандашиком. И посмотрел на меня уже отчужденно, размышляя о чем-то дальнем, своем.

Беседа закончилась; пора было прощаться. Поерзав на стуле, я сказал:

— Как же, все-таки, обстоят дела с моими стихами? Вы получили их?

— Что? — Он шевельнул бровями. — Стихи? Ах, да... Стихи... Получил, да, да. Только вот не знаю: где они... Дело это давнее, а хлопот у меня — выше головы.

— Но каково ваше мнение — вот, что мне интересно! Если вы, конечно, прочли их...

— Я, видите ли, сам рукописи почти не читаю и авторов не консультирую, — пояснил он доверительно, — некогда. Для этого у нас имеются специально назначенные товарищи. — Он поморщился, потер пальцами лоб. — Кому-то я, по-моему, их давал... Но — кому?

Он поискал глазами секретаршу (она копошилась в шкафу — перебирала объемистые газетные подшивки) и затем спросил высоким своим, жиденьким голосом:

— Кому мы давали стихи Демина — не помнишь? Ну, те, что были присланы из поселка Ермаково — в прошлом году, кажется, весной?

— А никому, — последовал быстрый ответ.

— То есть, как — никому?

- Так... Вы же сами вложили их в папку для макулатуры.

- Не может быть. - Он слегка смутился. - Какая-то ошибка получилась... Ну, ладно. А папка эта где?

- Сожгли, - густо сказала секретарша, - как всегда. Сами знаете, куда мы макулатуру деваем... В печку!

- Ай-яй, - пробормотал Сартаков, - вот незадача! - Он обращался ко мне - но глаз его я теперь не видел; они ускользали, прятались. - Вы уж извините... Сам не пойму, как это получилось! Вероятно, в спешке вложил не туда - а они, видите, поторопились...

Я поднялся, стиснув зубы, медленно достал пачку папирос. Вскрыл ее с треском. Нашупал папироску неверными прыгающими пальцами.

- А вот курить здесь, уважаемый, нельзя, - ласково сказал Сартаков. - Не терплю табачного дыма. И сам не курю и другим не советую. Курево - яд. Да, да. Гораздо лучше - вот это!

С ловкостью фокусника извлек он откуда-то жестяную коробочку с монпансье, щелкнул ногтем по крышке; открыл ее и, достав конфету, бросил в рот.

Затем - радушным движением - протянул коробочку мне:

- Не хотите ли пососать?

- Нет, - сказал я, не разжимая зубов, - нет, мерси. Не люблю сосать... Предпочитаю яд.

ВНЕ ЗАКОНА

Я вышел из ворот, остановился, закуривая. И сейчас же ко мне придвинулись Ноздря и Гога.

- Ну, что? Как? - заторопились они, перебивая друг друга, - как приняли?

- Нормально, - усмехнулся я, пожимая плечами. - Как положено...

- А гроши - отвалили?

- Гроши? - Я помедлил несколько. - Конечно... А как же иначе!

- Сколько же тебе дали?

- Немало...

- Так в чем же дело? Лафа, старик! - Ноздря широко осклабился, хлопнул меня по плечу. - Теперь можно и в кабак...

Они искренне радовались за меня, а я томился, сторуал от стыда. Я был удручен и подавлен; случившееся ошеломило меня. Идя к Сартакову, я ожидал всего, что угодно - но только не такого приема. И теперь не знал: что же мне делать? Куда приткнуться? Во всяком случае, посвящать приятелей в подробности своего позора я не мог, не хотел, - не находил в себе сил.

- Что ж, ребята, - проговорил я, - в кабак, так в кабак. О чем разговор?! Если хотите...

- Хотим, конечно, - весело отозвался Ноздря. - Да уж и время обеденное.

Он посмотрел на небо, моргнул и произнес нараспев:

- Солнце встало выше ели. Пора в сортир, а мы - не ели!

Пощмыгивая и ежась, Гога сказал:

- Да-а, вот это - жизнь! Сочинил стишок - получил валюту и пожалуйста: гуляй, веселись! - Он вздохнул завистливо, запахнул поплотнее тужурку. - И никаких хлопот! Все прилично, благородно. Никто за тобой не гонится, никто по шее не бьет...

И отогнув воротник, посмотрел на товарища.

- Теперь ты понял?

- Понял, - сказал Ноздря. И тоже вздохнул.

Мы завернули в ближайшую закусочную. И там - хоронясь от ребят - я украдкой пересчитал все имеющиеся в наличии деньги. От пухлой пачки оставалось совсем немного, сотни полторы, не более... Быстро разошлись, - отметил я с грустью, - ах черт возьми. Растаяли, как снег! И невольно, припомнилась мне воровская песня, которую особенно любил и часто напевал старый мой друг Солома. Может быть, она нравилась ему потому, что в ней шла речь о "медвежатниках", взломщиках касс, - о людях, родственной ему профессии? В знаменитом этом романсе взломщиков есть такие слова: "Деньги - как снег. Они быстро растаяли. Надо опять воровать"... Но тут же я подумал о том, что для паники пока нет причины. Надежды на Союз Писателей рухнули - зато

есть барыга, он-то уж не подведет. За ним должок — и немалый. Да и в запасе еще есть один мешок... Что ж, гневить Бога нечего; жить можно, покуда! Жить можно!

* * *

Расставшись с приятелями, я поспешно направился к малине. И вскоре уже стоял, оглядывая знакомую комнату. Подметенная и прибранная, она выглядела теперь более пристойно, чем ночью, и только запах — неистребимый и въедливый дух табака и густого сивушного перегара — напоминал о вчерашнем загуле.

Встретила меня сухая, угрюмого вида старуха и объявила, что хозяина дома нет. Он в отлучке. Ушел по делам. Я поинтересовался — когда же он будет? Она сказала, поджимая губы:

— Кто же его знает! У него такой манеры нет — докладывать. Может, счас возвратнется, может — вечером.

Я прошелся по комнате, заглянул под лавку; именно туда, как мне помнилось, запрятал я давеча мешок. Заглянул и не увидел его, не нашел. И тотчас же, нахмурясь, повернулся к старухе:

— Я вещи оставлял... Они — где?

— Какие вещи? — она мотнула головой. — Ничего не знаю! — И потом — цедя углом поджатого рта: — погоди, я спрошу...

Старуха вышла, скрылась за дверь; в коридоре возник торопливый шепоток. Что-то там обсуждали, спорили приглушенно. Что еще за тайны начались? — подумал я недовольно. Голоса бубнили, пересекаясь; судя по всему, один из спорящих был мужчина... Затем дверь отворилась и в комнату ввалился Рашпиль. Темное, изрытое, испещренное крупными оспинами, его лицо было пасмурно, рот кривился, к губе прилип тлеющий окурок.

— Приветик! — сказал он, подрагивая ляжкой, жмуря глаз от дыма, — как дела?

— Помаленьку, — пробормотал я, — полегоньку. Сам понимаешь: какие наши дела?!

— Ну, наши дела одни, а твои — другие...

Рашпиль затянулся, пыхнул окурком и щелчком от-

бросил его в угол. Сквозь дым блеснули желтые его глаза. Вот как он заговорил, — удивился я, — с чего бы это?

— Послушай, — сказал я — тут где-то должна быть моя торба с барахлишком. Ну, помнишь, — которую я вчера оставлял...

— Торба? — спросил он, поигрывая бровями. — Нет, не помню. Какая торба?

Я чувствовал, что затевается какой-то подвох, какая-то гадость — и начинал уже закипать.

— Ты что, шутишь? Да ведь вчера я ее при тебе спрятал. Вот сюда — под лавку!

— Нет, не помню, — повторил он с наглой усмешечкой. — И тебе тоже советую — забыть.

— Что-о? — Я даже растерялся на миг.

— Да, да, — сказал он. — Про барахлишко свое — позабуди! Тут твоего ничего нету, понял? И вообще, потеряй этот адрес.

Кровь бешенства хлынула мне в лицо — пресекла дыхание, пеленою застала взор. Секунду я стоял, вглядываясь сквозь эту пелену в фигуру Рашпиля. Затем шагнул к нему. И в то же мгновение он отпрянул к стене — изготовился, погрузил руку в правый карман...

— Но, но, осторожно, — проговорил он быстро, — не залупайся, не при на рожон!

— Что ты сказал, каналья? — медленно, рвущимся голосом спросил я. — С какой стати я должен — забыть? Почему здесь ничего нет моего? И не шарь в кармане, вынь руку! Что бы там у тебя ни лежало — мне на это плевать. Отвечай — почему? Ну?

— А потому, что ты — не наш, — сказал он, настороженно следя за мной и продолжая, в то же время, скалиться в усмешке. — Ты теперь вне закона, понял? Мы с тобой что хошь можем сделать — нам никто из шпаны поперек слова не скажет.

— Но эти самые тряпки мне как раз и дала шпана! Специально вручила.

— Вручила — но ведь не как блатному!

— Что ж, это верно — замаялся я. — И все-таки кодла...

— Что кодла, — отмахнулся он, — Что кодла?! Ну, пожалели тебя урки, посочувствовали. Собрали тряпки на дорогу. А ты что сделал? Приперся с ними

в притон...

— Но ты же сам меня затащил сюда! — сказал я возмущенно.

— Что значит затащил? — удивился он. — Намекнул — и только... А пришел ты по своей охоте. Своими ножками.

— А почему ж мне было не прийти?

— А почему ж мне было не воспользоваться этим? — в тон мне ответил Рашпиль. — Я ведь знаю: кто ты. И то же самое, ты знаешь: кто я... Для меня лично, ты теперь — фрайер. Не человек, а фрайер, ты понял? Ветвистый олень. Да еще — фаршированный. Такого не выпотрошить — грех.

И тут он произнес фразу, до странности точно совпадающую с тем, что говорил мне Солома:

— Играть надо чисто. Не замечывая, не шустря... А ты заигрался, понял? Подменил масть. Нет, ты понял? Передернул!.. А ведь за это наказывают.

Вот так мы говорили, и я чувствовал: спорить тут, в общем-то, не о чем. Конечно же я сам во всем виноват; передернул, подменил масть. И проиграл, в результате. Этот негодяй — рябая эта рожа — он рассуждает вполне резонно. Он во многом прав! Для уголовников я действительно теперь — вне закона. И сейчас он напоминает мне об этом, дает мне наглядный урок.

Вспышка прошла, сменилась тяжелой усталостью. И я, погодя, спросил — уже почти спокойно, движимый скорее любопытством, чем гневом:

— Ну, а все-таки, где же мое барахло? Ты куда его подевал?

— Проиграл.

Рашпиль сокрушенно развел руками.

— Нынче утречком. Думал, повезет. Ан нет. Не пошла масть. Ни одной карты данной, все — биты. Это ж надо подумать!

— Так, — сказал я, — что ж, ладно. Прощай, Рашпиль!

И взявшись за дверную ручку, глянул на него искоса:

— Не дай нам Бог когда-нибудь встретиться!

В КОЛЬЦЕ

Итак, я снова очутился на Красноярском вокзале, вернулся, так сказать, к исходной точке. Все это время я как бы двигался по кривой, и вот теперь кривая замкнулась. Я оказался в кольце. Положение мое было самое отчаянное. Я стоял, прислонясь к табачному киоску, хоронясь под его защитой от секущих вихрей поземки. День уже затмевался, сгорал. Ломкие тени тянулись по настилу перрона. Вокруг, топоча, суетились пассажиры. А над людской толчеей, над станционными постройками, стлались дымы паровозов, звучали гудки. Поезда закликали на разные голоса; они кричали пронзительно и тревожно. И отзываясь на них, в душе моей — в глубине ее, в самых потемках — что-то вздрагивало и дребезжало тихонько. Черт возьми, — думал я, — почему, по какой причине, вся моя жизнь с самых ранних пор неразрывно связана с этими голосами, с дорожной, скитальческой, кочевой тоской? Словно бы какой-то рок вечно гонит меня по дорогам — зачем? И куда, куда? И всякий раз, как только на меня обрушиваются очередные несчастья (а они идут непрерывно, и нет мне от них ни укрыва, ни отдыха), всякий раз я, вольно или невольно, оказываюсь именно здесь. И вновь под моими подошвами — гулкий перрон. А вместо крыши — дымное, потревоженное гудками, небо.

Погромыхая на стыках и шумно дыша, отошел от станции московский экспресс. Я проводил его долгим взглядом. Темнозеленые, лаковые бока вагонов. Блестящие поручни. Нарядные занавесочки на окнах. Ах, если б все сложилось иначе, — не сглупил бы я, не протратился, — я спокойно, с комфортом, мог бы сидеть сейчас в этом самом поезде; мог бы ехать в Москву... Как бы мне хотелось завернуть домой — хотя бы не надолго, украдкой! И все это было возможно. Но теперь, конечно, путь туда заказан. Сколько времени я уж не был дома? С 1945 по 52 год. Стало быть — семь лет. Семь лет разлуки! И опять она продлевается — уже по собственной моей вине.

Экспресс исчез, сгинул за поворотом. Потом — один за другим — промелькнули, грохоча, восточные поезда, на Иркутск, на Читу, на Владивосток. По-

том, спустя недолго, вынырнул из густеющих теней и остановился недлинный состав. И на обшарпанной, заиндевело́й стенке одного из вагонов я заметил надпись "Красноярск - Абакан".

Я заметил эту надпись и отвернулся, скрипнув зубами. И невольно подался назад, за угол ларька.

Рассуждая здраво, я должен был бы, наконец, смириться, позабыть о всех своих бреднях и отправиться по тому маршруту, что был указан в моих документах. Денег на билет в Абакан у меня бы, пожалуй, хватило. В самом крайнем случае, я мог бы доехать до места и так - без билета - по справочке... И в сущности, это был сейчас единственный верный способ вырваться из кольца!

Но что он означал, данный маршрут? Я отлично сознавал, что комендатура нипочем не разрешит мне жить в пределах города. Милиция непременно загонит меня в тайгу, в самую глушь - куда-нибудь поближе к Туве, к монгольским пустыням. А ведь я тянулся к литературе, хотел увидеть себя в печати, искал общения с профессиональной творческой средой... Среда эта в Красноярске меня предала. Но все же я не терял надежды. Ничего, - думал я, - мы еще кокнемся, посмотрим: чье разобьется... Самое главное, не выйти сейчас из игры. Ехать в ссылку - под контроль милиции - значит отречься от самого себя, похоронить себя заживо. Сергей Сартаков давеча заметил: "литература не уйдет, мол, она подождет". Что ж, возможно он и прав; литература может подождать. Но я-то лично ждать не умею и не хочу!

А день все гас, уходил, холодал. Заклубились сумерки, и в вышине, запутавшись в густых проводах, повис осколок луны - желтоватый, радужный, окруженный морозными кольцами. И под этой окольцованной стужей луною мерз и жался к стенке вокзального киоска двадцатилетний неудачник - непризнанный поэт, бездомный бродяга...

А день все гас. Близилась ночь. И я теперь думал о ней со страхом.

Всю жизнь несчастья гнали меня на вокзал, это верно. Но ведь, с другой стороны, именно здесь, в этих местах, я всегда и спасался от несчастий! И может быть, поэтому столь остро ощущаю западают мне в душу гудки поездов — тревожат меня и томят? В них я всю жизнь угадываю не только голос беды, но еще и зов несвершившегося, дальний оклик надежды...

Ты всегда выручал меня, — подумал я, озирая шумный вокзал, — неужто ты и теперь не поможешь мне, дружище? Я подумал так — и вдруг увидел невдалеке шуплую гогину фигурку.

Гога был не один. Рядом с ним стоял незнакомый мне парень, плечистый, рослый, в распахнутой телогрейке и меховой, сбитой на ухо, шапке.

Они о чем-то беседовали, смеясь. Затем парень достал из кармана папиросную пачку — ошупал ее, досадливо скомкал и выбросил. Тогда Гога повернулся, указывая пальцем на табачный киоск. И в это мгновение наши взгляды встретились.

— Эй, Чума, — закричал он, — ты что здесь делаешь? Вот, легок на помине!

И он поспешил ко мне, семена и подмигивая, таща собеседника за рукав.

— Мы как раз о тебе толковали! — зачастил Гога, — я ему рассказывал про твои делишки. Он ведь тоже завязавший, отошедший от коды. Такой же "бывший", как и ты... Да вы познакомьтесь.

Пожимая мне руку, парень сказал — сиповатым, застуженным баском:

— Иван Туманов. Рад увидаться! Я о тебе давно слышал — еще у хозяина... Как же, как же! Рад!

— Ты что, тоже с пятьсот третьей стройки? — спросил я.

— Оттуда, — кивнул Иван. — Курейку знаешь?

— Еще бы не знать, — усмехнулся я, — памятные места. Я там на штрафняке был.

— Да ну? — отозвался он, — значит, мы по соседству чалились. Штрафняк на сороковой версте стоял, а наш лесозавод — пониже, у самого устья. Н-да. Вот как... Землячки, стало быть. И когда ж ты, земля, там был?

- В пятьдесят первом году.

- А я как раз в тот год, осенью, на свободу вышел.

- Ну, сейчас что делаешь?

- Тружусь, - улыбнулся Иван, - а что мне еще остается? Коль уж завязал, значит - кончики. Надо вкалывать!

Улыбка у него была простецкая, открытая - до ушей. И весь он выглядел на зависть крепким и ладным, и по лицу его, по всему его облику, заметно было, что он не ропщет на судьбу и вполне доволен своей участью.

Я спросил, с интересом разглядывая этого парня:

- Где же ты теперь вкалываешь?

- В экспедиции... Производим археологические раскопки древних городищ... В общем, экспедиция эта - от академии наук, понимаешь? Ученых всяких навалом. Ну, а я при них состою в работах. Старшим - куда пошлют.

- И нравится?

- А конечно! Зарботки приличные. И работенка тоже подходящая. Как я человек простой... Всю жизнь в лагерях жидкие щи хлебал, ломом подпоясывался... Мне не привыкать. Да ведь и образование мое - сам понимаешь. Неполное начальное. Это ты один такой у нас - и грамотный, и талант имеешь. Твое дело ка-а-анешно, особое!

- Он вообще, везучий, - поддакнул Гога.

- Везучий, - убежденно сказал Иван, - ясное дело!

- Да какой я везучий, - уныло махнул я рукой, - где оно, это везенье? В чем? Наоборот.

- Ну, как же! - ответил Иван, - мне Гога рассказывал, все уши прожужжал... Зашел в Союз Писателей, рванул там валюту - и в кабак. Чем не жизнь?! - Он прищерился. - Скоро, небось, в большие люди выйдешь, с нами и знаться не захочешь.

- Эх, да все это, ребята, не так, - проговорил я, запинаясь, - вранье это все... Говоря по совести, дела мои дрянь.

И внезапно - внезапно для себя самого - я откровенно, без прикрас, рассказал ребятам обо всем, что со мною нынче случилось. Передал им разговор с Сартаковым. И сообщил подробности последней нашей

встречи с Рашпилем на воровской малине. Мне трудно было говорить. Но я устал и отчаялся, и гордыня моя на морозе ослабла. Да и какой был смысл теперь кривляться и что-то утаивать?

Ребята слушали меня молча, изумленно. Затем Иван сказал, крикнув и поджимая губы:

— Вот, значит, как! Ай-яй. Что ж, перекурим это дело — обдумаем... Ты — погоди!

Он отошел за папиросами. Я повернулся к Гоге — пристально глянул ему в глаза. Мне казалось, что Гога будет насмехаться, иронизовать надо мною. И ждал этого — с каким-то даже вызовом. Но нет; вид у него был не насмешливый, а скорее, грустный.

— Сколько же у тебя наличных? — спросил он тихо.

— Мало, брат, — пробормотал я, — пара копеек всего. Эх, да что...

— Ну, так держи! — Он торопливыми пальцами растегнул тужурку. — Я кое-чего подшиб, подработал. Не знаю, то ли, наконец, фарту набрался, то ли рука начала привыкать, но нынешний вечер был удачным. Мы с Ноздрей, часа два назад, приличного фрайера накололи. Жирный достался сазан, наваристый... Грошей правда, оказалось не густо, но зато среди багажа попался чемоданчик — небольшой такой, плоский уголок, — с чем, как ты думаешь? С серебром! Всякие там ложечки, вилочки, то да се...

Сообщая все это обычной, бойкой своей скороговорочкой, Гога — одновременно — рылся в карманах пиджака, вытаскивал мятые бумажки, разглаживал их в ладонях.

— Вот, держи! — Он сунул деньги мне в руку. — Долг платежом красен... Тут три сотни. Мало, конечно, смех, но — на первый случай.

— А кстати, — спросил я, пряча бумажки, — где сейчас Ноздря?

— Отвалил, — сказал Гога, — повололся к фарцовщикам — искать покупателя.

— Послушай-ка... — Я запнулся на миг. — Ты Ноздре не говори. Не стоит... ладно?

— О чем это ты? — сказал Гога. И потом: — Ах, вот что... вообще-то, ты прав, пожалуй. Трепаться — зачем?

И он мигнул, понимающе.

Вернулся Иван. Вскрыл пачку "Беломор-канала". Щелкнул ногтем по доньшку; выскочили три папироски. Одну он сейчас же ухватил зубом, зажал в углу рта. Две других предложил нам. Мы задымили. И по-года, Иван сказал, задумчиво покусывая папиросный мундштук:

- Н-да. Положение твое действительно тухлое. Но что-то делать надо, так оставлять нельзя. Пропадешь. Скажи-ка... - Он опустил на плечо мне тяжелую свою лапу. - Только честно, браток: хочешь со мной - в экспедицию?

- Хочу, - ответил я радостно. - Мне теперь все равно куда, лишь бы была работа.

- Значит, согласен, - протяжно проговорил Иван, - хорошо... - Он поморщился, чмокнул губами. - Тогда вот что. Я здесь как раз с начальником, с завхозом экспедиции. Приехали кое-какие грузы получать. Он мужик толковый, свойский. Бывший майор, фронтовик, с ним можно поладить... Идем-ка к нему! Объяснишь ему все, расскажешь, авось он и согласится зачислить тебя в наш отряд.

ЗЕМЛЯ ЛЕГЕНД И ТАИН

Экспедиция, в которую я попал, была большой, комплексной; она занималась не только археологическими раскопками, но также и этнографическими исследованиями. В сущности, основной ее задачей было изучение тех путей, по которым шла колонизация русскими полярной этой части материка.

История освоения великих азиатских рек Оби и Енисея любопытна и несколько необычна. Необычна хотя бы уже потому, что по рекам этим землепроходцы двигались не сверху вниз, не по течению (не так, скажем, как Ермак по Иртышу, или Франциско де Орельяно - по Амазонке), а наоборот - снизу вверх, поднимаясь от устья к истокам. Этому есть свои причины. Дело в том, что колонизация здесь шла в основном из Архангельска - вдоль побережий северных морей. Издавна и упорно стремились новгородские поморы на Восток и к началу XVII столетия (в этом именно веке началось широкое освоение всей

центральной и восточной Сибири) успели уже основательно исследовать обское устье. Место это интересовало их не зря, не случайно. Именно там находилось знаменитое Лукоморье, то самое, о котором издревле рассказывались необычные вещи...

"Суть горы, зайдуче луку моря", — так, например, начинается одно из сказаний Первоначальной летописи, посвященное тайнам и чудесам Лукоморья...

"Суть горы зайдуче луку моря..." Лука эта образуется в низовьях Оби, в том месте, где желтоватые, медленные воды ее сливаются с бурной и пенистой рекой Таз. Местность эта труднопроходимая, поросшая дикой тайгой. По древним преданиям, некогда здесь обитало таинственное племя мангомзи.* Мангомзи жили якобы в каких-то тайных пещерах, сплошь осыпанных драгоценными камнями; в таких пещерах, где стены были алмазными, а своды — из яшмы, рубинов и горного хрусталя. И где-то в самом сердце Лукоморья, в темных недрах его, таилось капище туземцев; они приходили туда поклоняться своему идолу — откованному из чистого золота (в летописях идол этот называется "Золотой Бабой"), и приносили сказочные дары. И это все — золотая эта Баба и сокровища пещер — все казалось тогда реальным, истинным; легенды о Лукоморье ходили по северу с незапамятных времен, достигали даже Европы. Над пустынными скалами обской губы как бы растекалось, маня, золотое сияние, мерцали и брезжили отблески драгоценных камней. И волновали многих. И упорно влекли к себе...

Первыми достигли желанных мест холмогорские поморы во главе с казаком Левкой Шубиным. Золотой Бабы они не обнаружили, но все же осели здесь, освоились. И вскоре вблизи Лукоморья возник городок Мангазея. Постепенно он разросся и к середине XVII века превратился в крупнейший полярный торгово-промышленный центр. У причалов Мангазейского

* Загадочно исчезнувшее северное племя. К этому ряду относятся также таинственное "Сиртя" — о которых повествуется в немецких легендах... Данным вопросом занимались академики И.Лепехин и А.Шренк — и оба действительно обнаружили признаки обитания каких-то странных, непонятно куда ушедших племен.

порта швартовались корабли из Ганзы и Англии, из Голландии и Скандинавских стран. Отсюда в Россию доставлялись европейские ткани, оружие, пряности, а в Европу уходило "мягкое золото" - меха.

Затем для Мангазеи наступили черные дни. Указом государя северные моря были закрыты для иностранцев. Город захирел, постепенно пришел в запустение. Начались пожары, голод, мор. Именно тогда-то и двинулись ватаги землепроходцев вверх по Оби - и дальше на восток, к берегам Енисея.

Енисей был также овеян легендами, драгоценные сполохи, отблески золота, мерцали и над ним... Казаки хлынули туда мощной волной. И всюду, где они проходили, возникали остроги, поселения, многолюдные станы, превратившиеся затем в традиционные таежные станки.

Первым крупным поселением в низовьях Енисея был Туруханский острог (его называли когда-то новой Мангазеей). Но подражание - как это всегда бывает - оказалось слабее оригинала. Былого богатства и могущества уже не было - и люди двинулись дальше по реке. С течением времени центром колонизации стал здесь город Енисейск. Расположенный в среднем течении Енисея, неподалеку от полярного круга, город этот поначалу славился пушными промыслами... На древнем гербе его не случайно значится фигурка соболя! И поныне еще самыми дорогими в России считаются соболя так называемого "Енисейского кряжа". Но подлинного, небывалого расцвета достиг этот город, когда в его окрестностях было обнаружено золото.

Случилось это в середине минувшего века; золотая лихорадка, начавшаяся тогда, потрясла всю Сибирь. Да что Сибирь - всю Россию! По масштабам она не уступала Клондайкской. Богатейшие золотоносные пласты - как выяснилось - лежали здесь повсюду. Казалось, земля эта вся насквозь пропитана драгоценным металлом... Так, в конце концов, нашли свое воплощение древние предания и легенды!

Золотой мираж отражал вполне реальную суть.

Подробнее о Енисейске я еще расскажу, речь о нем впереди. А пока вернемся к нашей теме - к жизни моей на севере, в экспедиции. За время работы в ней я побывал на Обской губе и в низовьях Енисея,

исходил тунгусскую тайгу и вдоволь побродил по водоразделу, по тем местам, где берут свое начало реки Таз, Курейка и Туруханка.

Впервые тогда открылся мне мир тайги — таинственный, красочный, своеобразный. Проведя весь свой срок на Севере, я все-таки не знал его по-настоящему. Мне доводилось наблюдать его лишь в качестве арестанта, в основном, сквозь колючую проволоку. Теперь, наконец, я соприкоснулся с ним вплотную.

Соприкоснулся — и заболел той особой болезнью, которую хорошо знают северяне, лесные бродяги, охотники, полярные моряки. Называется она "заболевание Севером". Излечиться от этой болезни трудно. Тот, кто вкусил хоть однажды горечь ночлежного дымка, запах снега и полярную свежесть ветра, настоящего на смолах, — кто попробовал смоляной этот, хвойный, головокружительный настой, тот отравлен навсегда, навечно! Север уже не отпустит, не даст избавления; он будет упорно вторгаться в мысли и сны, и властный зов его станет преследовать повсюду...

Вот и меня он преследует неотрывно. И сейчас я тоже слышу этот зов. И смежаю глаза и снова вижу тайгу — буреломы, распадки, пенные перекаты рек. Ветер странствий хлещет мне в лицо. И опять возникают передо мною дороги далекой моей молодости, лесные перекрестки и любопытные встречи.

Встреч было много. И были они различны. Мне вспоминается сейчас одно из самых первых моих лесных приключений.

ТРЕВОЖНЫЙ НОЧЛЕГ

У костра, в заснеженном ельнике, сидел человек; он был жилист, узколиц, темноволос. Из-под шапки, пересекая бровь, спадала путаная прядь, глаза запухли от едкого дыма.

Он сидел, ссутулясь, подтянув колени к подбородку — думал. Клубилась мгла вокруг; от пламени, от пляшущего света она казалась непроницаемой. Шатались в зарослях тени, подрагивала хвоя, пронизанная ветром, и при каждом шорохе темноволосый

оборачивался, пытливо вглядывался в тайгу. "Глухомань, - думал он - буреломы, темные места. Черт его знает, кто тут может бродить - зверье, или люди"...

"Люди! - эта мысль не утешила его, нет. - Люди, они тоже разные. Узнает кто-нибудь, догадается - и все. Кончики. Тогда не выберешься".

Он помрачнел, отворил меховую тужурку и осторожно потрогал внутренний туго набитый карман; он сделал это невольно - рука сама потянулась к пакету.

Плотный, перевитый шпагатом пакет оттягивал карман и упруго похрустывал в пальцах.

- Нет, - вздохнул, запахиваясь, темноволосый, - уж лучше без людей, без приключений!

Он осмотрелся, позевывая. Швырнул хворостину в огонь; шипя и шелкая, взлетели искры - высветили кроны и засеяли снег, и темнота отпрянула на мгновение, а потом загустела, надвинулась, хлынула в глаза.

И в этот момент невдалеке возникли медленные шаги.

Темноволосый поспешно нашарил ружье, положил его на колени и так - напрягшись и оцепенев - сидел какое-то время.

Шаги приближались, они звучали мерно и отчетливо. Было слышно, как под подошвами крошится наст. Снежный шелест, сухое поскрипывание сучьев - все это ширилось и нарастало... Затем из чащи появилась громоздкая фигура в мохнатых унтах и заиндевелом ватнике; на плечах незнакомца висела полевая брезентовая сумка, и придерживая ее ладонью, он сказал сиповатым, застуженным баском:

- Привет! Принимай гостей.

- Привет, - отозвался темноволосый, - грейтесь...

И сейчас же он насупился, распрямился, насторожась:

- Вы сказали - гостей? Это как же... Разве вы не один?

- Нет, один.

Незнакомец подошел к костру, и свет упал на его лицо - скуластое, крупное, поросшее жесткой щетиной. Брови его и ресницы, и глубокие складки у рта

- все было густо опущено морозцем. Он утерся - засопел, зорко глянул из-под бровей:

- Один. А что такое?

- Ничего. Просто - поинтересовался.

- Ну, а ты, - помедлив, спросил человек в унтах, - один здесь?

- Д-да...

- Ага! Ну вот и ладно!

Незнакомец уселся, покряхтывая. Подышал в ладони, простер их над мигающими углями.

- На пару веселей будет, способней, верно я говорю?

- Пожалуй...

"Странный какой-то тип, - тоскливо размышлял темноволосый. - Телогреечка старая, засаленная, а унты новые - такие обычно летчики носят. Кто ж он есть на самом-то деле? Заросший, мрачный. И без ружья - это тоже странно. Ночью в тайге нормальные люди не ходят безоружными... Хотя, с другой стороны, для меня же лучше - спокойней."

Он сказал:

- Что ж, давайте знакомиться! - Привстал, раздвинул губы в улыбочке: - Михаил.

- Очень приятно, - прогудел человек в унтах. - Скрипицын! - Крепко, коротко стиснул руку Михаила, оглядел его сощурясь, ощупал взглядом лицо, пушистый, в пестрых разводах шарф... "Залетный, - подумал он, - и настороженный какой-то. Поди разберись, чем ты тут дышишь?"

- Далеко направляешься? - спросил он погода.

- Нет... а вы?

- Что - я?

- Далеко?

- Да как сказать, - задумчиво поднял брови Скрипицын. - Здесь любой конец неблизкий... Тайга! - Он моргнул глазом. - Ты эти места хорошо знаешь?

- Не особенно. Так, в общих чертах.

- Недавно только прибыл?

- А что? - сказал, кривя губы, Михаил, - заметно?

- Конечно.

- Это - почему же?

- Да вообще. - Скрипицын неопределенно пошевелил пальцами. - Больно уж вид у тебя такой. Этот

шарфик, то-се...

И он неожиданно качнулся к Михаилу и цепко ухватил его за край шарфа.

Широкая его пятерня лежала на отвороте михайловой тужурки — на самой груди — плотно лежала и тяжело и, чувствуя эту тяжесть, Михаил отшатнулся резко.

— Да не бойся, — лениво, затягивая слова, сказал Скрипицын.

— А я и не боюсь! — Михаил по-прежнему держал на коленях двустволку, легонько оглаживал затвор. — Чего мне бояться-то?

— Тоже верно, — сказал Скрипицын. — Нечего. В том и суть.

Он умолк внезапно. Челюсти его сжались. Зрачки дрогнули и застыли, и там, в глубине их, увидел Михаил отражение ночи; они смотрели мимо него, поверх, в морозную тьму.

Михаил поворотился. И побледнел — ему стало страшно. Близко, почти вплотную, стоял за его спиной приземистый, бородатый мужик. Шаткие отблески пламени лежали на броднях и овчинном его полушубке, и тускло окрашивали ствол дробовика.

Он возник здесь бесшумно — Михаил не слышал его шагов, и это было непостижимо и страшно. Казалось, он все это время таился где-то рядом, вблизи костра.

"Конец, — решил Михаил, — подловили все-таки. Подпасли. Они на пару работают — это ясно. Что же делать, о черт, что же теперь делать?"

Было недолгое молчание. Затем старик сказал, сбрасывая с плеч вещевой увесистый мешок:

— Чтой-то вы, ребята, приуныли? И костер у вас тухлый, ай-ай! Один дым...

Неторопливо, усталым движением расстегнул он полушубок. Опустился на корточки. Разворошил забитую снегом бороду.

— Костер — это верно, — отозвался Скрипицын, — плоховат... Заболтались мы тут! — Он натянул рукавицы, грузно двинулся в темноту. — Пойти, что ли, хворосту подсобрать...

— Ты сумку-то скинь, — посоветовал старик. — Оставь здесь — сподручнее будет.

— Что-о? — Скрипицын остановился и сейчас же

лицо его затвердело, оскалилось. — Сумку?

Он стоял вполоборота (была видна опущенная бровь, желвачок на щеке, угол твердого рта), и глянув на него, Михаил подумал с облегчением: "Нет, эти двое не знакомы! Он сам чего-то боится... Только вот — чего?"

Скрипицын спросил — негромко и сумрачно:

— При чем здесь сумка? Ну?

— Да Бог с тобой. — Старик усмехнулся, пожимая плечами. — Иди, коли хошь, с ней — дело твое. — Развязал котомку, извлек из нее котелок, привстал, зачерпнул снежку.

— Иди, давай, топай, — ташши дрова! Кипятком хоть побалуемся.

Потом они пили чай. Потом укладывались угрюмо — ладили поздний свой ночлег, разгребали мусор, стлали пухлую хвою.

Костер полыхал теперь высоко и ровно — без дыма. Ветер ослаб, и над сонными путниками, над островами черных елей обнажилось небо; оно полно было блеска и холода.

— Стужей пахнет, — сказал Скрипицын. — К утру градусов на сорок завернет — не менее того... Н-ну ладно. — Он завозился, уминая подстилку. Улегся. Протянул подошвы к огню. Телогрейка его задралась, приоткрылась и оттуда — из-под полы — выглянула кобура пистолета.

* * *

И всматриваясь в рыжую эту кобуру, Михаил поешился зябко; опять пробудилась в нем давешняя тревога. Вдруг он заметил лицо старика.

Старик не спал, помаргивал, чадил сигаркой, — тоже следил за Скрипицыным... Потом он выплюнул окурочок и покосился на Михаила. И тотчас же оба они прижмурились, затаились, отворотятся.

Они долго так лежали — недвижно и немо.

В тишине, над пустынными северными снегами, пошверкивала и медленно кружилась ночь: она кончалась уже и луна поблекла и словно бы выцвела. И созвездья сдвинулись к Западу. И запрокинув лицо, щурясь в стылое небо, Михаил думал:

"Надо спастись пока не поздно! Надо бежать! Этот тип с пистолетом, старик этот - чего они хотят? И кто за кем здесь охотится? Не поймешь..." Мысли путались и были мутны, но чувство тревоги не иссякало в нем, гнездились прочно. И все сильнее одолевало его отчаяние. Надо спастись, но - как? Здесь же ведь глушь, бездорожье. Куда я денусь, куда пойду? Все равно загину - в снегу, в проклятой этой пустыне".

Зловеще и низко пылал над ним полярный ковш - семь зеленых огней, семь звезд Большой Медведицы. Ледяные звездные лучи тянулись к ресницам и покалывали глаза. Михаил заслонился локтем, вздохнул. Стало жалко себя - так жалко - до слез.

В это время Скрипицын сказал:

- Эй, батя, ты чего опять смотришь? Все смотришь и смотришь. Спи.

И старик ответил:

- Да вот смотрю - думаю... Где же это мы встретились?

Он поскреб косматую свою бороду, хрустко зажал ее в горсти.

- Слышь-ка, а ты, часом, не геолог?

- Ну, допустим, - сказал, покашливая, Скрипицын.

- А ведь я тебя знаю, однако. Видел.

- Где?

- Недавно где-то...

Старик затих, пожевал ртом и затем, стремительно:

- Знаю, - сказал, - точно! - Ты осенью был в Салехарде?

- Ну, был.

- Стало быть, я там тебя и видел. В чайной, на углу, возле склада... Мы с ребятами похмелялись, а ты как раз подошел, помнишь?

- Постой, постой.

Скрипицын сел, упираясь кулаками в снег.

- Ты, что ли, с Лукьяновым был?

- С ним и с Гришкой, и еще с этим - как его? - мордатый такой, в очках.

- Вер-рно, - сказал Скрипицын, - все верно! Это ж друзья мои. - Он хохотнул. - Вот так история! Теперь я припоминаю... Ты у них проводником служил?

- Ну, да. Ходил с партией по низовью. До недавнего...

- Забавно, - ухмыльнулся Скрипицын.

Они говорили быстро, перебивая друг друга и трудно сдерживая волнение. И слушая отрывистый этот разговор, Михаил подобрался весь, поднял голову.

- Забавно, н-да. - Скрипицын размял папироску, прикурил от уголька. - Выходит, мы с тобой соратники! Фамилия твоя - как?

- Фамилие мое будет Ананьев. - Старик улыбнулся. И сразу улыбка погасла. - Что ж это ты, - сказал он строго, - суетился тут, воду мутил...

- А что - я? - забормотал Скрипицын. - Что - я?

- А ничего. Перепугался... И меня с панталыку сбил... Тоже мне, соратничек!

- Но, но, - сказал Скрипицын, - спокойно, батя. Ты на себя поглядел бы.

- Так ведь я - понятное дело, - развел руками старик. - Я подошел, вижу: непорядок. Больно уж компания сумнительная. Чего-то все дергаются, жмутся.. А у меня, между прочим, в мешке соболя. Шестнадцать шкурок! Соображаешь? То-та. Еще горно-стай, куница... Добыча богатая.

- Соболя! - Скрипицын отмахнулся пренебрежительно. - Это все, батя, мелочь, пустяки. Вот здесь... - Он шибко - ладонью - похлопал по брезентовой сумке. - Знаешь, что здесь лежит? Золотишко!

- Золото? - почтительно проговорил старик, - откуда?

- Из Урочища... Да это, в общем-то, не важно - откуда. Мощная залежь, вот, что главное! Перспективная. Если расчеты подтвердятся, будем прииск закладывать.

- Да, - сказал Ананьев, - да, конечно. С таким грузом - ай, ай... Как же-шь ты рискнул - один, на ночь глядя?

- Так получилось. Машина в зыбуне застряла, шофер ноги проморозил. Ну, я ему доху отдал, а сам - пехом... Какнибудь! Да теперь уж недалеко.

- В район, что ли, топаешь?

- Туда.

- Стало быть, по пути.

Помолчали. Потом Скрипицын сказал:

- Смешно! Ну, этот чернявенький, кудреватенький - ладно. Молодой еще, квёлый. Но мы-то, мы - таежники, старые лесные волки!..

Он сказал, и мгновенно Михаил поднялся, шагнул через огонь, давая угли, разбрызгивая искры.

- То есть как это - квёлый? - сказал он вздрагивающим от обиды голосом. - Почему?

- Садись, - Ананьев потянул его за рукав, - чего пенишься? Садись, потолкуем.

- О чем толковать-то? - Михаил выпростал руку. - И так ясно...

Он расстегнул тужурку, тронул внутренний карман. Пошуршал там, помедлил. И потом:

- У меня - деньги, - сказал с хрипотцой, - понятно вам? Двадцать тысяч. А вы... Эх! Да на моем месте любой бы забоялся.

- Ого! - Старик задрал бороду - удивился свыше меры. - Прилично... И куда ж ты с ними?

- В экспедицию, - сказал Михаил, - к ребятам. А вы думали, куда? - Он дернул плечом. - Бухгалтер наш заболел, вот, пришлось... Думал, успею до-темна...

- Это что за экспедиция? - спросил Скрипицын, - чья?

- Академии.

- Из Ленинграда?

- А вы разве знаете?

- Я, брат, все здесь знаю. У вас начальником кто - Гринберг?

- Да, да. Семен Евсеич. Большой, кстати сказать, знаток здешних мест.

- Ну вот, - кивнул Скрипицын, - вот и разобрались.

И поворотившись к старику, он добавил скороговоркой:

- Историей интересуются. В старых рукописях ковыряются, вообще, всякое старье собирают. Ну, и раскопки ведут...

- Раскопки первоначальных казачьих поселений! - Михаил заметно приободрился и говорил теперь уверенно, легко. - Вы слышали, друзья, о Мангазее? Этот город возник в начале XVII столетия - просуществовал, правда, недолго, но оставил по себе

прочную память. В сущности, он послужил как бы трамплином для сибирских землепроходцев, первой ступенью на пути к освоению этой вот земли.

И сузив глаза, он медленно, пристально, осмотрелся по сторонам.

— Колоритная земля! Непомерная, изобильная, суровая. Сколько здесь крови лилось!

По земле, по увалам и зарослям, протекли красноватые мутные тени... Стало светать. Стал виден недалний ельник — щетинистый, островерхий, весь испятнанный бликами. Стали стволы отчетливыми и плоскими, и все ярче стала проступать за ними косяя, струистая полоска зари.

Ананьев сказал, поднимая мешок:

— Что ж, ребята, кончай ночевать. — Потопали!

— Н-да, переночевали, — хмуро усмехнулся Михаил. Зевнул, стукнув зубами. Закинул за плечо ружье. — Весело переночевали, ничего не скажешь!

* * *

Темноволосым, кудрявеньким этим пареньком — как вы, вероятно, уже догадались, — был я сам. Я лично. (В ту пору у меня и действительно имелись кудри!) И повел я этот рассказ от третьего лица — как бы со стороны — для того только, чтобы легче было показать все свои слабости, мелкие страхи и душевные метания...

Вероятно, кто-нибудь удивится: как и почему экспедиционные деньги доверили именно мне — недавнему лагернику, старому бродяге. Однако удивляться тут нечему. Дело в том, что почти все рабочие нашей партии были такими же, как и я.

Бывшие уголовники, дети ГУЛАГа, они сохранили здесь кастовые традиции, держались все вместе, жили одним коллективом. С помощью Вани Туманова попал в этот коллектив и я. И за деньгами меня послали вполне спокойно. Ребята знали: я не обману их, не сбегу, не смогу подвести своих. А если и подведу — далеко мне уйти не дадут...

И вот теперь, простившись со случайными товарищами по ночлегу, я шагал, раздвигая хвойный подлесок, спешил к своим ребятам. И вспоминал события

минувшей ночи. В общем-то, никаких событий и не было — была маята, растерянность, безысходность... Событий не было, но все же я знал: я получил как бы первый урок: начал приобщаться к неведомой мне, непонятной жизни. Что-то во мне незаметно сдвинулось, изменилось за эту ночь. И удивительное дело, земля эта уже не казалась мне столь чужой и враждебной, как раньше. Она простиралась вокруг — непомерная, суровая, исполненная изобилия, и сам я был частью ее, и с облегчением чувствовал это.

Сладостное чувство освобождения испытывал я сейчас — чувство освобождения от страха перед неведомым!

На опушке, на изгибе дороги, я остановился, вытянув шею, и отыскал взглядом путников. Черные четкие их фигуры маячили на гребне увала. Они шли к востоку и там, куда они уходили, небо белело, наливалось пронзительным светом.

Один из них — невысокий с ружьем — вскинул руку, махнул, что-то крикнул невнятно. Потом он исчез — канул вдали. (С этой ночи, кстати сказать, началась моя дружба с Ананьевым. Впоследствии он стал героем многих моих рассказов и повестей. Мы часто с ним виделись и нередко со смехом поминали подробности первой нашей встречи.)

Вот так эта встреча закончилась... Проснулся ветер, загасил последнюю звезду. Горизонт раздвинулся, и над тайгой, смывая тени, возшел полярный день — ослепительный и недолгий.

ОТРЕШЕННЫЕ ОТ МИРА

Это случилось в урочище реки Подкаменная Тунгуска. Отправившись на охоту, я сбился с дороги, проплутал весь день и, помнится, брел — утомленный, зазябший — по незнакомой тропке, вьющейся в белых, опушенных инеем, зарослях ивняка.

В общем-то я не очень беспокоился по поводу того, что заблудился; далеко отойти от базы я не успел и знал, что так или иначе сумею отыскать ее. Я шел не спеша, посвистывал и размышлял об этой земле, о путях истории, о вторжении России в азиат-

скую глушь. Тема колонизации Севера и покорения тайги интересовала меня тогда чрезвычайно. Тропинка вилась среди кущ и сугробов, и была она едва приметна, но все же — протоптана людьми. Кто проторил ее? — думал я, — зачем и когда? Может быть — тунгусские охотники, звероловы... а может, тут проходили когда-то далекие мои предшественники, землепроходцы?

У каменистого бугра тропа вильнула. И за поворотом на ней, на чистой пороше, обозначились человечесьи следы. Они пересекали наискось мой путь и пропадали в чащобе.

Вот следы, — думал я (думал, разумеется, уже стихами, ощущая тихий рождающийся из глубины распев). Вот следы. В блеске стылого дня кто-то шел, обгоняя меня. Вот смешались на дне колеи со следами чужими — мои. И за мной, и за мной, где-то там, кто-то тоже идет по пятам. Он идет, он на землю глядит. Под ногами планета гудит. Над простором дымится заря. Пусть растет, не кончаясь вовеки... так ручьи превращаются в реки, превращаются реки в моря!

Заметив на тропе чужие следы, я в сущности, не обратил на них внимания; из мира реального я невольно переключился в мир воображаемый, отвлекся, углубленный в поэтические образы. А делать этого не следовало. В тайге надо быть постоянно собранным и крайне осторожным. Нельзя упускать из виду ни единой мелочи. Иногда такие вот мелочи неожиданно оборачиваются бедой...

Из кустов — справа от меня — раздался резкий голос:

— Стой! Замри! Стреляю.

И сразу же я различил характерное сухое кланье ружейного затвора.

Я остановился, растерянно озираясь. Незнакомец захватил меня врасплох. Несмотря на то, что я был вооружен — тащил на плече заряженную двустволку — сейчас я находился в полной его власти. Существует старинная таежная заповедь: "Хозяин всегда тот, кто заметит первым"... Вот это как раз и произошло! Он заметил меня и подстерег. И держал теперь на прицеле, сам — в то же время — оставаясь невидимым, надежно укрытым в кустах.

- Сними ружье и возьми его за спину! - приказал голос.

Я послушно выполнил приказ.

- Теперь переломи там стволы и вытряхни патроны!

- Но как же я могу - за спиной? - проговорил я озадаченно. - Ведь неловко же...

- Ничего! - сказал человек из кустов, - пошарь пальцами.. И не тяни, ну! Быстрее! Считаю до пяти.

И он размеренно и звучно начал отсчитывать секунды.

По счету "пять" я наконец справился с задачей. Патроны мягко упали в снег. Тогда незнакомец сказал:

- Брось ружье в сторону. Подальше - вон к той валежине.

Верхушки кустов шатнулись и, затрепав сучьями, человек вышел на тропу.

Он был одет по-тунгусски - в меховые расшитые бисером сапоги (они назывались здесь "бокари"), в оленью "малицу" - дошку с капюшоном. Однако лицо у него было типично русское, с мягкими чертами, с окладистой, сивой, густой бородою.

Он держал под мышкой пятизарядную, армейского образца, винтовку. В другой его руке - в корявых, темных пальцах - зажата была ивовая веточка. И поднеся веточку ко рту, покусывая ее задумчиво, незнакомец спросил, оглядывая меня с головы до ног:

- Кто таков? Откуда?

Стараясь отвечать как можно внятнее и точнее, я пояснил ему, что работаю в экспедиции, что отряд наш базировался у Лисьего Ручья, а сейчас переместился дальше на север - в зимовье со смешным названием "Гнилой Шаман".

- Ага! - кивнул он, - та-ак. Вот почему там - у Шамана - стало шумно! А мы-то все понять не могли... Значится, экспедиция. - Крошечные медвежьи глаза его сощурились и ушли в тень. - Много же вас тут развелось... Ох, много! Ну, что ж. Пошли.

- Куда? - спросил я. - Мне к своим надо...

- Идем, идем, - сказал он, подталкивая меня в плечо. - И поменьше спрашивай.

- Но все же - куда?

Незнакомец не ответил - усмехнулся в бороду.

Подойдя к валежине, он нагнулся, покряхтывая, поднял и отряхнул от снега мое ружье. Потом закинул его за спину. И властно махнул мне рукой.

— Айда!

* * *

Малое время спустя я сидел в полутемной, низкой, жарко натопленной комнате. Изба топилась по-черному — дым выходил не в трубу, а в волоковое оконце над дверью. Таких первобытных строений я до сих пор еще не встречал — только читал о них в исторических романах. Окна здесь были затянуты рыбьим пузырем, стены сложены из вековых неохватных листовенничных бревен. В щелях шевелились тараканы. Над головами текли, свиваясь, синеватые дымные полосы. От духоты и едкого чада спирало дух и щипало глаза.

Я помещался в центре избы, у стола. А вокруг, на лавках, теснились угрюмые мужики. Они были не молоды и косматы, обряжены в меха, вооружены винтовками.

Кто они? — недоумевал я, — что за люди? Все в них было мне странным; и туземная одежда, и этот дремучий их облик, и — что выглядело, пожалуй, подозрительнее всего — грозное, боевое оружие. На солдат они, во всяком случае, не похожи, — размышлял я, томясь, — и на уголовников — тоже... Мужички эти особой породы. Но — какой? Может, я попал к сектантам? К староверам? Однако староверы не курят, а эти — дымят вовсю. Кинулись на мой табачок, расхватали...

Табачок мой расхватали сразу же, как только я ступил в избу. Обыскали меня, вывернули карманы; хотели глянуть на документы — но их не оказалось (тайга ведь не город, — таскать здесь бумаги ни к чему!) Единственное, что я имел при себе — нож, спички и кисет — мгновенно пошло по рукам. И вот, закулив из моего кисета, они сидели теперь и шептались о чем-то. О чем?

Тот, кто привел меня (звали его, как выяснилось, Архип), сказал, погодя:

— И что с тобой делать, голубь, ума не приложу.

Залетел ты сюда на свою голову. — Он поскреб в бороде, насупился. — А может — на нашу... Насчет экспедиции ты, пожалуй, не врешь. Но — как проверить?

— Да очень просто, — заявил я, — пошлите туда кого-нибудь. Или — хотите — идем со мной...

— Ишь ты, — засмеялся, закашлялся Архип. — Вон чего захотел... — Он помотал головой! — Ну, ловкач.

Мои слова показались смешными не только ему одному; тотчас же оживилось, задвигалось все это сборище.

— Как ты нас понимаешь? — спросил, отпыхиваясь, Архип, — что мы за люди?

— Кто вас знает. — Я пожал плечами, осмотрелся медленно. — Не разберусь никак. Но это — ладно... Вы мне вот что скажите: зачем я-то вам понадобился? Чего вы от меня хотите?

— Мы одного хотим, — негромко, с хрипотцой, проговорил сидевший рядом с Архипом приземистый, коренастый мужчина. У него было сухое скуластое лицо, татарские усики по краям жестокого рта. — Чтоб все у нас тихо было — вот, чего мы хотим! Тихо, без хипеша!

— Так кто ж вам мешает? — удивился я. — Живите как хотите. Я-то тут причем? И вообще — сколько вы меня здесь держать намерены?

— А это уж как мир рассудит, — вставая с лавки, сказал Архип. Он уже не смеялся больше; колючие глаза его посверкивали недобро и сумрачно. — Как мир решит... Ты в Бога веруешь?

— Да, — сказал я, — да... А что?

— Так молись, пока не поздно! Крепче молись!

Он почесал усы и потом — озирая сборище:

— А и нам тоже — пора на молитву. Айда, ребята!

Крупно шагнул к дверям. И на миг задержавшись там — искоса поглядывая на меня — добавил угрожающе:

— Побудь пока тута. И не вздумай бежать, учти: порскнешь — угодишь под пулю. Живым все одно не выпустим. Не уйдешь. Ни-ни.

— Может, его повязать пока? — прохрипел татарин, — так все же вернее...

— А-а-а, чего там, — небрежно отмахнулся Архип.

— Никуда не денется.

Они вышли из избы — замкнули дверь снаружи. Я остался один и с беспокойством прошелся по комнате. Не нравилась мне вся эта история, ох, не нравилась!..

Я потрогал дверь, она была заперта прочно. Подошел к окошку. Сквозь мутную пленку, заменяющую стекло, не видно было ничего; только свет проникал в избу — закатный, снежный, меркнувший свет. Да еще — звуки. Я прильнул к окну и уловил негромкое похрустывание и шорох. Кто-то мерно рассказывал, вороша снежок. "Часовой", — сообразил я. И опять заматались тоскливые мысли: где я? Что со мною? Что тут вообще происходит?

И в этот момент — где-то совсем близко, почти рядом, — возник глухой, унылый гул голосов.

Откуда они просачивались, эти голоса? Может быть, из-за стены, из-за перегородки... Или же — из соседнего здания? Я так и не смог этого понять. Голоса звучали неотчетливо; слов было не разобрать, но все же в нестройном их рокоте угадывался некий торжественный ритм. Казалось, люди поют. Или молятся. А вернее всего — творят какие-то странные заклинания.

Я долго с тревогой вслушивался в непонятный этот, сумеречный вой...

Потом, — сморенный усталостью и вконец одуревший от духоты, — разостлал на лавке тужурку, улегся и вытянулся там. И задремал незаметно. Сквозь дремоту мне вспомнились вдруг слова: "Молись, пока не поздно. Крепче молись!" И отключаясь, проваливаясь в черноту, я тоскливо воззвал к небу, что-то крикнул беззвучно...

Пробудился я внезапно; леденящее, острое ощущение опасности вошло в мое сердце — пронзило его, как игла — и тотчас я поднялся, опираясь локтями о лавку. С трудом разлепил запухшие веки. И увидел склоненную надо мной фигуру.

Это был татарин. Он держал в руке светильник (плошку с плавающим в жиру фитилем) и пристально разглядывал меня. Вид у него был сосредоточенный и какой-то удивленный. И смотрел он не на лицо мне, а на грудь.

— Эй, — гортанно и хрипло сказал он, — откуда у

тебя это?

Он провел по груди моей пальцем и я, скосив глаза, мгновенно понял все. Томимый жаром, я ночью стащил с себя свитер, расстегнул рубашку. Грудь моя раскрылась — и татарин увидел выколотый на ней крест и прочел затейливо выщущую под крестом надпись.

Этот крест появился у меня давно — еще на Колыме, на "Карпунке". А позже (уже на пятьсот третьей стройке) я вытатуировал под ним текст старинной блатной поговорки: "Наша жизнь, как детская рубашка, коротка и обосрана". Последнее слово я впоследствии вычеркнул, затушевал. Но даже и в таком, отредактированном виде, надпись все же выглядела кощунственно; я осознал это очень быстро и сокрушался долгое время, но ничего уже изменить не мог... А теперь вот, неожиданно, именно она — скандальная эта надпись — выручила меня, спасла от неминуемой беды!

— Откуда у тебя это? — повторил татарин. Ты, что ли, сидел? У хозяина был, да?

— Конечно, — сказал я. И поднялся, опустив с лавки ноги. — Недавно только освободился.

— Когда?

— Да месяца четыре назад...

— Откуда?

— С Красноярской пересылки.

— Вот оно как, — пробормотал он, — вот как...

Некоторое время он осматривал меня — посапывая и щурясь. Потом поставил светильник на пол и, усевшись рядом со мною, начал неторопливо свертывать сигарку.

— Послушай, — сказал я, — дай-ка закурить! Это все-таки не дело: обшмонали, забрали весь табачок, сами пользуетесь — а я что же?... Я вам не фрайер.

— Цветной, что ли? — покосился на меня татарин. — Из блатных, да? Жиган?

— Да вроде бы, — усмехнулся я.

— Держи! — Он протянул мне кисет. И затем, когда я закурил:

— Что ж ты сразу не сказал? Эх, ты... Мы ведь тебя уже кончать хотели...

— Как — кончать? — Я дернулся и выронил папиросу. — За что?

Он молча похлопал себя ладонью по боку. И потянувшись туда взглядом, я различил широкий, плоский, тускло поблескивающий штык. Такие - кинжальной формы - штыки я видел когда-то в армии, у десантников. Штык был засунут за пояс - и пояс этот тоже был армейский!

- Счастливый твой Бог, - сказал татарин: - Я-то ведь тоже сидел - давно, перед войной - знаю, все-таки, что к чему. Ну, а если бы оказался кто-нибудь другой - представляешь?.. Тут бы тебя - и кранты...

- Но - за что?

- А ты так и не догадываешься - кто мы?

Я уже начал помаленьку догадываться. Но все же решил уточнить. И подобрав упавший окурок, сказал, затачиваясь, кутаясь в дым:

- Солдаты - не солдаты... Не разберусь. Одно мне ясно: вы от кого-то прячетесь. От кого? Если не секрет, конечно.

- Ото всех, - проговорил татарин. И, подумав, добавил жестко: - Да, ото всех!

- И - с каких же пор?

- С войны.

- Ах, так значит, - вы?..

- Да, - сказал он, - в том и суть.

Вдруг он поднялся, молча вышел из комнаты. И спустя минуту вернулся - уже вдвоем с Архипом.

Мы разговорились. Архип на этот раз держался со мной иначе - не так, как прежде. Морща щеки в улыбке, вороша пальцами бороду, он сказал доверительно:

- Ты пойми: у нас же ведь нет выбора! Ежели какой чужак забредет к нам - хана. Сразу выдаст, наведет на след... Хошь не хошь, а надо его закапывать.

- И-да. - Я сделал рукою сложный, неопределенный жест. - Это конечно... Дело понятное... Но - чего вы все же боитесь?

- Ты по какой статье сидел? - спросил меня татарин.

- По указу.

- За что?

- Часть вторая. Железнодорожный грабеж.

- Та-ак, - протянул татарин. - Ну, а с воински-

ми статьями ты знаком?

- Конечно, - сказал я, - сам когда-то побывал в армии...

- Стало быть, ты - в курсе - сказал татарин. - Это хорошо. Много объяснять не надо.

- Но ведь вы когда дезертировали?

- По-разному... По всякому... Но в общем - в ту пору.

- С той поры прошло уже семь лет. Вы это, ребята, понимаете? Или вы, может, не следите за календарем?

- Следим, - усмехнулся в сивую свою бороду Архип. - Мы хоть и в тайге, в самой глуши обитаем, но все же кое-какие слухи и сюда доходят...

- Так в чем же дело? - удивился я. - Значит, вы должны знать: после войны сразу же началась амнистия. И первыми, кто попал под нее, были именно дезертиры! Им повезло гораздо больше, чем другим... Бытовиков освободили тогда не всех, пятьдесят восьмая статья вообще не попала под амнистию, а таких как вы - распустили подчистую.

- Что ж, это верно, - шумно вздохнул Архип. - Ежели б мы тогда сразу повинились... Повинную голову ведь меч не сечет.

- Сечет, - сейчас же отозвался татарин. Лицо его напряглось, редкие рыжеватые усики по краям рта ошетинились. - Еще как сечет! Любую голову!

- Тоже верно, - покивал Архип. - И в общем, что ж об этом толковать? Свое время мы упустили... Сами виноваты - знаю. А сейчас уже поздно. Пощады нам не будет. Нет, не будет. Не может быть!

- Пойдем теперь по другим статьям, - мрачно резюмировал татарин, - по другим - более тяжелым.

* * *

Я пробыл в становище дезертиров сутки и за это время узнал всю их историю. Они начали скопляться в тайге с сорок первого года, и к концу войны сборище это достигло внушительных размеров. Фронтовики здесь было мало; основную массу составляли молодые призывники - звероловы, охотники, лесорубы. Причем почти все они были выходцами из семей раскулаченных, из среды так называемых "спецпересе-

ленцев". В сущности, все они были жертвами террора... Сражаться за эту власть они, естественно, не хотели — предпочитали укрываться в тайге. Впоследствии контингент этот пополнился беглыми каторжниками. И так, постепенно, в низовьях Оби, в самом сердце водораздела, образовалось своеобразное по-таенное сообщество. Я бы даже назвал его племенем — племенем Отрешенных — название это здесь вполне подходит! Отрешенные от мира, беглецы жили замкнутой общиной, во многом напоминающей первобытные общины дикарей. Они добывали себе пропитание охотой и рыбной ловлей — так удовлетворялся голод. С любовью было сложнее... Но и эту проблему они тоже решили в конце концов; стали брать себе жен в становищах туземцев. Контакт с эвенками у них был давний, тайный и прочный; через них доставали дезертиры боеприпасы, а также сахар, чай, соль, муку и табак. Постепенно в общине этой выработались свои, особые порядки и правила, и даже возникла своеобразная религия — некая смесь христианских догматов с языческими обрядами. Они верили в Бога и в то же время поклонялись солнцу. Именно к нему, к солнцу, — по утрам и на вечерней заре — обращали они свои молитвы. Да и сами молитвы эти тоже выглядели необычно; канонический текст совмещался здесь со странными дикими заклинаниями. Их-то я как раз и услышал в тот самый вечер, когда впервые соприкоснулся с этим племенем!

Опасаясь сторонних людей, лесные эти отшельники порою поступали с ними жестоко... В детали я не вдавался, не допытывался, но все же понимал, что фраза татарина: "Пойдем теперь по другим статьям — более тяжелым" сказана была неспроста. Жалости они, конечно, не знали! И мне, в данном случае, просто повезло.

Повезло дважды. Прежде всего, — потому, что я (как бывший лагерник и "жиган") показался им человеком, в какой-то мере, своим, достойным доверия. Во всяком случае, именно это спасло меня поначалу, отвело от меня первый удар! Но окончательным своим спасением я обязан старику Ананьеву; бывалый и многоопытный, он много знал! Знал он и это племя — давно еще, со времен войны. И когда я исчез, он быстро понял, в чем дело. Пошел по следу — явился

в стан - и выручил меня.

В общем-то, доверия этих людей я не нарушил и молчал долгие годы. И если пишу сейчас о дезертирах, то потому лишь, что с тех пор прошло уже двадцать лет. За это время изменилось многое. И, что самое главное - существование странного, небывалого этого племени давно уже перестало быть тайной... О нем как-то сумели пронюхать местные журналисты и литераторы. А один из них - молодой красноярский поэт - в середине шестидесятых годов ухитрился даже тиснуть книжку, связанную с данной темой... Так что совесть моя спокойна. Я никого не предал, я просто рассказываю правду - рассказываю, дождавшись того момента, когда эта правда уже никому ничем не грозит.

ГОЛОС В СУМРАКЕ

Мы слышали странный этот голос перед ночью; был час тишины, и сквозь ветви сочился поздний свет - ослабнувший и словно помертвельный, и тайга стояла нечеткая, вся в размытых тенях, в сером дыму.

Мы шли по завалам, увязая в сыпучем снегу, усталые и сильно зазябшие.

- Шабаш, ребята! - сказал, останавливаясь, Ананьев. - Ни день, ни тьма, самое время паскудное, будь оно неладно. Пора ночлег изготавливать.

И в этот момент возник из сумрака голос.

Непонятный это был голос! Он возник на негромкой ноте; летел над тайгой и рвался с коротким всхлипом. Словно бы кто-то задыхался там - плакал или смеялся тоскливо. Нет, скорее плакал... А может, грозил?

- Эт-то еще что? - сказал, стукнув зубами, практикант Гриша; тревога метнулась по его лицу.

- Не пойму, - сказал Ананьев. - Сроду не слыхивал. - Он опустил брови. - Не слыхивал, нет! А уж я-то, кажется, здесь все насквозь понимаю.

Охотник-промысловик, старый лесной скиталец, он встретился нам случайно и не очень давно в одном из тазовских сел.

- Ребята, - сказал он. - Куда же это вы топаете на зиму глядя? Сгибнете ни за понюх, ай-ай...

И тут же с легкостью согласился проводить нас к низовьям Таза.

- В тайге что любезно? - говорил он. - Воля! Иди хоть на сто верст, дыши - не надьшишься.

Где-то на Туруханке имелся у него дом и, кажется, - семья, но, судя по всему, бывал он там не часто и не любил оседать. Косматый, в медной нечесаной бороде, был он угрюм и беспечен и весь пропитан сыростью и кислым самосадным духом. Он стоял теперь, переминаясь в снегу, - налаживал папироску.

Голос шел с заката, из-за тусклой еловой гривы, тосковал невнятно и перемежался хриплым клекотом. Он полон был смятения и ярости, этот голос, и звучал, забирая все выше и все пронзительней. И вдруг пресекся. Всклипнул шумно.

И сразу же в уши нам мягко надавила тишина.

- Зверь какой-то, - сказала Аня.

- Ясное дело, - усмехнулся старик. - Только вот - какой?

Некоторое время он помалкивал, распустив морщины, цедя сквозь усы кудрявый дымок. Потом медленно потащил из-за спины дробовик.

- Что-то не так, ребята. Нехорошее что-то - нутром чую! Пятый десяток по тайге хожу, такого зверя не слыживал.

Он обтер рукавом ружейные стволы, щелкнул курками.

- Вы, Гриша и Анна, насчет костра хлопчите, а мы сходим, разузнаем. Мы недолго!

- Боязно чего-то маленько, - сказала Аня.

Она посмотрела на меня внимательно:

- Тебе как?

- Да нет, ничего, - забормотал я, поеживаясь. - Пустяки.

- Пустяки, - сказал Гриша. - Но все же...

- Боязно! - тихо и просто сказал старик. - А как же? В тайге надо бояться... Бояться надо - трусить нельзя! Этот закон что для зверя, что для человека, - один! Ну ладно, потопали.

Еще раз, близкий и недолгий, пронесся крик в тишине. Мы брели, углубляясь в пасмурные хвойные

недра. Грива густа была и не хожена, и только путаный звериный лаз рассекал подлесок — уводил в низину; там ельник распадался.

Я смотрел в сутулую, качающуюся стариковскую спину; он шел впереди — неслышным, каким-то щупающим шагом. Внезапно он замер.

— Тут! — прошептал он, умеря дыхание. — Есть такое дело! Гляди, гляди.

Заснеженное овальное озерцо открылось нам. Оно лежало в пологих берегах — светилось зеленовато. Вокруг толпились стволы, висли низкие мохнатые кроны.

В центре его темнела полынья, и там, в тени, в белесоватой полумгле, угадывалось смутное движение; кто-то дышал там, у края пролома, хрипел и и ворочался тяжело.

Звучно плеснулась вода. И еще. И потом затихло все. И тотчас Ананьев повернулся ко мне — придвинулся плотно.

— Нерпа! — шепотом воскликнул он. — Полярный тюлень... Ну, дурак же я старый, Господи. Как это я раньше не сообразил? Но вот что непонятно: почему ее сюда занесло, в тайгу, в сторону от залива?

Пристально и осторожно обошли мы берега. Потрогали лед — он был еще слабоват и всхрустывал, прогибаясь, и старик сказал:

— Она, глупая, весной заплыва — случайно — по большой воде. За рыбой, ясное дело! А после вода спала. Теперь вот она и мается и плачет... Жалко!

— Жалко, да... Хотя чего ж плакать? — сказал я. — Воды хватает. Отсидится.

— Так ведь — одна!

Ананьев поднял лицо, колючие глаза его расширились; далекий сумрачный свет разливался в их глубине.

— Одна! — сказал он строго. — Это ты можешь понять? Ну, потом жизнь тебя достанет — поймешь... Нерпа семьей живет; ей, как и человеку, в одиночку, без своих нельзя. Нипочем нельзя! Да и не знаю, отсидится ли...

Он опустил плечо, кряхтя, на корточки. Ощупал пальцами снег. Чиркнул спичкой.

— Тут, я вижу, рысь бродит. Гляди, наследила... Вот, гляди, к полынье хотела подобраться. И ведь

подберется, подлая. Нет, браток, тут заплачешь!

Мы воротились не скоро. Тянуло морозом с реки; снежок подсох и позванивал ломко, и было зябко и неуютно в сплошной непроницаемой темени. Еще не рождалась луна — стояли последние осенние ночи.

— Проводник-то наш каков, а? — укладываясь, сказал Гриша. — Помнишь: бояться надо — трусить нельзя.

А Анна добавила: — Что ж, это — характер! Настоящий мужчина, таежник...

Я оглянулся на старика. Он сидел по другую сторону костра и таким запомнился мне надолго — угловатым, всклокоченным, неподвижным.

Дымные отсветы шатались по его лицу, и борода казалась раскаленной, а за спиной, из холодной глубины все тосковал, все кого-то звал и оплакивал одинокий, томительный голос.

Утром Ананьев сказал, поскребывая в медной бороде:

— Я, ребята, обещался свести вас к Тазовской губе... Она вот она — за излучиной. Километров двадцать, не более того. Здесь дойдете сами.

Он говорил, занавесив бровями глаза. Он смотрел на восток — туда, где клубилось за хребтами низкое ледяное солнце.

— Уж вы, ребята, не обижайтесь, а я — домой! Полгода ведь не был, не спал в тепле, шутка сказать. Все один, один... Нынче целую ночь думал... А вы молодые, шустрые, вы и без меня дойдете, до-топаете — свободно. Вас еще жизнь не достала — вам легко!

И мы расстались с ним, досадуя и торопясь.

* * *

Мы расстались — но история эта запомнилась мне.

Образ старого лесного бродяги, вдруг заскучавшего по семье, по дому, нередко теперь возникал перед мысленным моим взором и слова его: "Человеку одному, без своих, нельзя, нипочем нельзя", — слова эти запали в душу глубоко и прочно. В самом деле, пора и мне менять адрес, — думал я, — пора возвращаться в Москву, в город своего детства. Там

я буду среди близких, среди своих. У меня там будет твердая почва; я развернусь в литературе, начну... Начну... А здесь — что в конце концов меня здесь держит? Что привязывает к этой экспедиции? По сути дела, она — мое случайное пристанище. Я ухватился за нее, как утопающий хватается за соломинку. И — не утонул. Удержался на поверхности. Сберегся — и слава Богу! Но это уже позади... И хватит таежной романтики! Надо думать о главном, о будущем.

СМЕРТЬ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Я мечтал о Москве — и с каждым днем все сильнее — но мечты мои — все же не были легки и безоблачны. К ним постоянно примешивалось какое-то смутное беспокойство... С чем я приеду туда? — нередко думал я. — Что привезу? Быть может, все эти мои сочинения — пустое дело, зола, дилетантские бредни?

И тогда я извлекал из вещмешка помятую, замусоленную тетрадку и тугие, хрусткие свертки березовой коры. Иногда мне, за недостатком бумаги, приходилось писать и на ней — древесным углем, в мутном сумрачном свете костров. И разворачивая, разглаживая бересту на колене, я заново перечитывал корявые смазанные строки.

Возможно, тут не все еще ладно, — томился я, — но я ведь только начинаю... И как бы то ни было, поэзия живет здесь, кроется, я это чувствую. И ощущение мое — безошибочно.

А может, я все-таки ошибаюсь?

В таких вот сомнениях я провел все последнее время — и не знал, на что решиться: то ли уехать (теперь я мог это сделать — деньги на дорогу были), то ли еще обождать немного, дозреть, упрочиться! Поднакопить побольше материала — и уже тогда... Тогда...

Однако жизнь моя всегда шла под знаком неожиданных перемен. И вскоре обстоятельства сами вынудили меня к отъезду. Случилось так, что мне поневоле пришлось убираться из экспедиции, причем — как можно скорее!

Все произошло из-за женщины. А точнее - из-за Ани, жены начальника нашего отряда.

* * *

Изыскатель, этнограф, она работала с нами и часто и подолгу уходила в тайгу. И однажды, в начале апреля, меня с ней застигла в тайге свирепая вьюга. Весенние циклоны - самые опасные! Снег в эту пору насыщен влагой; он плотно облепляет одежду и лица, и застывает на них сплошной коркой - ледяною, погибельной, пронизывающей до костей... Мы знали это и поспешили укрыться от вьюги. И переживая ее, целую ночь отсиживались в старом, полуразвалившемся охотничьем балагане, случайно встретившемся нам на пути.

Вернее, не отсиживались, - а отлеживались.

Мы были вдвоем с этой женщиной. И у нас на двоих имелся один дорожный спальный мешок. Мешок был поместительный, двухместный. Но все же лежать там приходилось вплотную, тесно прижавшись друг к другу. И так мы долго лежали в ту ночь, и дыхание наше смешивалось, и руки были переплетены. Густые жесткие Анины волосы щекотали мне лицо, лезли в глаза и в ноздри, и пахли томительно и пряно.

Сухощавая, рослая, со скуластым лицом, она была старше меня лет на шесть, стало быть - не так уж и молода. Но грудь ее - маленькая и крепкая с упругими, прохладными сосками, - была, как у девочки... и я ей так и сказал.

Она усмехнулась в ответ:

- Как у девочки... Пожалуй. Больно уж мала! А это ведь не каждому мужику нравится, это - на вкус.

- Ну, а твоему-то мужику? Твоему, - поинтересовался я, - ему это - как?..

Вопрос был глупый, мальчишеский, и я тут же пожалел о нем. Но Аня отнеслась к моим словам спокойно. И отозвалась с небрежной, чуть насмешливой, кисловатой гримаской:

- Ему это вообще - до лампочки. Он же у меня ученый! Кандидат наук! Диссертацию готовит и только этим одним и живет.

И добавила, помолчав:

- Только этим! А на все остальное ему накашлять. Что я, где я, как я - ему все безразлично.

- Он что же - и не ревнует тебя вовсе? - спросил я, закуривая. Спросил с некоторой надеждой... И был доволен ответом.

- Нет, - сказала она с коротким вздохом. - Он из другого теста. Сухарь, педант, понимаешь? Человек хо-ло-днокровный.

Аня сказала так - и я успокоился. И вернувшись на базу, в село, продолжал встречаться с ней время от времени. Она приходила ко мне по ночам... Я успокоился - и напрасно! Как выяснилось, мы оба с ней ошибались.

Муж ее - этот ученый сухарь - оказался вовсе не таким уж холоднокровным. Внезапно он вызвал меня к себе в контору (произошло это месяца три спустя) и сказал, угрюмо ссутулясь, катая в зубах трубку:

- Вот что, парень. Подавай-ка заявление об уходе.

- Это почему? - удивился я.

- Да так, - пожал он плечами. - Надо.

Он разговаривал, глядя не на меня, а в стол - в бумаги - шуршал ими, согнувшись. Я видел только темя его и седые жалкие пряди, и большие лоснящиеся залысины.

- Но почему, почему? - настаивал я. - Что случилось?

- А ты, что ли, не понимаешь?

При этих словах он поднял ко мне лицо - коротко блеснул очками - и тотчас отвел, опустил глаза. И я сразу же понял все. Я понял. Но по-прежнему продолжал упираться - теперь уже притворяясь, хитря:

- Как-то это все странно... И неожиданно... Работа мне нравится, и я вовсе не собирался бросить ее так вот, с маху.

- А все же придется, - сказал он жестко. - И если ты не хочешь скандала - уходи сам, по своей воле. А то ведь я могу и выгнать.

- Вот оно что - пробормотал я. - Н-ну, ладно. И когда же мне отчаливать?

- Когда хочешь, - сказал он, - хоть завтра. Здесь нам с тобой все равно не ужиться, и чем ско-

рее ты испаришься - тем лучше.

И снова - быстро и холодно - блеснул на меня очками:

- Ты меня понял?

- Не совсем... Но, в общем, - да... Что ж без толку спорить.

- Ну, вот и хорошо. А теперь - проваливай.

И я ушел. И спустя сутки уже сидел с вещичками за селом, на взлетном поле, - дожидался рейсового самолета.

Здесь обычно курсировал небольшой почтовый АН. Он прибывал к нам из Игарки каждую неделю, по субботам, в середине дня. Доставлял продукты и почту и тут же уходил обратно.

Вот все и решилось - само собой, - думал я, сидя на скользких, сырых, сваленных в груды бревнах и неспешно дымя папироской. - Я бы, может, долго еще колебался, но теперь что ж... Теперь у меня дорога прямая.

* * *

Пилот - молодой, румянолицый парень - проговорил озабоченно:

- Не знаю, право, как быть. Свободных мест у меня нет - со мной еще один пассажир. И вообще, машина перегружена... Разве что в хвостовой отсек тебя поместить? Хотя и там...

- А что там? - поинтересовался я.

- Мороженая рыба.

- Ладно, - отмахнулся я. - Если есть возможность - я готов. Лететь-то ведь недолго?

- Да нет, - сказал он, - пустяки. Два с половиной часа. Ну, три - от силы. Смотря по погоде.

- Ну так давай, ищи место, - сказал я нетерпеливо. - Рыба мне не помеха... Какая хоть рыба-то?

- Семга, - мигнул летчик. - Первый сорт. Заску-чаешь - пожуешь.

- Вот именно, - усмехнулся я. И вскинув на плечо вещмешок, пошагал к самолету.

Хвостовой отсек оказался забит до отказа. Мы с трудом разгребли мороженые рыбы туши, расчистили небольшой участок - возле самой стенки. Я залез

туда, вытянулся. Летчик сказал:

— Ну, будь!

И с грохотом захлопнул металлическую клепаную дверцу.

Отсек погрузился в темноту. Послышался частый, густой, все усиливающийся рокот. По металлу, по рыбьим тушам, прошла долгая судорога. Самолет сотрясся, разворачиваясь, тяжело взвыл — и оторвался от земли.

Я лежал, покуривая, в темноте и прохладе. И поначалу это было даже приятно. Но потом я почувствовал себя неуютно.

За воротник — продирая по коже мурашками — пополз холодок. Затем стали стыть уши и кончики пальцев. Заломило спину. Вздрагивая от озноба, я заворочался и привстал — еще не осознавая случившегося, но уже встревоженный, охваченный безотчетным томлением.

Я посмотрел на дверь. Она была заперта наглухо, надежно. Ни единой щели не было в ней — ни одного просвета. Я притронулся к дверце и ощутил сыпучую мягкость инея. Металл был опущен морозом; он обжигал руки... И только теперь я сообразил: куда я попал и что мне грозит!

Тесный этот, забитый мороженой рыбой хвостовой отсек являл собою нечто вроде холодильника. И я оказался запертым в нем, замурованным, напрочь отрезанным от людей.

Люди — летчик и пассажир — находились снаружи, в кабине. И только они могли меня сейчас спасти. Только они!

Я начал стучать, взывая к ним — но никакого ответа не последовало. Очевидно, они не слышали меня; рев мотора глушил и смазывал все сторонние звуки.

Я бил что есть силы в стальную дверцу — все бил и бил — расшиб до крови руку, вспотел и измаялся, и вконец охрип от крика... Но все было тщетно. Дверца оставалась запертой. На помощь мне не приходил никто.

Тогда я лег — передохнуть. И какое-то время лежал так, вытянувшись и не шевелясь. Я лежал и чувствовал, как из меня уходит тепло — уходит, уходит, истекает, словно вода из прохудившегося сосу-

да... Я снова привстал было - но тут же лег опять, испытыв мгновенную слабость и головокружение.

Влажная рубашка подсохла и затвердела. Может, она просто замерзла? Однако холода я уже почти не чувствовал. Стало легко и томно, и как-то даже блаженно. Поклонило в сон. И тут я понял - что замерзаю.

Я застывал, проваливался в дремоту. И уже не хотелось ни двигаться, ни кричать. Хотелось одного: расслабиться, забыться, смежить отягченные веки... Мысли пошли ленивые, мутные. Вот оно, достойное завершение всех моих планов и подвигов! - подумалось мне. Но сейчас же, отодвигая эту мысль, появилась другая: а чего они, в сущности, стоят, эти планы? Это же бред, пустяки... Как я жил бес толково, так и кончаю. Конец-то ведь все равно неизбежен! И какая разница, где он случится и как?

Я замерзал - представляете эту ситуацию? - погибал от холода в разгаре лета (а лето в заполярье хоть и короткое, но солнечное, жаркое) и не на грешной земле, где я столько бродил и бедствовал, а - в облаках, в блистающем поднебесье.

* * *

Очнулся я в Игарском аэропорту, в поликлинике. Спасение пришло вовремя. Еще какой-нибудь час - и все ведь было бы кончено! Меня уже никогда не смогли бы добудиться... Я лежал на кушетке, полураздетый. Пальцы ног и руки, и лицо - все тело у меня горело, словно бы в огне, было пронизано острой, режущей болью.

Надо мной хлопотали местные медики - растирали меня, приводили в чувство. И здесь же мельтешил пилот - тот самый белобрысый и розовощекий парень - сокрушался, ахал, переживал.

Сквозь мутную одурь, сквозь поволоку, застилающую взор, я с трудом и не сразу различил его лицо. Низко склонившись ко мне, он бормотал, кривясь и вздрагивая:

- Ах, незадача... Боже мой! И как же это я вовремя не подумал, не сообразил? Ведь что могло бы произойти - страшно представить... Ах, я болван!

- Ладно, - сказал я, - чего там... Что было - прошло... - Я сказал это медленно, едва управляясь с дыханием. - Хотя, конечно, - болван. В этом ты можешь не сомневаться!

- Дак я разве - что? - засуетился он (теперь уже улыбаясь, как-то сразу просветлев, помягчев лицом). - Я разве спорю? Ну, прости, браток, ну, бывает...

- Ты мне вот что скажи, - перебил я его, - меня чем растирают-то?

- Спиртом.

- Так. А внутрь - нельзя?

- О чем разговор! - засмеялся тот. - Можно. Все можно!

Он распрямился и отступил - исчез из поля зрения - и через пару минут поднес мне полный, налитый вровень с краями, граненый стакан.

- Рвани, браток, - сказал он задумчиво. - Рвани - и забудем, ладно? Получилось, конечно, глупо. Но кто ж бы мог предугадать? Такой уж ты, видать, незадачливый... А впрочем...

Тут он на миг примолк, собрал складками кожу на лбу. И поглядел на меня изучающе. И затем - поигрывая бровью:

- Впрочем, как посмотреть. Может, как раз - наоборот? Ведь подумай: была бы в Игарке плохая погода - туман, скажем, или дождь, - аэродром меня не принял бы. Я мог бы приземлиться где-нибудь в другом месте. А это значит... Нет, браток, ты, пожалуй, из тех - из фартовых... Судьба тебя не балует, но все же, видать, бережет. Дает тебе шанс, дает!

Кто же я, в самом деле? - размышлял я потом, рванув стакан спирту и размягчась, оттаивая, погружаясь в зыбкое, блаженное забытие. - Какой я? Со мной ведь постоянно что-нибудь происходит, ничего не идет гладко. Что бы я ни задумал, ни начал все оборачивается кошмаром или анекдотом. Все получается скверно. До крайности скверно. Очевидно, такова моя участь. Судьба ничего не хочет дарить мне, давать задаром, легко. Летчик прав: она меня не балует. Но какой-то шанс все же оставляет. Это видно и в мелочах и в крупном... Вот и теперь... Из тайги я, хоть и с трудом, все же выбрался. Впе-

реди - Москва! И самое главное - воспользоваться новым этим шансом, не оплошать, не дать маху, не упустить удачу... Несмотря ни на что, я где-то, в глубине души, верил в удачу, рвался к ней. Рвался, в принципе, так же, как и спортсмены, - как штангисты, к примеру, или же прыгуны. Потерпев неудачу на первом заходе, они, как известно, пытаются счастья трижды. Три попытки дано им. Три попытки! И сейчас я - сорвавшись в самом начале, - мечтал о реванше, об отыгрыше, о новом решающем рывке.

Часть 2

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

Я с юностью бездомною прощаюсь.
Я к суете столичной приобщаюсь.

БЛУДНЫЙ СЫН

Я прибыл в Москву с вечерним, десятичасовым; пестрый поток пассажиров закружил меня, вынес с перрона на вокзальную площадь и расплескался по сторонам. И оставшись на миг один и оглядевшись, я почувствовал себя неуютно, как-то неловко. Мешковатый и неуклюжий, в свитере с обвислым воротом, в потертой тужурке и тяжелых кирзовых сапогах, я выглядел типичным провинциалом. И никак не вписывался в столичный пейзаж.

За годы странствий я отвык от Москвы, и она от меня — тоже.

Что ж, первым делом я — для бодрости — завернул в ближайшую пивную. Здесь все было привычным, простым, таким же, как и всюду; тот же гомон и толчея, те же воспаленные рожи алкоголиков, тот же кислый сивушный дух...

— От хозяина, что ли? — спросил меня тощий, длиннолицый, со скошенным подбородком тип. — Из лагеря, а?

— Нет, — сказал я, сдувая с кружки пивную пену. — А разве похоже?

— Конечно, — сказал другой — низкорослый, с косой рыжеватой челкой. — У тебя ж на лбу печать стоит: сын ГУЛАГа!

— А все же — ошибаешься...

— Да ты не темни, — подмигнул низкорослый. И

мотнул головой, отбрасывая лезущую на глаза челку.

- Не бойся. Тут все такие - прокаженные.

- Один вот тоже - давеча темнил, темнил, - пробормотал тип без подбородка. - Заливал: я, мол, техник, химик... То да се... А после выяснилось, какой он химик!

- Насосался водки - такой шумок учинил, ой-ей, - добавил другой, - полез за финяком... Махать им начал... Ну, его потом быстро успокоили. Поставили голову по пуговицам.

- Это как же - по пуговицам? - поинтересовался я.

- Есть такой анекдот, - пояснил парень с челочкой. - Свеженький. Знаешь?

- Да вроде нет... "По пуговицам?" Не слыхивал.

- Ты в самом деле дикий какой-то, - хрипло хохотнул длиннолицый. И похлопал меня по плечу... - Да ты откуда, милок, из тайги, что ли?

- Именно, - сказал я, - оттуда.

- Ну, тогда слушай. Просвещайся. Значит, так. Выходят из пивной двое - держат третьего под руки. Тот стоять совсем не может, валится... Ну, их прохожий спрашивает: "Что это, мол, с ним? Неужто так набрался? Ай-яй..." - "Да вот, - говорят, - сами не поймем. Все было хорошо, нормально - выпили, вроде, не так уж много - а как пальто на него надели, он почему-то сразу захмелел, отключился..." Прохожий говорит: "Да вы, дьяволы, как надели-то? Глядите: задом наперед." - "Ах, так вот, в чем дело, - говорят ребята, - а мы не разобрались - ему голову по пуговицам поставили."

Анекдот развеселил меня, да и выпивка - тоже. И я пошагал из пивной уже малость окрепший, успокоенный.

Успокоенный, впрочем, не полностью. Не совсем.

Я направлялся к себе домой - но шел, по существу, в неизвестность...

Здесь мне придется отступить, отвлечься несколько. Времени это займет немного - как раз столько, сколько нужно для того, чтобы добрести до дому по поздним, сумрачным улицам столицы. Я уже говорил, что домашняя детская моя жизнь сложилась нескладно, незадачливо... Родители мои разошлись давно. И мать - сколько я ее помню - всегда прожи-

вала отдельно от нас.

После смерти отца я перебрался на жительство к матери, в Москву. Момент этот совпал с ее новым замужеством и она, в связи с этим, постоянно обитала теперь у мужа — художника. Прежнее ее жилище оставалось заброшенным, пустым... И вот там-то я и поселился.

Я жил сиротливо и неприкаянно — один в просторной трехкомнатной квартире. Жил, полностью предоставленный самому себе. И там меня постигло первое несчастье. В 1942 году мне вдруг прислали повестку с приглашением явиться на работу на авиационный завод. К сожалению, я не придавал этому значения — тут же забыл про повестку и потерял ее... А делать этого было нельзя! Шла война — затяжная и беспощадная — и в стране тогда царили особые законы. Законы военного времени. И нарушение их каралось жестоко. И однажды ночью за мной пришли. И вскоре судили — за нарушение правительственного Указа о всеобщей обязательной трудовой повинности. Я был приговорен к двум годам заключения и препровожден на Красную Пресню, в закрытый лагерь. Краснопресненский этот лагерь — самый первый в богатом моем перечне — был одновременно и самым жутким из всех, какие я повидал на веку... Там я тяжело заболел (не выдержал жесточайших арестантских условий) и был доставлен в Бутырскую Центральную тюремную больницу. А оттуда вскоре освободился — был "сактирован по болезни".

Я вернулся домой — но меня там ожидали перемены... Оказалось, что квартира наша заселена. За время моего отсутствия (а прошло все-таки более года) нас "уплотнили", и две комнаты из трех заняли теперь нежданные жильцы. Новая эта семья состояла из трех человек. Главой ее являлся некто Петр Ягудас, судя по фамилии — хохол. Был он ловок и деловит, этот Ягудас; состоял в партии, носил военную форму, но подвизался не на фронте, а в тылу — на коммерческом поприще. Помимо него имелась также старуха (мать Петра) и малолетняя дочка его, Наташа, живущая с отцом, — без матери — так же, в сущности, как и я сам когда-то... С маленькой этой Наташей (тогда, в сорок третьем году, ей было, кажется, 8 лет) я, помню, сдружился; она бы-

ла единственной из этой семьи, к кому я относился по-доброму... С самим Ягудасом у нас сразу же сложились отношения натянутые. Не успев въехать в квартиру, он тотчас же начал покушаться на всю эту жилплощадь, стал интриговать, строить козни... Я узнал об этом - и невзлюбил его, естественно.

Вот так обстояли когда-то домашние мои дела! С тех пор утекло немало воды. И я не знал: что теперь происходит в моем доме, какие новые перемены ожидают там меня? Я ведь не знал ничего. С семьей своей - с матерью - я не переписывался и вообще утратил всякую связь, с сорок пятого года, с той самой поры, когда мне пришлось тайно бежать из города и начать подпольную, скитальческую жизнь.

Я отвык от Москвы. И думал, что начисто забыл все ориентиры. Но нет - я вышел точно! Ноги сами привели меня в знакомые с детства места... Шумит столица. Кружится столица. Так просто в этом сонме заблудиться. Но словно лось, неведомой тропой, крадущийся во тьме на водопой, лишь дрожью сердца да чутьем ведомый, я выхожу к единственному дому. Высокий дом. Я у его порога, как у подножья снежного отрога. Знакомый дом. Далекое окно. Темно оно. Я не был здесь давно.

* * *

Нетерпеливо - с бьющимся сердцем - надавил я кнопку звонка. И сейчас же за дверью послышались легкие летящие шаги. Дверь распахнулась. И в проеме ее, в желтом свете, я увидел девушку - круглолицую, в коричневом платье с кружевным воротничком и с черной, тугой, переброшенной через плечо косю.

- Вам кого? - спросила она, с легкой опаской разглядывая меня.

- Простите, - сказал я, - здесь должна жить Елизавета Владимировна...

Я назвал последнюю - по мужу - фамилию моей матери. И тут же подумал с мрачным юмором: черт возьми, а может, я опоздал, напутал и теперь у нее уже какая-нибудь новая фамилия?

- Да, да, - сказала девушка, - это здесь... Но

сейчас ее, к сожалению, нету.

- Нету? - огорчился я. - Вот незадача... И комната, конечно, на запоре?

- Ну, разумеется, - сказала девушка.

- Так. А когда она вернется - не знаете?

- Не знаю. Она здесь вообще почти никогда не бывает.

"О, проклятье, - подумал я. - Новый сюрприз! Вот мне и поставили голову по пуговицам..."

Я вдруг ощутил усталость и какую-то давящую пустоту в душе... Ехал, спешил, рвался домой - а что получилось? Опять я попал в дурацкое положение. Где мне теперь ночевать? На вокзале - по старой привычке? Или у родственников? Но на вокзал идти опасно, там - милиция. А адреса родственников я не знаю; я все забыл, растерял за минувшие годы.

Очевидно, что-то изменилось в моем лице - что-то там отразилось такое, что девушка вдруг помягчала, подобрела. И сказала, помедлив:

- Если она вам очень нужна, можно, конечно, попытаться ее разыскать...

И отступя на шаг - пригласила:

- Входите!

Я вошел в квартиру и осмотрелся медленно. Знакомая старая прихожая. Небольшой полутемный коридорчик. Три выходящих в него двери. Одна из них, слева, заперта. Это - моя. Две других растворены и там - свет, движение, зыбкие тени и невнятная музыка.

- Подождите здесь, - сказала девушка, - я позвоню. - И потом - вполоборота:

- Как сказать - кто ее спрашивает?

- Скажите: сын.

- Сы-ын, - протянула она. И словно бы задохнулась. - Какой сын?

Брови ее полезли вверх. Рот округлился. Верхняя губка приподнялась, обнажая мелкие, матово поблескивающие зубы.

- Как - какой? - усмехнулся я. - Один. Настоящий. У нее же - не десять...

- Так значит, вы живы, - прошептала она. - Вот чудеса!

И сейчас же крикнула - в глубину коридора:

- Папа! Посмотри, кто пришел!

- Кто? - спросил ленивый, развалистый баритон.

- Да ты выйди, посмотри!

И в коридор - неспешно, вразвалочку, вышел, шаркая шлепанцами, старый знакомый мой, Петр Ягудас.

И мгновенно я понял, угадал: значит, эта красоточка - та самая, маленькая Наташа... ого! Я не узнал ее - и это понятно. Но сам-то сосед мой почти не изменился; разве только пополнил еще больше - обрюзг, погрузнел. Толстые лоснящиеся щеки его обвисли и почти лежали теперь на плечах. В углу безгубого тонкого рта зажат был костяной мундштук с папиросой.

- Вечно ты, Наташка, со своими... - ворчливо начал он. И увидел меня. И побледнел, попятился, выронил из зубов мундштук.

- Нет, - пробормотал он, - неправда... - И замахал на меня руками. - Это ты - в самом деле?

Я молча пожал плечами. Наташа тоже молчала, стиснув руки, по очереди глядя то на меня, то на отца. Присев на корточки и нашаривая, кряхтя, мундштук, он сказал:

- Но как же так... Откуда ты?

- С севера, - сказал я.

- С севера, - повторил он, распрямляясь. - А может - с того света?... Ну, ладно. Здравствуй.

И слегка обняв меня, похлопал пухлой своей ладонью по плечу.

- Проходи в комнату, - сказал он затем. - Хочешь чаю? Наташка, сообрази-ка, - все-таки человек с дороги... А я сейчас позвоню.

И покосившись на меня - добавил усмешливо:

- Матушка твоя, ты знаешь, тут не живет. Я вообще, должен сказать, не понимаю: как эта площадь сохраняется за ней до сих пор... Но это так - к слову... А матушку что ж, - разыщем! Попробуем! Если только она в Москве. Сейчас ведь сезон курортный - сам понимаешь.

Потом я сидел за столом, потягивая душистый чай и повествуя о своих похождениях. Наташа слушала меня напряженно, теребя в пальцах кончик косы, и не сводя с меня темных, внимательных, немигающих глаз. Старик расхаживал, шаркая, по комнате; дымил папиросой, думал о чем-то... И время от времени - перебивая меня - задавал уточняющие вопросы.

Ночью — был уже второй час — явилась, запыхавшись, моя мать. Всплакнув (и замочив меня слезами), она никак не могла успокоиться и все разглядывала меня, твердя низким рвущимся голосом:

— Господи... Целый, невредимый! Живой!

— Конечно, живой, — возмутился я. — Каким же еще я должен быть?! Мне вообще непонятно: что это с вами? Вы все тут на меня смотрите, как на выходца с того света...

— Так ты действительно оттуда, — всхлипывая и улыбаясь, объявила мать, — я ведь тебя уже отпела, панихиду в церкви справила.

— Что-о? — я даже вздрогнул при этих словах. — Это еще почему? Только панихиды мне не хватало.

Она поджала губы. Повела плечом.

— Такие слухи ходили.

— Слухи о чем?

— О том, что тебя убили, вроде бы, — пояснил Ягудас. — Не то пристрелили, не то прирезали.

— Когда?

— Да где-то после войны. Давно... В конце сороковых...

— Чепуха какая! — сказал я, изображая улыбку. — Любят же люди болтать.

Я трудно сказал это, сдавленно; я вдруг подумал о том, что со мной ведь — и в самом деле — все это могло случиться! И не один раз — сотни... В сущности, эта участь была мне уготована, ждала меня на каждом шагу. И удивительно не это. Удивительно, — как я все же сберегся, спасся, добрался в конце концов до Москвы.

Затуманившийся, задумавшийся, я на какое-то время забыл обо всем — погрузился в воспоминания, отдался томительной их власти... И не сразу слышал голос матери:

— Что с тобой? Очнись! Я говорю, спрашиваю, а ты где-то витаешь.

— Нет, нет, — встрепинулся я, — слушаю... О чем ты?

— Да о тебе. Надеюсь, у тебя теперь все в порядке с бумагами, и вообще...

— Понимаешь ли, — начал я... Но тут же умолк. И

закурил. И добавил небрежно: — В общем, не беспокойся. Проблем нет никаких!

Я солгал; проблемы были, конечно, были! Но говорить об этом я не стал, потому что заметил реакцию соседа. Он сразу придвинулся и засопел; лицо его напряглось, натянулось, губы выпятились жаждущие.

— С прошлым — я полагаю — теперь покончено? — продолжала допытываться мать.

— Навсегда.

— И какие же у тебя планы?

— Хочу связаться с редакциями — начать печататься, — сказал я. И потупился. — Я ведь пишу...

— Что же ты пишешь?

— Стихи.

— Стихи, — проговорила она протяжливо. И в голосе ее я не уловил восторга. — Вот как. И что же, получается?

— По-моему, да, — пожал я плечами. — Во всяком случае, я так думаю... Надеюсь...

— Надежды юношей питают, — усмехнувшись сказал Ягудас. — Стихи! Это, дружок, дело темное, ненадежное. Сочинять любят все, а выбиваются — единицы. Да и то не сразу.

— Вот я и хочу...

— Хотеть — одно, а мочь — другое, — перебила меня мать, — Петр Яковлевич прав: дело это ненадежное... Да и откуда у тебя, прости Господи, такая самонадеянность? Поискал бы лучше какую-нибудь нормальную работу. Ты уже не маленький — научись относиться к вещам серьезно.

— Ну, зачем вы так, — сказала внезапно Наташа. — А может, у него, действительно — талант? Может, получится? Я верю.

Все это время она сидела, молчаливая, притихшая. Неотрывно смотрела на меня и в глазах ее — темных, широко распахнутых — сквозило любопытство и живой интерес, и еще что-то; какое-то зыбкое сияние, какой-то дальний свет... Теперь, сказав так, она смутилась, зарумянилась. И от этого еще больше похорошела.

— Ты бы, Наташка, помолчала, когда говорят старшие, — проворчал Ягудас.

Он покосился на дочь. Отвел было взгляд. И по-

том опять - угрюмо, быстро - глянул на нее из-под седых бровей. Видимо, он хотел еще что-то добавить, но - сдержался. Тряхнул щеками. И вынув из рта мундштук, принялся его прочищать.

- В общем, поживем - увидим, - сказала мать. - Главное, ты вернулся. - И снова лицо ее дрогнуло в беззвучном плаче. - Живой, невредимый, это ведь чудо! - И опять она осветилась улыбкой. - Я уж, было, отпела тебя, а ты - вот он!

- Что ж, закалывайте тельца, - подмигнул Ягудас. - Знаете притчу о Блудном Сыне?

- Папа, - объявила, вставая, Наташа, - а ведь у нас есть жареная телятина! Осталась на кухне - с утра... Я подогрею?

БЛУДНЫЙ СЫН

(продолжение)

Мы просидели - за поздним ужином, за разговорами - почти всю ночь. Когда мать простилась и ушла, близилось уже утро. Наконец-то я очутился в старой своей, запущенной комнате; чувствовалось, что здесь давно уже никто не жил и не прибирался. На всем лежал слой пыли, окна были мутны, занавеси - в пестрых разводях плесени.

И вот, удивительное дело, тусклый этот вид запустения никак не расстроил меня, нет, наоборот, - он словно бы наполнил мне душу теплом.

Все здесь, в сущности, сохранилось нетронутым, - таким, как я оставил, покидая когда-то Москву. Если кто и ждал меня все эти годы, то - не люди, а вещи. Вот этот диван - он помнил мои сны. Вот этот стол - он знал мои привычки; знал, как я сижу, облокачиваюсь, пишу... Вещи остались в неприкосновенности, сохранили мне верность - и дождались меня, дождались! Я долго не мог уснуть; бродил по комнате, разглядывал ее, рылся в шкафу и в ящиках стола - перебирал лежалые бумаги.

В одном из ящиков я обнаружил пожелтевшую, потрепанную фотокарточку отца. Он стоял в заломленной папаше, с полевым биноклем на груди, - держал

под уздцы оседланную лошадь и упирался другой рукою в наборную рукоять казачьей шашки. Снимок был давний, времен гражданской войны.

Отец стоял вполоборота и, казалось, смотрел на меня, и лицо у него было суровое, строгое. И мне почему-то вспомнился случай... Было это давно, в Кратове, в начале тридцатых годов. Тогда ему случайно попались в руки первые, детские мои сочинения. Стишки были вздорные, подражательные; я впервые тогда познакомился с российскими символистами, ничего не понял, естественно, но сразу же заразился демонизмом и многозначительностью. Там были такие, например, строки: "Я шел сюда, чтоб выше быть всех остальных людей. Я никогда не мог забыть тех, славы полных, дней..." Отец отнесся к моим опытам странно. Не восхитился (на что я втайне уповал) и не отругал меня (чего я все же инстинктивно побаивался). Он вообще, ничего не сказал — задумался и подошел к окну, и так стоял какое-то время. И выражение его лица было таким же точно, как на этом фото... О чем он думал? Что его так огорчило? Может быть — нелепое, несколько параноическое направление моих мыслей? А может, он просто предвидел, предугадывал, мою нынешнюю судьбу. Он ведь был не только старым солдатом, профессиональным военным, он еще был и известным писателем, членом объединения "Кузница", автором нескольких романов, пьес и поэм, опубликованных им под псевдонимом Евгений Бражнев, — и отлично знал, какой ценою дается в литературе успех...

— Отец, — сказал я, — почему все против меня? Все — до единого. Прямо сговор какой-то! И там, в Сибири, и здесь... И чужие, и свои... И ты тоже — я помню, знаю... Но почему, почему? Неужто так трудно в меня поверить?

И тут же в памяти моей всплыли робкие Наташины слова: "Я верю!" И невольно я улыбнулся, вспомнив наивную ее вспышку, краску смущения...

Я осторожно вышел в коридор — решил вскипятить на кухне чайку. Наташа, очевидно, спала уже; комната ее была закрыта. Жаль! — подумал я вскользь.

И вдруг заметил свет, пробивающийся из соседней комнаты — напротив.

Там помещался ее отец. Судя по всему, он еще

бодрствовал. Дверь была слегка приотворена, и я заглянул туда мимоходом, и окликнул старика. Он не отозвался; он спал, оказывается. Но — странное дело! — спал не в постели, а в кресле.

Кресло было придвинуто к самому порогу. И он сидел там, и тихо посапывал, накрываясь. На бугристой его лысине сверкал электрический блик, под глазами набрякли отечные мешки, жирные щеки висели, касаясь отворотов халата.

Странная все-таки манера спать, — удивился я, — а впрочем, — каждый сходит с ума по-своему!

Осторожно, на цыпочках, прошел я затем на кухню — и отвлекся, забыл о нем, не придавал этой детали значения...

* * *

Я не случайно так подробно останавливаюсь на всех этих, самых первых моих, московских впечатлениях.

Чувство прошлого — тонкое чувство. Я бы даже сказал: изысканное. Время, уходя, не уходит бесследно. Былое всегда остается с нами, но — оставаясь — оно все же меняется, обретает иные масштабы и формы. С течением времени в памяти нашей стираются, блекнут одни детали, и четко и выпукло проступают другие. И протекшая жизнь, таким образом, предстает перед нами несколько преобразенной, организованной в некий сюжет.

Что ж, это естественно. Законам сюжета, в конце концов, подчиняется не только литература, но и сама история; все ведь имеет свое начало, кульминацию и развязку. В любой ситуации, в каждой житейской сцене, есть моменты напряжения и спада. И есть — кроме того — незначительные на первый взгляд мелочи, исполненные особого смысла, намекающие новый, неожиданный, сюжетный поворот... Вот их-то — эти моменты, такие мелочи — и отбирает, как правило, память, и хранит душа. И я сейчас останавливаюсь именно на них.

Я приготовил чифир — крепчайший, по-особому сваренный, азиатский чай, распространенный на севере и в Сибири. Все равно — это было ясно — мне теперь уже не уснуть! И попивая терпкий этот напиток и дымя папиросой, сел у окна. И опять вернулся мыслью к отцу.

Он тоже знал этот напиток — пробовал его когда-то! Наши пути ведь были кое в чем схожи; я повторил, скопировал его начало... Молодость его была такой же бесшабашной, бездомной, бродяжьей. И прежде чем уйти в революцию, он некоторое время обитал — как и я потом — в ростовских трущобах, среди местных блатных, проституток, налетчиков. И как поэт, он начинал в Сибири, на каторге, в таежных "централах". И он тоже знал минуты отчаяния, слабости, неудач... Но все же устоял и поднялся — преодолел все! И широко и твердо прошагал затем по жизни. И в этом смысле он всегда был для меня эталоном. И на мгновение представив его на своем месте, я подумал: нет, мне все-таки легче. В конце концов, я озабочен только собою; других проблем у меня нет. От меня требуется одно: утвердиться и доказать... Что ж, я докажу! Иначе было бы стыдно.

Незаметно подкрался рассвет. Мутная пелена за окнами расточилась, и небо подернулось желтизною. Я рывком распахнул оконные створки и в лицо мне — в глаза и в ноздри — хлынула свежесть зари. Москва просыпалась; она была тиха еще и повита зыбкими тенями. Позвякивали первые трамваи. Дробно стучали каблуками редкие прохожие. Гасли уличные фонари.

За годы моего отсутствия городской пейзаж заметно изменился; над старыми, островерхими кровлями маячили теперь новые многоэтажные коробки. Кое-где в пустое небо возносились строительные леса, торчали ребристые силуэты кранов. Из моего окна открывалась обширная перспектива. Город был огромен; казалось, он простирается за горизонт — и нет ему края... И это чудовищное скопище зданий почему-то вдруг напомнило мне тайгу. В самом деле, переулки тут вились, как ручьи, улицы выглядели реками, и все они, сливаясь, текли к площадям... Так же, как в бескрайней северной тайге, здесь можно

было легко затеряться, сбиться с пути. И так же, как в тайге, мне предстояло отыскивать здесь нужную тропу — единственную, точно выводящую к цели.

ХОЧУ ВСЕ — САМ!

Немного передохнув и освоившись на новом месте, я начал действовать. И, прежде всего, поспешил навестить двоюродного своего брата — Юрия Трифонова — молодого преуспевающего прозаика. Об успехах Юрия узнал еще в Сибири, в экспедиции, — из московских газет. Нам доставлял их в тайгу почтовый АН, — тот самый, в котором я чуть было не загнулся, не кончился в полете. Однажды мне попалась заметка о том, что писатель Ю.В.Трифонов удостоен государственной премии за роман о студенческой молодежи. И я подумал тогда — со смешанным чувством восхищения и легкой зависти: братишка не теряет времени даром! Он всегда жил правильно. Ему ничто не смогло помешать — ни террор, ни распад семьи, ни гибель наших стариков...

Наши семьи рухнули одновременно, в разгар ежовщины, в 1937 году. Юрин отец, Валентин Евгеньевич Трифонов — мой дядя — был расстрелян, мать сослана в Карагандинские женские лагеря, а дети (Юра и сестра его Таня) все последующие годы жили у бабушки, Татьяны Славатинской — старой подпольщицы, революционерки, которую, как это ни удивительно, террор не затронул, а время щадило долго. В предвоенные годы я (тогда уже проживавший у матери) постоянно общался с ними. Но затем дороги наши разошлись. С началом войны семейство Славатинских эвакуировалось — отбыло в Среднюю Азию — а я оказался в тюрьме.

После этого в судьбе моей было много всякого. Был фронт и последующие сложности, блатная жизнь и новые тюремные кошмары. И голодовки, и цинга, и заполярные этапы. И жесточайшая, затяжная резня, вспыхнувшая среди блатных и охватившая затем все лагеря России; резня, в которой я был вынужден — вопреки желанию — участвовать долгие годы. И было начало вольной моей жизни, также, в общем-то, не

принесшее мне облегчения, исполненное новых горестей и хлопот.

А братишка все это время спокойно учился, постигал премудрости, упорно писал. Не торопясь, шел к заветной цели. И вот, достиг ее наконец!

* * *

Юра был на гребне, в расцвете — это чувствовалось по всему. Он жил в новом, недавно отстроенном "писательском" доме, имел свою машину, "Победу". И успел уже обзавестись семьей; был женат на Ниночке Н. — известной оперной певице.

— Ой, как у вас голоса похожи! — сказала, всплеснув руками, Ниночка, — та же манера говорить... Да и жесты... Но характеры — это заметно — разные. Что ж, мальчишки, выпьем за вашу встречу!

Мы выпили. И потом — еще. И после третьего захода Юра заставил меня рассказать о себе. Рассказ был долгий. И когда он кончился, Юра заметил — задумчиво надув толстые свои губы, вертя в пальцах рюмку:

— Какой сюжет! Какая благодатная тема! Да ведь из этого можно сделать грандиозный роман.

— Ну, уж и грандиозный, — усомнился я, — приключения, блатные авантюры — что в этом серьезного? Развлекательное чтиво... Почти что — сказочка...

— Чудак, — усмехнулся Юра, по-прежнему играя рюмкой (рюмка была граненая, тончайшая, таящая в себе певучий хрустальный звон; впервые за много лет я ужинал среди крахмальных салфеток и хрустала). — Чудак, ей-Богу. Да ведь эти авантюры — твоя жизнь. Реальная, доподлинная — не высосанная из пальца! Такое "чтиво", такие "сказочки" обычно рождаются в кабинетах. Писатели творят их в муках; изощряются, изобретают ходы... А тут ничего не надо изобретать, только рассказывать. Рассказывай правду. Без фокусов, без литературных штук. Куперу и Стивенсону, к примеру, без этих самых штук обойтись было нельзя. У тебя же перед ними великое преимущество. Так пользуйся этим. Эх, мне бы такой материал.

И он со стуком поставил рюмку. Придвинул мою. И

наполнил их обе разом, из пузатого, влажно поблескивающего графинчика.

- Не знаю, - пробормотал я со вздохом, - ох, не знаю...

Мне все время казалось, что он говорит со мною не всерьез - попросту успокаивает меня, тешит... В конце концов, что стоит ему - удачливому, добившемуся всех благ - подбодрить заблудшего кузена? Только потом осознал я его правоту, понял, в чем мое назначение. Только потом, спустя годы. А в ту пору я был еще зелен и глуп - эдакий самолюбивый простак! И я не знал еще прозы, не созрел до нее... И сильно мне мешал этот хрусталь - весь этот блистающий парадный антураж.

- Не знаю, старик. - Я выпил. Крякнул. И утерся ладонью. - Ты, в общем-то, толкуешь о биографии... Но ведь это - еще не литература. Не настоящая литература. О себе каждый может...

- Ну, во-первых, не каждый, - возразил он, - а во-вторых, большая литература, "настоящая", - как ты сказал - она почти всегда создавалась на биографическом материале. Все, в конечном итоге, пишут о себе; о том, что они видели, что твердо знают. Знают по личному опыту! Кто таков, скажем, Печорин? Гарнизонный кавказский офицер - такой же, в принципе, как и сам Лермонтов... Толстой знал салонную жизнь и войну, и об этом писал. Изображать уральских золотоискателей он никогда не стал бы, точно так же, как и Мамин-Сибиряк, бытописатель Урала, - человек простой, провинциальный, бедный - не рискнул бы описывать семейство графов Ростовых. Понимаешь? Вот, то-то. А ты - биография! Это, брат, великая вещь. Она определяет все.

- Но есть ведь и другие примеры, - сказал я.

- Я говорю - о настоящих, - перебил меня Юра. И опорожнив рюмку, хрустнул огурчиком.

- Во всяком случае, - помолчав, сказал я, - обо всем этом пока еще рано думать; я не романист. Я поэт. Поэт, так сказать, чистой воды.

- Ну, правильно, - покивал Юра. - Поэт - а как же иначе?! Ты ведь только начинаешь... Таким путем идут, в принципе, все.

- Начинаю, - натужно выговорил я. - А не поздно ли? Знаешь, как бывает: пришел на вокзал, а поезд-

то уже отбыл... В моем возрасте полагается быть зрелым мастером. Тот же Лермонтов, к примеру, в эти годы уже кончал...

— Ну, а Тютчев, Анненков, Крылов? — прищурился Юра. — Или Уитмен. Или Анакреонт — был такой античный лирик. Все они пришли в литературу не мальчиками, далеко нет! И вообще, суть не в том... Конечно, ты малость запоздал. Но ведь в нашем деле главное, не когда, а — как...

— Если бы точно знать — как? — вздохнул я.

— Вот тут-то как раз и нужна профессиональная среда, — поднял палец Юра, — творческие контакты, общение с мастерами. Потолкаешься среди них — многое поймешь.

И снова потянувшись к графину — возгласил:

— Давай-ка за контакты... И вообще — за твой приезд: это ты, во всяком случае, сделал вовремя.

— Нелегально — учти! — сказал я, — нелегально...

— А-а-а, плевать, — отмахнулся Юра. — Ты только не болтай с посторонними, не трепись.

И поворотившись к Ниночке — добавил:

— Знаешь, он чем-то мне напомнил сейчас наших отцов. Когда-то они вот так же воротились из Сибири — один из ссылки, другой с каторги, — и поначалу жили нелегально, прятались, готовились к перевороту...

— Ну, переворот мне вряд ли удастся, — мрачно усмехнулся я.

Я много выпил, и меня развезло, и может быть, именно потому во мне вдруг ожили, всколыхнулись и выплеснулись наружу все мои сомнения, глухие, тайные мысли... Весь этот вечер я казнил себя — и находил в этом какое-то странное, болезненное, мутное удовлетворение.

— История, как ты знаешь, повторяется или в виде трагедии, или в виде фарса. В данном случае, по-моему, — фарс....

— Но ты хотя бы не воспринимай это трагически, — пошутил Юра. И похлопал меня по плечу. — Вообще поменьше самокопаний. И побольше юмора. Делай свое дело! А я тебе помогу.

И потом — задумчивым жестом поправив очки:

— Послушай, если хочешь — я чиркну записочку

к одному моему приятелю. Он работает в комбинате "Правда", в молодежном журнале. Парень деловой, толковый. И к тому же, мне лично обязан кое-чем...

— Нет, Юрка, — сказал я, — не стоит. — Я твердо это сказал, с некоторым даже вызовом. — Ты сам-то как пробивался — тоже бегал по Москве с записочками?

— Да нет, — засмеялся Юра.

— Ну, вот и я не буду.

— Но я же тут — свой! Я все в Москве знаю... А у тебя совсем другое положение.

— Ничего, — сказал я. — Как-нибудь. Хочу все — сам!

— А что, я его понимаю, — заблестев глазами, сказала Ниночка. — Я и сама бы — на его месте — так же...

— Пожалуй, — помедлив, проговорил Юра. И посмотрел на меня внимательно. — Пожалуй, старик, ты и прав!

* * *

С Юрой мы часто потом встречались и говорили о многом. Но этот наш разговор особенно мне запомнился. Ведь именно тогда, впервые, он натолкнул меня на мысль о биографической серии! Для того, чтобы мысль эта созрела и обрела конкретное воплощение, понадобилось много времени; прошло почти двадцать лет. Но и сейчас (когда я пишу эти строки) я помню с поразительной отчетливостью — как если бы это было вчера — все детали того вечера и общую атмосферу застолья, и Юрины суждения и советы.

Я отказался тогда от его помощи, захотел все — сам... И вот с тех пор начались мои хождения по московским редакциям.

Были эти хождения однообразны и, в общем, безрадостны.

Принимали меня в редакциях равнодушно, с ленцой... Да ведь и то сказать — что я являл собою? Провинциальный, начинающий, никому не ведомый поэт; таких по Москве бродило множество. Редакции кишели молодыми. И как-то выделиться в этом скопище было делом поистине нелегким. Особенно — с мой-

ми стихами, очень личными, сугубо таежными, лишенными гражданских мотивов. Редакторы бегло, вскользь, проглядывали их и тут же совали в стол, в груды пыльных бумаг, и затем советовали "заглянуть эдак дней через десять - пятнадцать". И когда я заглядывал - все повторялось заново, в том же порядке.

Все же я был настойчив - неумоимо обивал редакционные пороги. И так тянулись дни... А вечера я проводил вдвоем с Наташей.

НАТАША

Мы нередко - и допоздна - бродили с ней по городу. Так повелось почти с первых же дней.... Наташа показывала мне старую Москву - запутанные переулки, глухие дворики, обветшалые, расписные особняки и церквушки - и удивлялась: как это я смог так основательно все позабыть? А ведь я, по сути дела, никогда и не знал хорошо Москвы; раннее мое детство прошло в дачном поселке, затем началась война, и стало не до прогулок. Ну, а после мне выпали иные пути... И теперь я, бродя по Москве, испытывал двойную радость. Радость узнавания, новизны - и щемящее, странное, какое-то восторженное, почти религиозное чувство близости к этой девочке. Мне было радостно - до дрожи, до головокружения - ощущать ее рядом, слышать запах ее, прикасаться к ней, как бы невзначай... И глядеть на нее, на этот профиль - с черной челочкой, чуть вздернутым носом и припухшей нижней губой, и ямочкой на щеке, и тугим завитком над ухом.

Как-то раз, утомаясь от долгой ходьбы, мы завернули в крошечный, заросший сиренью, арбатский скверик. Спугнули в зарослях какую-то парочку. И с ходу заняли освободившуюся скамью. Я закурил, Наташа - с коротким вздохом - прижалась ко мне, прильнула плотно... И вот тут состоялся первый наш поцелуй.

- Ты знаешь, а я ведь - не умею, - прошептала она; нет, скореедохнула, раскрыв теплые мягкие податливые свои губы. - Не знаю, как надо целоваться по-настоящему.

И я, обнимая ее, почувствовал, что я тоже — не умею. Не знаю, как надо... Я словно бы сразу разучился, забыл. Забыл, несмотря на весь мой опыт и знание женщин... Но очевидно здесь, сейчас, происходило нечто совсем другое.

— Тебе, наверно, смешно, — продолжала она прерывистым шепотком, — но я еще ни с кем вот так — всерьез...

— Ни с кем? — прищурился я недоверчиво, — почему? Ведь есть же, наверно, знакомые ребята?

— Разумеется, — усмехнулась она. — Ребят полно. Но как-то так все получалось...

— А что ты, кстати, нашла во мне? Лично — во мне?

— Не знаю. Просто — ты не похож на других.

Наташа умолкла, и снова я ощутил теплоту ее дыхания и влажный, скользкий холодок зубов... Внезапно она спросила — быстро глянув на меня из-под пушистых ресниц:

— Послушай-ка. А ты — убивал?

— Да как тебе сказать. — Вопрос удивил меня, озадачил. И я растерялся на миг. — Мне как-то непонятно — зачем это тебе?

— Но все же, — интересно! Скажи, скажи: это случалось?

— Ну, если хочешь, — нехотя кивнул я. — Бывало... Случалось... Я ведь всю жизнь свою, в общем-то, прожил — как на войне. Но я никогда не трогал безоружных, беспомощных. Никогда — запомни! Если уж и случалось, то только с врагами. С настоящими врагами. С теми, кто сами за мной охотились. А таких щадить нельзя — это старая солдатская заповедь. Ну, и вот...

— Ну, и вот тебе объяснение, — сказала она сейчас же. — Ты спрашиваешь: что я нашла в тебе?... Почему?... Потому что ты — такой. И я тебе верю. Хоть папа и говорит...

— А что он говорит? — насторожился я.

— Да пустяки, — стесненно сказала она. — Просто — что ты, мол, человек опасный... Но я же вижу, понимаю. Сколько тебе, наверно, пришлось пережить и выстрадать!

Вернулись мы на сей раз позже обычного. И стоя на лестничной площадке, нашаривая ключ, я прогово-

рил, с тоскою глядя на нее:

— Черт возьми, что за жизнь у нас нелепая! Проводим время на улице, на стороне, а дома каждый сидит взаперти, отдельно... Под замком — как в тюрьме! Слушай, милая, приходи ко мне нынче ночью, Или давай, я сам — к тебе...

— Что ты, что ты, — испуганно затрясла она головой, — как можно!

— Но почему? Если ты меня действительно любишь... Двери-то наши — рядом.

— А про папу ты забыл? Он же ведь не спит.

— Как не спит? Хотя — да... Я тоже как-то заметил. У него что же, манера такая? Он, может, болен?

— Да нет, — сказала Наташа, — это у него недавно началось. С тех пор, как ты появился.

— Значит все — из-за меня?

— Ну, да. Как ты не понимаешь!

— Но чего он боится-то?

— Да вот именно этого... — Ресницы ее дрогнули, на щеки взошел медленный румянец. — Того, о чем ты только что говорил... Папа тоже ведь не дурак! И он теперь специально не спит — следит за нами. Караулит каждую ночь! А днем — отсыпается. Из-за этого он и на службу перестал ходить; взял внеочередной отпуск за свой счет...

Разговор этот велся глухо, на полутонах. Покосившись на дверь, Наташа поморщилась. И потом — просяще, поспешно, ласково:

— Знаешь, — сказала в половину голоса, — мне и сейчас не хочется, чтобы нас видели вместе. Все-таки — поздно! Сделаем так: я войду, а ты покури тут, побудь. И погода — через полчаса... Ладно?

Обстоятельства эти вскоре стали известны и моей матери, и однажды, при встрече, она спросила меня:

— Что у тебя происходит с Наташей?

— Да ничего особенного, — пожал я плечами, — дружим... гуляем...

— Смотри! — Она погрозила пальцем. — Не испорти девочку. Наташка ведь еще маленькая, глупая, еще даже школу не кончила.

— Я вовсе не собираюсь ее портить, — возразил я, смутясь и, одновременно, раздражаясь. — С чего ты это взяла?

И потом — потянувшись за папиросами:

— А кстати, сколько же ей лет?

— Семнадцатый пошел...

— Ну, не такая уж и маленькая, — пробормотал я, закуривая.

— Но все же — еще несовершеннолетняя, учти, — сказала строго мать. — Тут ты можешь нарваться на историю... А тебе только этого не хватает! Почему ты всегда ищешь сложности?

— Ничего я не ишу, — отмахнулся я. — И вообще, кто тебе сказал — Ягудас?

— Да, — кивнула она. — Звонил на днях. Он беспокоится. Боится тебя... А я теперь тоже боюсь — за тебя самого!

— Что это вы все такие напуганные? — сказал я. — Не пойму. В чем, собственно, дело? Ну, есть девочка... Неиспорченная, кстати! И у нас с ней — хорошая дружба. Скорее даже — любовь... Да, да, любовь!

— Любовь под одной крышей, — сказала, поднимая брови, мать.

— А хотя бы. Какая разница? Если все у нас с ней пойдет хорошо, и если я, в дальнейшем, развернусь, устроюсь...

— А как у тебя вообще дела, — перебила она меня. — Есть какие-нибудь новости?

— Да пока никаких, — признался я нехотя, — но с другой стороны, это понятно. Я ведь только еще начинаю: разношу по редакциям стихи, знакомлюсь со средой. В моем деле очень важны творческие контакты, — надеюсь, ты понимаешь? Ну, вот... А на это требуется время.

— Между прочим — о контактах, — сказала она быстро. — Чуть не забыла... Прости! Я недавно разговаривала — знаешь с кем? С Василием Казиным. Есть такой поэт.

— Ну, как же, — Казин! Поэт знаменитый! И если не ошибаюсь, он знал когда-то отца?

— Они вместе начинали, — пояснила мать, — еще в период "Кузницы". И вообще дружили. Ах, тогда веселая была пора! Казин бывал у нас, даже ухаживал за мной...

— Ага! — Я прищурился усмешливо. — Интересно.

— Так вот, он будет рад с тобой повидаться. Уз-

нал, что ты - пишешь, и заинтересовался. Я дала ему телефон и адрес. Но что ты все ухмыляешься?

- Просто так, - сказал я, - без задних мыслей. Но, конечно, подумал кое о чем... Подумал...

- О чем же? - спросила она подозрительно.

- Да хотя бы о том, как несправедливо все устроено. В сущности, каждый ведь - грешит, позволяет себе, что хочет. Но почему-то позволяет именно - себе, а не другим! Другим - нет... Тут сразу же начинаются проповеди.

- Но при чем здесь Казин? - спросила мать растерянно и словно бы смущенно. - Если ты полагаешь...

- Я вовсе не о нем, - сказал я, - и не о тебе... Я - в принципе! Ведь что сейчас творится? Все почему-то восстали против нашей любви и все в ней видят только плохое. А на наши чувства всем, в сущности, плевать! Почему? Может, потому, что каждый судит по себе? Взять хотя бы того же Ягудаса... Он что, по-твоему, святой?

- Да уж нет, - усмехнулась она, - никак. После развода с Наташиной матерью у него было много историй. Доходило даже до скандалов... Я кое-что знаю, все-таки - соседи.

- Ну, вот. А тут он - видишь ли - против!

- Что ж, он отец. И, согласись, имеет резон...

- А-а-а, резон, - запальчиво возразил я. - Какой резон? А впрочем, конечно. У него есть какие-то свои расчеты... Может, он мечтает о другой партии для Наташки... Словом, я его лично не устраиваю, понимаешь - лично!

И затаившись, закутавшись в дым, я погодя, спросил - заглядывая ей в лицо:

- Ну, ладно, он - это дело особое... Но ты-то, ты-то чего боишься - а? Скажи!

- Ах, не знаю, сказала она, отводя и пряча взгляд. - Достаточно того, что Наташа - из этой фамилии, из этой среды... Не связывайся ты с ними, ради Бога! - Она как-то вдруг посерьезнела, погрузилась, завяла. - Во всяком случае, я предвижу неприятности... И если Ягудас против, как ее отец, то я тоже против - и очень! - как твоя мать.

В тот же вечер ко мне в комнату заглянула Наташа. Я обрадовался — и удивился. Этого почти не случалось; за время нашего знакомства (а прошел уже месяц) она была у меня дважды — и то лишь укороткой, второпях...

— Папу вызвали в министерство, — сообщила она, — какое-то у них там совещание, что ли. Он не хотел, отнекивался, но — пришлось... Так что мы теперь вольные птицы!

— А когда он вернется? — задал я классический вопрос.

Я в этот момент как раз работал, отшлифовывал стихотворение (еще теплое, недавно только родившееся и, по-моему, лучшее из всего, что я написал в ту пору.) Стихотворение было суровое и слегка печальное, о прощании с юностью, о возвращении в Москву после долгих странствий... Я сидел, сутулясь, за столом, — взлохмаченный, обложенный рукописями. Наташа, подойдя, сказала.

— Чего нам думать? Когда вернется — тогда вернется... Плевать! — Она скользнула пальцами по моей шевелюре. — Сейчас мы, во всяком случае, одни.

И легко — как-то мягко, по кошачьи — уселась на край стола.

Она была в коротком халатике, без чулок; вся свежая, пахнущая молодостью. Я посмотрел на ее колено — круглое, блестящее, облитое крепким ровным загаром... И отложил карандаш.

— Ты, может, занят? — спросила она. — Я тебе не мешаю?

— Нет, милая, — сказал я поспешно. — Наоборот! И положил на колено ей руку. Вернее — не на колено, а выше... В том месте, где рука теперь лежала, как раз кончалась область загара, а дальше открывалась чистейшая, незапятнанная, прохладная белизна...

Она завозилась, устраиваясь поудобнее. Отодвинула бумаги. И оттуда, из-под них, выглянула вдруг ребристая рукоятка ножа.

— Ого! — сказала она. И медленно, опасливо вытянула широкий, чуть изогнутый, финский нож. — Оружие!

- Да какое оружие, - поморщился я. - Так, финячок, игрушка... Старая память...

- Откуда это у тебя?

- С севера.

Я осторожно отобрал у Наташи ножик (кривое лезвие его коротко вспыхнуло синеватым холодным огнем) и небрежно бросил в ящик стола.

- Но для чего ты его держишь здесь? - спросила она.

- Просто так, - сказал я. - Карандаши точить...

- А ты пишешь только карандашами?

- Да. Как видишь.

- А почему не пером - как все прочие?

- Ну что ты заладила: зачем, да почему? - сказал я, поднимаясь и привлекая ее к себе, и снова - от запаха ее кожи, от ее тепла, - как бы хмелея, чувствуя знакомое головокружение. - Прямо, как в деревенском клубе - вечер вопросов и ответов... Поговорим о чем-нибудь другом! И... Давай-ка пересядем.

Я оглянулся на диван.

- Здесь же - неудобно... Пойдем туда!

- Нет, нет. - Она опустила голову, затрясла подбородком. - Не надо. Лучше - здесь.

- Но почему? Почему?

- Ну, вот, ты тоже - заладил, - сказала Наташа, передразнивая меня. - Как в деревенском клубе... - Она подняла смеющееся, смущенное, густо зардевшееся лицо. - Поговорим-ка о другом...

- Все же я не понимаю, - пробормотал я досадливо. И осекся. Вспомнил: "Смотри, не испорть девочку!" И сказал - пересохшими губами: - Впрочем, ладно, как хочешь... Раз ты такая пугливая... Давай, черт возьми - о другом! Так даже лучше.

- Вовсе я не пугливая, - сейчас же сказала Наташа.

Во все время этого разговора, она сидела на краешке стола; теперь слезла. Оправила халатик. Перебросила через плечо косу. И затем - искоса, исподлобья - глядя на меня:

- Ты, что ли, обиделся?

- Да нет, не то чтобы... - замялся я, - так, вообще...

- Обиделся, - низким медленным голосом прогово-

рила Наташа. — Я же вижу! .

И отступя к дивану — уселась там. Подобрала ноги. Вздохнула коротко.

— Я не боюсь... Но — зачем спешить? Все ведь у нас впереди, правда?

— Что ж, правда, — проговорил я, задыхаясь. — Конечно... Спешить зачем?

И тяжело ступая, пошел на нее.

Я что-то еще говорил, лопотал невнятно, но уже не соображал — что, и не слышал себя, оглушаемый тугими, неровными толчками сердца. И я не видел уже ничего — только цветастый, распахнутый на груди, Наташин халатик. И круглые, медоватого цвета, ее колени — обнаженные, сжатые, ждущие...

И в тот момент, когда я приблизился к ним, склонился над ними, — откуда-то издалека, снаружи, с лестничной площадки, донесся гул и железный дребезг. Наташа встрепелась, напряглась.

Спустя секунду там — на площадке — резко щелкнула дверца лифта, затопали шаги.

— Папа! — воскликнула она шепотом. — Пусти! — И оттолкнув меня, вскочила стремительно; ее словно сдуло ветром... И — все! Я остался один.

* * *

Я начал эту главу, желая как бы воскресить мою первую, настоящую любовь, — невольно стремясь докричаться до нее, вернуть ее, позвать обратно... И вот — дозволялся. Вернул.

А теперь, признаться, как-то даже и сам не рад.

Воскресли, ожили, не одни лишь лирические, радостные картины, нет — вместе с ними вернулась и боль, и печаль...

Мы часто забываем о том, как сильна и трагична власть воспоминаний! Прошное, — даже преобразованное, измененное временем, — все равно ведь неподвластно нам. Иногда наша память, воскреснув, напоминает джина, выпущенного из бутылки; джина, который только и умеет, что отворять призрачные дворцы, или разрушать все до самого основания.

ВИЗИТ

Поэт Василий Казин появился у меня спустя неделю. Это был маленький, плотный, весьма энергичный и подвижный — несмотря на возраст — человек.

Держался он вольно, по-простецки, говорил с добродушным юморком.

— Эге, вот ты стал какой! — заметил он, снимая пальто. — А ведь я тебя помню совсем пустяковым...

И он раздвинул пальцы и показал:

— Эдаким вот — с вершок.

— Я пригласил долгожданного гостя к столу. К приходу его мы с матерью приготовились загодя; она прибралась в комнате, принесла необходимую посуду, а я — на последние сибирские свои сбережения — купил вина и водки. Мы уселись — и я потянулся к бутылке. Казин сейчас же сказал, подняв предупредительным жестом ладонь:

— Нет, нет! — Широкое крестьянское лицо его сморщилось лукаво. — Нельзя, не потребляю. Я голубчик, свою норму давно уже выполнил... Выпил свою цистерну... Вот чайку — это да! С превеликим моим удовольствием.

И приняв в руки горячий, повитый паром, стакан, — вздохнул:

— Не пью — жаль. А когда-то... С друзьями, с твоим отцом — хо-го! Хотя он-то, правда, особым пристрастием не отличался, слишком уж был, я бы сказал, суров. Баловался довольно редко... Но вот зато с Сережей Есениным, с Пашей Васильевым, с теми — да! И как еще! Эх, да что. Было время, было, — попили, пошумели.

Я, очевидно, напомнил ему молодость, он как-то вдруг размяк и увлекся... И долго — с умилением, с влажным отблеском глаз, — вспоминал минувшие годы и старых товарищей, шумные сборища, пирушки, споры.

Затем он попросил меня показать стихи.

Я несмело вручил ему пачку рукописных листов. И он — расчистив место на столе — склонился над ними. И какое-то время листал страницы, иногда над чем-то задумывался, — возвращался к прочитанному — и что-то подчеркивал, отмечал. И задумывался сно-

ва.

Я сидел, притихнув и почти не дыша. В этот самый момент — я сознавал это, чувствовал — решалась моя поэтическая судьба; шел как бы первый профессиональный экзамен. Ах, как я хотел его выдержать! И как я боялся — глядя на склоненное это лицо, вдруг ставшее отчужденным и властным — боялся увидеть там выражение скуки и разочарования, тень неловкого замешательства, небрежную, скептическую складку у губ!

Но нет — все, вроде бы, обошлось... Он, погодя, сказал мне, улыбаясь:

— Неплохо, да... В общем — неплохо! Есть, конечно, срывы, промахи, болтовня; я это все отметил. Там, где ниже уровня — прочерк. Но есть также, и добротные вещи, удавшиеся. Написанные образно, точно. Главное — точно! Вот, гляди.

Он захрустел страницами. Ударил по бумаге ногтями:

— Гляди, — сказал, — тут! И еще — тут. И это... Видишь, стоят крестики? Значит, годится. Давай так договоримся: все, что — с крестиками, ты перепишешь аккуратненько и принесешь мне. Думаю, кое-что удастся пристроить...

— Что ж, — проговорил я вздрогнувшим от счастья голосом, — спасибо.

— Ах, ну да что — спасибо! — ворчливо отмахнулся Казин, — при чем здесь — спасибо? Я, голубчик, делаю все это не из вежливости, не "за спасибо" — отнюдь! В искусстве нет скидок на личные отношения. Вообще — ни на что... Было бы плохо — уж поверь: при всей моей доброте... Хотя ты и сын давнего друга... Нет, ты, безусловно, поэт! И в этом — вся суть.

— А что вам больше всего понравилось? — поинтересовался я тогда, — больше всего?

— Н-ну, что? — поджал губы Казин. — Ну вот, хотя бы... — Он заглянул в рукопись. — Стихи о возвращении. Тут есть неплохие строчки. Например: "Я с юностью бездомною прощаюсь. Я к суете столичной приобщаюсь. Я возвращаюсь! Словно конь стучу подковами; я странен москвичу. Кручу табак. Не замечаю луж. Сутуловат, размахист, неуклюж".

И потом — подняв ко мне лицо:

- А ну-ка, прочти дальше сам, - предложил он. - Хочу послушать, как это звучит.

Он облокотился о стол, подпер пальцем висок. И я начал читать, вернее - подхватил, продолжил:

Медведица над позднею Москвой,
возвышенного таинства полна.
Ах, сколько раз, казалась мне она
в горах Алдана - ложкой суповой!
Слетает на ладонь апрельский снег.
Снег, теплый снег.
Реклам холодный свет.
Шумит столица. Кружится столица.
Так просто в этом сонме заблудиться...

Внезапно в дверь постучали. Наташа! - решил я, осекшись на полуслове. Только она одна и могла явиться ко мне в столь поздний час. И невольно губы мои расползлись в улыбке, расплылись...

* * *

Дверь распахнулась резко. И на пороге возникли две фигуры в синих форменных милицейских шинелях.

Гремя сапогами, милиционеры вошли в комнату. Один остался возле дверей, другой - постарше, в чине капитана - приблизился к нам и, козырнув, потребовал документы.

"Ну, вот и все, - дрогнул я. - Все кончено. - И поник тоскливо. - Добрались-таки, выследили... О, проклятая моя участь! Ну почему это должно было случиться именно - сегодня?!"

Медленно, хмуро, достал я и подал милиционеру мягкое свое, замусоленное удостоверение. У меня в ту пору, был не настоящий паспорт, а временный (и, к тому же, просроченный), так называемый - "вид на жительство" - в сущности, простая, сложенная вдвое картонка... Капитан повертел картонку в руках, осмотрел с вниманием. И спрятал в карман шинели.

- Живете, стало быть, без московской прописки, - заключил он, - нелегально. Да и вообще, документ - с изъяном.

Рослый, подтянутый, — в портупее, в густых усах — он был внушительен; эдакий слугитель долга, воплощение силы, идол режима! Потолковав со мной, он глянул на Казина... И сейчас же тот заторопился, привстал, нервно шаря в карманах.

— У меня с собой только членский билет Союза, — сказал он, — я, видите ли, писатель...

— Ладно. — Капитан небрежно щелкнул пальцами. — Давайте свой билет.

— Но в чем все-таки дело? — спросил фальцетом Казин, — я что-то не пойму...

— А вам понимать и не обязательно, — отозвался капитан. Глаза его сузились, угол рта пополз вбок. — Главное, чтобы мы понимали. Вот так. А мы зря не приходим!

И при этих его словах Казин сразу потускнел, осунулся. Лицо его посерело, подернулось пылью; на нем как бы проступила печать времени, печать многих прожитых лет...

Старый пролетарский поэт, он испытал на своем веку немало! Он видел, как утверждалась эта власть, как крепла система и зрел и ширился террор. Явственно видел, какие масштабы обрело все это с течением времени. Видел, как воцарялся страх на земле, как исчезали люди, пустели дома... Поразительное дело, — под волну сталинского террора в первую очередь попали пролетарские писатели, именно те, кто славил революцию и воспевал новую жизнь! Многолюдное, мощное объединение "Кузница" — то самое, в котором Казин состоял когда-то вместе с моим отцом — в тридцатые годы подверглось жесточайшей чистке и было истреблено почти полностью. Уцелело два-три человека, не больше. Василия Казина судьба уберегла, помиловала, он спасся каким-то чудом — но, конечно, остался травмированным навсегда. И то, что произошло сейчас, у меня на дому, мгновенно и жутко напомнило ему былое...

Хотя почему, собственно, — былое? Речь-то ведь идет здесь о начале пятидесятых годов; Сталин еще жил тогда (ему оставалось до смерти всего лишь несколько месяцев — но мы ведь не знали об этом!) Сталин жил еще, и дух эпохи был, по сути, прежним...

— Писатель, значит, — проговорил капитан, лис-

тая удостоверение Казина - небольшую, красную, тисненной кожи книжечку. - Так... Ну, а здесь. - Он кивнул в мою сторону. - У вас - что? Какие дела?

- Да в общем, никаких, - растерянно забормотал старик. - Зашел в гости - и все... Какие тут могут быть дела?

И глядя на него, я понял: теперь у нас и действительно дел уже не будет никаких. Он напуган. Он больше не поможет мне ничем.

Капитан вернул ему билет. Поднес руку к козырьку. Щелкнул каблуками. И круто поворотившись ко мне, сказал:

- Ну, а вам придется пройти со мной.

- Вы что же хотите, - спросил я, - арестовать меня, что ли?

- Там видно будет, - пожал плечами капитан, - разберемся. Проверим.

Он осмотрелся - окинул цепким, щупающим взглядом комнату.

- Кстати и здесь - в помещении - тоже надо проверить кое-что...

- А ордер на обыск у вас имеется? - быстро спросил я.

- Ишь, каков! - усмехнулся капитан. И подмигнул своему напарнику. - Разбирается в законах; стрелянный волк...

И затем добавил - как бы играючись, шутя:

- Формального обыска мы делать вовсе и не собираемся - успокойся. Просто, хотим посмотреть... Вот, например, - интересно: что у тебя в столе?

- А что там может быть? - Я развел руками. - Не знаю... Да Господи, смотрите, пожалуйста!

И тут же я вспомнил, сообразил: в столе лежит мой нож. И меня всего словно бы обдало холодом.

Я сказал - осторожно, вкрадчиво, с запинкой:

- Пожалуйста - о чем разговор! Но... Что вас, все же, интересует?

- Многое интересует, - веско произнес капитан. - Многое. Но если конкретно - некоторые острорежущие предметы...

Напарник его (толстогубый, веснушчатый, с сержантскими лычками на погонах) уже стоял, пригнувшись, возле стола; гремел ящиками, рылся в них, шуршал.

"Вот, сейчас, сейчас! - Я напряженно, с волнением следил за каждым его движением. - Сейчас он распрямится, вынет руку - и там блеснет финяк, тот самый "острорежущий предмет"...

Я волновался не зря, не случайно. Дело в том, что финские ножи считаются - на основании уголовного кодекса - запрещенным "холодным оружием". Оружием, подлежащим официальной регистрации, наравне с огнестрельным. Тайное хранение его преследуется законом; за это обычно дают по суду до двух лет тюремного срока.

Мысль эта зигзагом прошла у меня в голове и тотчас же - заслоняя ее - всплыла из глубины другая:

"Но, черт возьми, как же они узнали? Кто им мог сообщить об этом - кто? Кто?"

И явилась третья, горестная и трезвая мысль: "Кто же еще мог, кроме Наташи? О ноже, - о том, где он хранится, - знала ведь только она. Только она одна!"

Сержант, наконец, распрямился - извлек из ящика руку... Рука его была пуста.

Пуста! Это было непостижимо. Я посмотрел на раскрытую его ладонь, на корявые пальцы с темными панцирными ногтями - и словно бы облачко прошло по моему сознанию. На мгновение мне почудилось, что все это бред, галлюцинация. Нож есть, конечно, - он лежит в ладони! - но только я его почему-то не вижу...

В следующую секунду - той же самой рукой - сержант поскреб в затылке. Перекатил глаза в сторону начальника. И между ними произошел стремительный беззвучный диалог. Они изъяснялись глазами и знаками.

"Нет?" - спросил капитан, изгибая бровь. "Нет", - ответил сержант, помотав головой. "А ты - уверен?" - прищурился капитан. - "Ты хорошо искал?" - "Так точно," - заявил сержант, упрямо подняв подбородок, выпятив грудь. - "Ошибки быть не может!" - "Ну, ладно", - кивнул капитан. И посвистал, топча усы, вытянув губы. И задумчиво сдвинул фуражку на лоб. - "Жалко, конечно... Но что ж поделаешь!" - Решительным жестом оправил он ремни портупеи, скрипнул револьверной кабурой. - "Ничего,

обойдемся и без этого!"

Он подступил ко мне вплотную и твердо взял меня за рукав.

- Теперь - пойдем, - сказал он, - прошу... И давай сразу договоримся: без фокусов! Я шуток не люблю!

Тон его был жесток, суров. Но лицо выражало недоумение; исчезновение ножа озадачило его, сбilo с толку. Впрочем - так же, как и меня самого!

Меня, пожалуй, даже еще сильнее...

Мы вышли вместе с Казиньм. На улице старик сразу отстал, свернул куда-то. И последнее, что я увидел - была исчезающая, тающая во мраке, согбенная его спина.

ДОПРОС

- Ну, так что, - сказал капитан, - как будем говорить? Начистоту, по душам, или - как? Может, хватит кривляться? Куда ты все-таки перепрыгнул нож?

- Я кривляться вовсе и не собираюсь, - возразил я гневно. - У меня все - чисто... Но ведь с вами нормально говорить невозможно, нельзя!

- Это почему же - невозможно? - спросил, посмеиваясь, капитан.

- Да потому что, вы все тут - как бараны...

Разговор этот происходил в шестнадцатом отделении милиции, в кабинете начальника опергруппы, Олега Михайловича Прудкова (так, уже по приходе в отделение, отрекомендовался мне капитан). Он помещался теперь за столом, в полумраке, а я - напротив, поодаль, на табуретке.

Я сидел там и корчился, облитый резким, слепящим светом лампы, направленной мне в лицо.

Картина эта была мне знакомая, давно уже надоевшая, опостылевшая до тошноты. Когда-то в молодости я сживал так во многих местах - на Кавказе, на Дону, на Украине... В последний раз это было пять лет назад, в Конотопе, - захолустном украинском городке, - откуда как раз и начался долгий мой северный путь арестантских мытарств и после-

дующих превращений; превращений, закончившихся нынешним приездом в столицу. И никак не думал я, не гадал, что все может повториться, вернуться снова... Однако — вернулось! Повторилось в точности, во всех деталях. И сознавать это было горше всего.

Горше всего! — ибо сам-то ведь я уже был не прежний...

Раньше я, в подобных обстоятельствах, никогда не терялся, твердо знал, что делать, и уверенно вел свою игру. Игра эта заключалась всегда в том, чтобы перехитрить, обмануть противника — того, кто сидит по другую сторону стола.

Для этого — в российской уголовной практике — имеется немало способов. Наиболее испытанный, надежный здесь — прием сугубо игровой, балаганный, скоморошеский. Но прежде, чем продолжить сюжет, может быть, есть смысл остановиться на минуту, и потолковать именно об этом? "Скоморошество" — явление истинно русское, национальное, коренное. И оттого, я думаю, познакомиться с ним будет вам интересно... Существует мнение, будто слово "скоморох" произошло от греческого "скомрах", что означает: "смехотворец". Что ж, пожалуй. Не надо только путать причину со следствием. Литературное определение, возможно, и впрямь пришло из Византии. Но нас сейчас интересует суть вопроса. А суть заключается в самой природе смеха, — которому (так же, впрочем, как и слезам) учить народ не было необходимости... Скоморошество — вообще говоря — типичное порождение средневековья. Нечто подобное легко обнаруживается в Германии (шпильманы) или, например, во Франции (труверы). Российский вариант, естественно, имеет свою специфику. Заключается она — прежде всего — в том, что России, в ту далекую пору, приходилось преодолевать многие чужеродные влияния. Монгольское иго длилось долго и оставило заметные следы! И вот, пытаюсь их преодолеть, народное самосознание выработало особую категорию смеха. Смеха иронического, многопланового, лукавого — такого, где автор, якобы, развенчивает все. Глумится над самим собой, и, одновременно, — над властями. И не щадит также и окружающей публики, критикует местные традиции и нравы... Причем подается эта критика не в форме прямого осмеяния, а

именно - лукаво, по-скоморошески. В сущности, это - некая форма фольклорного шутовства.. Скоморохи и являлись как раз странствующими шутами, балаган-ными лицедеями - полунищими, бездомными, вечно ко-чующими по проселкам и ярмаркам Руси.

И в этом смысле они были очень близки к другому деклассированному слою: я имею в виду бродячих мелких торговцев, корабейников, иначе именуемых "офенями".

Скоморохи и офени - родственники, кузены. Сбли-жает их кочевая сущность ремесла, образ жизни... И есть еще одна любопытная деталь, роднящая их. Дело в том, что и те и другие сыграли в свое время весьма заметную роль в формировании психологии российского преступного мира.

Офени дали блатным основы тайного своего языка, "офенского жаргона", выработанного нелегальной практикой - это ведь были первые в русской истории создатели "черного рынка": беспошлинные торговцы, перекупщики краденного... И современный воровской жаргон потому-то и называется "феней" - от старого корня!

Скоморохи же - научили блатных ироническому притворству, лукавому лицедейству.

Наиболее отчетливо лицедейство это проявляется при столкновении с властями - в тех самых ситуаци-ях, когда собеседники находятся по разную сторону стола...

Наука блатного скоморошества основана - так же, как и в средние века, - на простом расчете: "пле-тью обуха не перешибешь". С полицейской силой (а сила эта мощна!) лучше всего бороться хитростью. Поэтому на допросах нельзя - по правилам игры - выглядеть героем; нет, наоборот! Ты должен быть ничтожным, смешным, исполненным угодливой суетли-вости... Если тебя спрашивают о чем-то - говори как можно больше (только - не правду!), называя любые имена (разумеется, за исключением истин-ных!), если же тебя начинают бить - падай, не до-жидаясь второго удара. Вопи, закатывай глаза, раз-мазывай по полу сопли и слезы, имитируй истерику и обморок, словом - играй!

Я знал эту науку неплохо; в былые годы она не раз меня выручала. Но сейчас я уже не мог, не в

силах был вести старую игру. Я устал. Мне все надоело. Да к тому же и оснований для такой комедии теперь не было никаких...

- Вы - как бараны, - сказал я, - уперлись лбом в одно... И никак вас не своротишь... Где нож, да где нож? А откуда я знаю - где? Не знаю! Не имею ни малейшего понятия!

- Но все же, он - был? - стремительно спросил, подаваясь ко мне, Прудков, - хранился? В ящике стола - ведь так?

- А какое это имеет значение? - проговорил я, ссутулясь, стиснув руки в коленях. - Его же ведь нету! И вообще, почему вы на этом так настаиваете? Откуда у вас, черт побери, уверенность, что он действительно - был, что все это - точно?

- Ну, как же, - отозвался Прудков, - как же! - И шевельнувшись в полумраке, поднял руку - потрогал усы. - Поступили сигналы... От человека, близко тебя знающего.

- Так вы, значит, вербуете школьников, - горько усмехнулся я, - детей.

- Почему детей? - удивился Прудков. Он искренне удивился; я уловил это сразу. - Каких детей?

- Ну, вообще... А разве это - не в ваших правилах?

- Что ж, иногда бывает, - рассеянно пробормотал он, пригибаясь и шурша бумагами, - бывает... Почему бы и нет? Устами младенцев - как известно - зачастую глаголет истина... Но в данном случае у нас имеются другие, более веские показания.

Он с шумом захлопнул какую-то папку, отодвинул ее, откинулся в кресле.

- Более веские! Показания человека проверенного, партийного.

- Ага, ну, теперь понятно, - сказал я, - речь идет, стало быть, о моем друге Ягудасе!

- А вот это уже неважно, - заявил капитан. - Кто бы он ни был, главное то, что он - достоин доверия... И знает о тебе все. Решительно все.

- Но все же донос его ложен, фальшив, - воскликнул я. - Да, да! Вы сами видите! И я вообще не пойму, чего вы хотите, чего ищите? Ведь если мой арест связан только с этим...

- Ну, не только - с этим, - густо проговорил

Прудков, - не только. Если бы дело заключалось в одном этом ноже, - мы бы уж как-нибудь добились ордера на обыск! Но это, так сказать, дополнительный штришок. Хотя, конечно, штришок существенный. Он мог бы хорошо дополнить общую картину... Но, в сущности, картина и без того уже имеется - и весьма впечатляющая! Достойная кисти Репина.

- И что же там - на этой картине?

- Много, сказал он, - много чего. Ну, прежде всего, сама биография... Ты ведь по линии матери - кто? Белогвардеец! Внук казачьего генерала Денисова, который находится сейчас в эмиграции... В самом гнезде...

- Это уж не моя вина, - возразил я.

- Не перебивай! - Он резко - кулаком - ударил по столу. - Что это еще за манера? Ты, я вижу, распоясался. Споришь, дерзишь... Наверное, забыл, где находишься? Ну, так здесь тебя приведут в чувство, будь уверен! И пока я еще добрый - цени это.

- Ценю, - сказал я. - Но все же я хотел бы задать один вопрос...

- Вопросы задаю здесь я! - тихо, проникновенно, сказал капитан. - Твое дело - отвечать, когда спрашивают. И отвечать толково, ясно? Вот так. Надеюсь, понятно? Тогда продолжим. Итак - биография...

Он оперся о стол локтями, сложил кисти рук и начал перечислять - поочередно загибая пальцы.

- Белогвардейская родня - раз. Уголовное прошлое - два. Мы запросили Центральный тюремный архив и знаем теперь всю подноготную... Ты ведь кто? Майданник, поездной грабитель. И к тому же, рецидивист. Неоднократно судимый - это три... Вот, таков общий фон! Ну и на этом фоне - твое последнее деяние. Вместо того, чтобы после лагеря прибыть, как положено, на место поселения, ты что сделал? Скрылся, бежал. И затем появился в Москве - в режимном городе - нелегально, без прописки. Таким образом, ты нарушил сразу два пункта в существующем законодательстве. Сразу два!

Прудков помолчал с минуту - посапывая и раздувая усы - и потом раздельно, медленно:

- Ты спрашивал, чего мы, дескать, хотим? Так вот, мы хотим точно знать: зачем ты сюда приехал?

С какой именно целью? Кого из старой своей кодлы успел разыскать? Какие гастроли здесь намечаешь?

— Я вам с самого начала уже объяснил, — устало проговорил я, — объяснил все: с какой целью и зачем... Но вы же не верите. То вам нож подавай, то еще что-нибудь...

— Мы хотим знать правду, — грозно возвысил голос Прудков. — Правду! Только ее! Во всех деталях! Вот так. А эти фокусы, разговорчики о поэзии — это все ты побереги для других дураков.

— А для таких, как вы, что же конкретно, нужно?

— Ну, знаешь, ты мне надоел, — сказал капитан. И поднялся, громыхнув креслом. И я невольно сжался, притих, ожидая расправы, уже сожалея, что — обнаглел, переборщил, забыл науку...

— Ты у нас все равно — заговоришь! — Капитан потянулся к звонку. — Все равно! — И сильно, зло, надавил пальцем кнопку. — Росколешься, как грецкий орех... Поэт! Таких поэтов мы видали.

И когда за моей спиной растворилась дверь и четко грохнули каблуки конвоя, — он коротко приказал:

— В камеру!

БОГ ЛЮБИТ ТРОИЦУ

Мне не хотелось возвращаться к проклятому прошлому, вспоминать старые навыки, но — что ж поделаешь? — пришлось.

Как только я переступил порог камеры, меня окружила знакомая атмосфера, ударила в ноздри тяжелая вонь параши. Глазам моим предстали фигуры, ютящиеся на нарах (камера была большая), и я увидел, что здесь — как и всюду — они делятся по мастям; у входа располагаются фрайера, а под окошком — урки. И я сразу пошел туда, к блатным! Пошел, не раздумывая, подчиняясь инстинкту — неспешно, вразвалочку, по-хозяйски оглядывая камеру и выбирая лучшее место. Я держался теперь так, как и подобает истинному босяку, блатному аристократу, для которого воля — случай, а "тюрьма — это дом родной".

Да ведь, если вдуматься, так оно и было. Я про-

жил на воле мало до смешного мало. И ничего — из того, что начал и задумал — не осуществил, не сделал, не довел до конца... Я ничего не добился! Судьба все время вела меня по каким-то своим спиральным маршрутам, по кругам, в эпицентре которых маячил этот самый дом, "казенный дом с решеточками ржавыми". Только он один! И уходя от него, я, в сущности, — не уходил никуда. Все время кружил на одном месте. Был как бы прикован к нему постоянно; нас связывали слишком прочные узы... Неразрывные и незримые, они являлись единственной реальностью, а все остальное было самообманом, блефом, миражем.

Вот с такими, примерно, мыслями, обосновался я в камере, заняв уютное местечко под окошком, среди блатных. Их тут было четверо — все здешние, московские, "домашние"... Я представился, как ростовский гастролер, недавно только освободившийся и случайно заехавший, "залетевший" из Сибири. И "подзасекшийся" на пустяке. Мы разговорились. И очень быстро нашлись у нас общие знакомые. Имена Соломы, Девки, Левки-Жида здесь, оказывается, были хорошо известны. Слышали урки также и о событиях на пятьсот третьей стройке (о провале восстания и о массовых расстрелах), и когда я заявил, что освободился как раз оттуда, — а до того был на Колыме — они посмотрели на меня с уважением.

— Эх, жалко, — воскликнул один из них, шепелявый, щуплый, по кличке Пупок. — Жалко, тебя здесь раньше не было! Тут у нас сидел один, тоже — оттуда, с пятьсот третьей... Его прямо перед тобой увели... Ну, прямо — вчера утречком.

— Жалко? — повторил я с едкой, медленной, длинной улыбкой. — Вот как! Это ты, что же, голубок, хотел бы, чтоб меня не сегодня повязали, а — вчера? Или еще раньше? Или, может, — вовсе не выпускали бы, а?

— Да нет, ну что ты, — заерзал, сконфузившись, Пупок, — я не к тому...

Получилось как-то неловко, нехорошо — и друзья теперь взирали на него с осуждением. И видя это, он спешил оправдаться, торопился, нервничал, сыпал словами.

— Ты не понял. Я это — так, вообще... Ну, просто, был человек. Может, ты знаешь, может, тоже —

твой корешок?

— А — кто? — поинтересовался я небрежно.

Он назвал совершенно незнакомое мне имя. И я подумал тотчас же: "Хорошо все-таки, что мы с этим типом не встретились! Возможно, он видел меня, возможно, слышал — и знает, что я уже не блатной, что я завязал, выбыл из закона... Мы бы разговорились, и ... Нет, такие встречи сейчас — не с руки!"

И неторопливо разминая папироску, я сказал:

— Такого не знаю. Даже и не слыхивал... Но, ребята, хочу вас, на всякий случай, предупредить. На пятьсот третьей стройке — так же, впрочем, как и на Кольме, и в других полярных лагерях, — было много ссученных. Там у нас шла с ними настоящая война. И она продолжается. И вы не забывайте об этом. Помните каждую минуту — если вы, конечно, чистопородные... Сучья война продолжается! И вот почему к северянам надо относиться вообще осторожно, с оглядкой. Всех на веру принимать нельзя. Никак нельзя!

Я прикурил от огня, поднесенного Пупком. И строго посмотрел на ребят. И по их глазам, по выражению их лиц, понял мгновенно и безошибочно: они уже смирные, ручные. И эта камера — моя!

* * *

На следующий день — перед отбоем — загремел дверной замок. И надзиратель, заглянув в камеру, позвал меня:

— На выход!

Я сказал со вздохом, натягивая пиджак:

— На вопрос. Ясное дело! Нынче они мне — я чувствую — устроят веселую жизнь.

— Держись, старик, — мигнул мне Пупок, — ничего... Какнибудь... Где наша не пропадала!?

И кто-то добавил — сочувственно и шутливо:

— Ни пуха тебе, ни хера!

Я понимал, идя к Прудкову: предварительное знакомство наше окончено, и вежливые разговоры — тоже. И теперь капитан начнет выбивать из меня, выколачивать ту самую "правду", которую он ищет. А

так как я не смогу ее дать, — он прибегнет к испытанным приемам. И так как я все-таки не дам ему искомого — он употребит все свое умение... И что от меня, в результате, останется? Действительно — ни пуха, ни хера.

Но я, тем не менее, знал уже, как себя вести и что мне делать. Я ведь снова стал прежним. Я снова стал прежним!

И войдя в полутемный, сумрачный кабинет следователя, я с ходу — с порога — начал ерничать, кривляться; мне нужно было задать тон, создать подходящую атмосферу.

— Бонжур, гражданин начальничек, — объявил я, — как спалось? Мне, например — плохо. Я же понимаю, зачем вы меня вызываете. Но предупреждаю сразу — бейте не сильно! У меня от битья выпадает кишка... Я только ласку принимаю, только ласку! Мне ее с детства не хватало. Моя несчастная, бедная, глупая мать...

И тут я увидел мою мать.

Она сидела сбоку от стола — у стенки — в каком-то тигровом плаще, с огромной лакированной сумкой на коленях. Рядом с ней помещался незнакомый мне военный, в полковничьих погонах. Оба они поворотились теперь ко мне. И во взгляде матери я уловил изумление.

Капитан Прудков — он стоял в глубине комнаты, покуривая и теребя усы, — сказал, прерывая мою тираду:

— Бонжур, бонжур! Настроение, я вижу, переменялось. Что ж, это неплохо. Тем более, что и обстоятельства тоже несколько меняются...

Мать поднялась медленно — шагнула мне навстречу. Лицо ее задрожало, губы поджались, кривясь. Сейчас же полковник, вскочив со стула, проговорил — учтиво тронув ее за локоть:

— Успокойтесь, прошу вас! Все ведь уже улажено. Остались небольшие формальности — они не займут много времени. Я сам за всем прослежу. Можете так и передать Никульшину.

Затем он подошел к Прудкову — о чем-то быстро, коротко потолковал с ним. И удалился, поскрипывая сапогами.

— Ну, здравствуй, непутевый, — сказала мне мать

- Здравствуй, - сказал я. - Вот не ожидал!

- Ты какой-то странный сегодня. - Она внимательно оглядела меня, - что с тобой?

- Тут поневоле будешь странным, - проворчал я, пожимая плечами. - Еще бы! Схватили, кинули в камеру. Мотают новый срок...

- Больше уже - не мотают, - сказала мать. И всхлипнула, уронив на плечи мне руки. - С этим кончено... С этим кончено... Ты - свободен.

- Свободен?

- Да, да!

- Так чего же ты плачешь?

Я сказал это хрипло, с перехваченным горлом. И почувствовал вдруг, что у меня самого как-то странно зашипало в глазах... Ах, никакой я был не прежний! Разве так бы я реагировал в былые годы? Что-то явственно изменилось во мне за последнее время, изменилось необратимо. Потеплело, отмякло, оттаяло... А может, я просто - ослаб?

- Ты думаешь, это все было - легко? - сказала мать, улыбаясь сквозь слезы. - Сколько пришлось волноваться, звонить!..

В этот момент Прудков сказал - деликатно кашлянув за нашими спинами:

- Разрешите...

И потом, когда я обернулся:

- Значит, так. Дело ваше приостановлено. (Теперь он говорил со мной - на "вы"). - Вы свободны... Но! - Он поднял палец. - Есть одно "но". По решению выездной сессии железнодорожного трибунала в Конотопе, в 1947 году, вы были приговорены к шести годам лишения свободы с последующей трехлетней ссылкой... Так вот, теперь вам надлежит немедленно выехать отсюда и возвратиться к месту поселения, в Абакан, в Хакасскую автономную область. У нас имеется специальное указание прокуратуры... Дело ваше приостановлено - но полностью не закрыто. Имейте это в виду! При повторном нарушении ему будет дан законный ход. И тогда уже вас не спасут никакие протекции и связи. Сейчас вам предоставлен как бы последний шанс - так постарайтесь им правильно воспользоваться... Вот так. Надеюсь, все понятно?

- Понятно, - сказал я, - чего уж там...

- Подойдите-ка.

Я подошел - и он вручил мне какую-то бумагу. Это был печатный бланк, на котором значилось: "Я, нижеподписавшийся, (такой-то) обязуюсь покинуть пределы города Москва в течении двадцати четырех часов".

- Ознакомьтесь с текстом, - сказал Прудков, - и распишитесь. И учтите: этот документ обретает силу и вступает в действие с того момента, когда представляется подпись.

Рука моя, с зажатым в ней пером, невольно дрогнула при этих словах. И подпись получилась неуверенная, какая-то жалкая.

- И еще учтите, - добавил капитан, пряча бумагу в стол. - Нарушение данного обязательства расценивается, как уголовный факт. Таким образом, вы - если рискнете на это - к предыдущим двум пунктам добавите новый... А три - это уже круглая сумма! Это весомо! - Он усмехнулся в усы. - Закон - наш Бог. А Бог, как известно, любит троицу.

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

- Послушай, что же произошло? - спросил я, когда мы вышли на улицу.

- Это долго рассказывать, - сказала она. - Но, в общем, спасибо Казину; он позвонил мне сразу, в тот же вечер... Все началось - с него...

- Казин? - воскликнул я, - вот как! Ну, молодец, старичок. - И тут же я устыдился, раскаялся, вспомнив о былых своих сомнениях. - Не подвел все-таки, не предал... Он показался мне тогда каким-то очень уж перепуганным.

- Нет, нет, он сделал все, что мог, - сказала мать. - Перепуганным, может, он и был... Даже наверняка - был! Но тем не менее... Позвонил мне. И моментально - еще одному писателю, когда-то тот работал в органах, а теперь - известный прозаик, лауреат. А потом они оба связались с Никульшиным.

- А кто этот Никульшин?

- Есть такой прокурор, - пояснила мать, - человек заслуженный, орденоседец, вообще - с большими связями. - Она коротко передохнула, поправила при-

ческу. - Никульшин долго со мной разговаривал... Между прочим, он обронил одну странную фразу. "Раньше, - сказал он - я вряд ли бы смог помочь в таком деле. Теперь - немного легче." Не знаю, что он имел в виду. Но, как видишь, помог! Я еще и сегодня утром у него была, плакала там... Ну почему с тобой вечно что-нибудь происходит?

- Не знаю, - пробормотал я, - так все как-то складывается по-идиотски... А эта нынешняя история вообще какая-то странная. Взять хотя бы случай с ножом! Понимаешь, был у меня финский нож. И они об этот как-то узнали. Но потом, когда пришли с обыском - финяк исчез, испарился... И тут уже я сам ничего не пойму... Не найду объяснения, не могу отыскать!

- Так чего искать, - сказала мать, - чего искать-то? Твой нож - который был в столе - взяла я.

- Ты? - изумился я. - Когда?

- В тот самый день, когда я прибиралась, - готовилась к приходу Казина.

- Почему ж ты мне сразу не сказала?

- А какой смысл? - Она подняла брови. - Ты бы ведь потребовал его обратно - я же тебя знаю... А так - я решила - будет лучше. На всякий случай! И, как видишь, оказалась права.

И она умолкла, сморкаясь и комкая платок. И потом:

- Ты вот все критикуешь меня, - сказала с над-
рывом, - ругаешь. Дескать я - плохая мать... Я ведь знаю, как ты ко мне относишься! Может я, как мать, и действительно не идеал, не ангел. Ах, я слабая женщина. Но с другой стороны, и ты сам - как сын - тоже не подарок!

- Да уж ясное дело, - покивал я усмешливо. - Чего там. Мы с тобой два таких монстра, хоть на выставку нас - за деньги показывать...

- Да, да, ты не смейся! Что я с тобой - всю жизнь свою вижу? Что имею? Одни только неприятности. То передачи тебе в тюрьму носи, то бегай по людям - интригуй, выручай тебя... И к тому же ты все время хитришь. Никогда не говоришь мне правду.

- Вот уж нет, - возразил я, - здесь ты малость переборщила. Хитрить - не в моем характере.

- Ах, оставь! - Она махнула платочком. И спря-

тала его в лакированную свою сумку, звонко щелкнув замком. — Оставь, пожалуйста. Вспомни наш первый разговор! Я тогда сразу спросила: как у тебя с документами, — все ли в порядке? И скажи ты правду, я бы тут же придумала что-нибудь... Помогла бы... А ты? Что ты тогда ответил?

— Ну, понимаешь, — начал я невнятно и сбивчиво, — тогда я не мог, не хотел — при Ягудасе.

— Да и с ним тоже, — сказала она. Я тебя заранее предупреждала: будь осторожен! Опасайся его! Не связывайся вообще с этой семьей. И тут я как в воду глядела! Ты знаешь, что был арестован — по его доносу?

— Догадываюсь.

— Чего догадываться-то? Все точно! Никульшин мне объяснил.

— Ему известны все подробности?

— Наверное, — повела она плечом. — Естественно... На то он и прокурор! Он, между прочим, все время интересовался одной деталью: как, каким образом мог Ягудас проникнуть в твою комнату? Деталька эта — по словам Никульшина — весьма любопытна. Она открывает для нас возможность создать теперь дело против Ягудаса. Как сказал Никульшин, — "возбудить встречный иск".

Мы шли, беседуя, по направлению к дому (милиция находилась неподалеку от меня — на соседней улице). Было уже поздно, и небо занавесилось мглой — беззвездной и белесой — и пахло сыро и зябко, и на тротуаре лежали жидкие желтые пятна от уличных фонарей.

— Но... Что же мы, конкретно, можем ему предъявить? — спросил я задумчиво. И остановился — как раз под фонарем, в середине светового пятна. — В чем мы можем его обвинять?

— Прежде всего — в злонамеренной клевете, — сказала мать. — Ножа-то ведь нет! А Ягудас в своем доносе ссылается именно на это. Причем он дважды подчеркивает — обрати внимание, дважды! — что нож лежал в столе, в правом ящике, рядом с какой-то книгой в синем переплете... Как он мог все это знать? Откуда он почерпнул эти сведения? Такая детальность, такая сугубая осведомленность, — по мнению Никульшина — оборачивается против самого

доносчика. Он что, имел отдельный ключ? или — отмычку? И рылся в комнате тайно, когда тебя не было? Но ведь если это так, он сам действовал противозаконно, как уголовник.

Мать говорила это, захлебываясь волнением. Я заглянул ей в лицо. Облитое фонарем, оно было видно отчетливо — и я разглядел там какие-то очень уж жесткие черточки. Она была озлоблена. Она жаждала мести! В общем-то, я и сам, по идее, жаждал того же... Но что же я мог в данном случае поделать? Я ведь знал: кто в действительности проникал ко мне. Отчетливо понимал: как и откуда мог почерпнуть эти сведения Ягудас... Я понимал все! И не было у меня ни сил, ни желания сейчас поддерживать мать. Я не хотел касаться этой темы, задевать ее имя... Старый подонок не назвал его, не упомянул в доносе. Почему же я теперь должен это делать — быть хуже его?

И хотя мать упрекала меня в хитрости (упрекала беспричинно, несправедливо!), и выслушивать это было обидно, я все-таки начал сейчас немножко хитрить.

— Знаешь, — сказал я, — это все уже позади. Ты меня выручила — спасибо тебе! Но стоит ли портить оставшееся? Сколько мне осталось жить в Москве? — последние сутки!

— Срок истекает завтра, в одиннадцать вечера, — кивнула, нахмурившись, мать, — и, я думаю, — тебе не стоит рисковать...

— Это бесспорно, — сказал я, — о чем речь! Да и вообще, если бы даже обстоятельства сейчас и изменились в корне — я все равно бы уже не остался в Москве. Не смог бы... Нет, не хочу! Хватит! Раз уж так получилось, я и сам предпочитаю вернуться в Сибирь. И начинать оттуда.

Я закурил и потом — нервно грызя папиросу:

— Если мне вообще суждено когда-нибудь начать... Черт его знает. Попробую еще раз. На новом месте! Но сейчас я, во всяком случае, предпочитаю не думать больше о неприятностях. Не думать ни об этом Ягудасе, ни... — Тут голос мой дрогнул невольно. — Ни о чем другом...

Я сказал так — и мать согласилась. И на этом мы расстались. Но все же не мог я — в самом-то деле — не мог не думать о Ягудасе! Встретиться с ним мне хотелось. Очень хотелось! И поднимаясь по лестнице и отмыкая дверь, я заранее предвкушал эту нашу встречу и предстоящий разговор, и мысленно видел ошалелое его лицо, и трясущиеся, дряблые щеки...

Встречи, однако, не состоялось. Когда я вернулся в квартиру, она оказалась пустой! Сосед исчез. И Наташи тоже не было. И эту последнюю свою ночь — так же, как и самую первую, по приезде в Москву, — я провел без сна, в одиноких раздумьях. Пил чифир, перебирал бумаги. Приводил в порядок рукописи и вещи и укладывал их в чемодан.

Утром, чуть свет, зазвонил телефон. Я снял трубку — и услышал голос Наташи.

— Вернулся? — спросила она.

— Да. А ты уже знаешь?

— Ну, разумеется...

И потом — быстро, приглушенно:

— Я сейчас приду!

НА КРУГИ СВОЯ

— Где ж ты ночевала, Наташа?

— У родственников.

— Чего это вдруг?

— Ну, я была с папой. Он теперь — там... Сюда приходить не хочет.

— Из-за чего же?

— Да из-за тебя...

— Это потому, что я освободился?

— Ну, разумеется.

— А кто ему сообщил об этом?

— Тот самый капитан, которому он и раньше звонил.

— Звонил — когда?

— Дней пять назад... Тебя как раз тогда не было дома.

— А ты как раз была — не так ли? И слышала все?

- Д-да.
- Значит, ты была в курсе - с самого начала?
- Ну, в какой-то мере...
- Почему ж ты меня сразу не предупредила?
- Не могла.
- Как, то есть, не могла?
- Ну, не могла я идти против папы! И, кроме того...

- Говори, говори, не жмись. Чего уж там! Давай начистоту!

- Я же все-таки комсомолка.

- Ах вот как!

- Ну да, милый. Ну, да! Он мне напомнил о моем долге - и что я могла возразить?

- В чем же этот долг заключается? В доносительстве, в предательстве...

- Я вовсе и не думала об этом. Я просто растерялась... Прости, если можешь! Ты же ведь умный, тонкий - должен все понять...

- Но все понять, еще не значит - все простить.

- Ах, ты очень странный сегодня, холодный какой-то, чужой.

- А каким же я должен быть - интересное дело? После всего, что случилось!

- Ну, не знаю... не знаю. Все-таки - наши чувства, любовь...

- Не смей произносить этого слова. Любовь! Молчала бы уж лучше.

Я сидел на диване возле раскрытого, уже уложенного чемодана. Наташа стояла рядом - покусывая губы, теребя косу. Она вбежала ко мне сразу, с улицы; плащ ее был распахнут и я видел, как тяжело дышит ее грудь.

Я видел, как дышит ее грудь - высокая, туго обтянутая платьем, - и видел медовые, стройные, сильные ее ноги... Но видел все это неотчетливо, как бы в тумане. Переполюнявший меня гнев застилал глаза горячею пеленой.

- Возвращайся к отцу! - сказал я. И при этих словах она вздрогнула, моргнула растерянно. Попятилась к дверям.

- Нам говорить больше не о чем. А его ты можешь утешить. Пусть спит спокойно. - Я усмехнулся. - Если сумеет, конечно... С Москвой у меня все кон-

чено, - я уезжаю!

- Куда? - спросила она, глотнув воздух.

- Туда, откуда приехал... Возвращаюсь на круги своя.

- А - когда?

- Нынче вечером.

- С каким же поездом.

- С первым попавшимся... Но - не позже двенадцати.

- Билета у тебя еще нет?

- Это не проблема. Достану.

Было недолгое молчание. Потом она проговорила тихонько:

- Я провожу тебя... Можно?

- Нет, - сказал я. И резким движением захлопнул крышку чемодана.

* * *

День этот весь прошел в хлопотах, в суете. После ухода Наташи позвонила мать и пригласила меня к себе. Состоялся, так сказать, семейный обед. И там я - после долгого перерыва - встретился с отчимом. Мы с ним недолюбливали друг друга, не ладили, и вообще избегали встреч... Но эта встреча прошла довольно мирно. Может быть, потому, что она была - прощальной? Он был на сей раз прост и радушен. С улыбкой подливал мне вино, шутил, придвигал блюда. Наконец он предложил мне денег и я, после некоторого колебания, принял их. Это было кстати! Данной суммы вполне хватало на дорогу и на билет.

Дозвониться до вокзальной кассы не удалось - и мне пришлось самому туда ехать и толкаться там в гомонящей толпе... Абаканских поездов прямого следования, как выяснилось, - не было. Для того, чтобы добраться до Хакасии, нужно было делать пересадку в Красноярске. Через этот город проходило несколько маршрутов. И поразмыслив, я взял билет на Иркутский экспресс, отправляющийся из Москвы ровно в полночь.

Затем я совершил последний обход редакций. Стихи мои везде лежали без движения - пылились в тех же самых папках и ящиках, куда были уложены

месяц назад. Только в одном молодежном журнале что-то вроде бы забрезжило, сдвинулось... Редактор отдела поэзии сказал мне, попыхивая трубкой:

- Ваши стихи - у членов редколлегии. Читаются.

- Ага! И когда можно будет узнать?

- Один отзыв уже имеется, - сказал редактор. - Ждем второго.

- И каков же этот отзыв?

- Средний. - Редактор вынул изо рта трубку, описал ею в воздухе замысловатую кривую. И добавил, рассмеявшись. - Во всяком случае - не резко отрицательный.

- Все теперь зависит, стало быть, от второго?

- Да. Но это не быстро делается. Загляните-ка к нам дней эдак через десять - пятнадцать.

Старая песня, - подумал я уныло, - дней через десять-пятнадцать я уже буду вкалывать в тайге, в Саянах, толковать о поэзии с другими - с теми, кто бегают на четвереньках и машет хвостом...

И наскоро простившись - ушел.

* * *

Провожать меня на вокзал пришли мать и Юра - мой двоюродный брат. На минуту отлучившись в буфет, мы выпили с ним - "по отходной". Здесь я вкратце рассказал Юре о последних моих злоключениях. И вспомнил странную фразу прокурора Никульшина. "Что она означает?" - спросил я. - Как ты думаешь?" И Юра, подумав, сказал:

- В общем-то, нечто подобное я уже слышал. Сейчас действительно становится немного легче... И знаешь, почему?

- Ну?

- Потому - что Хозяин - почти уже не у дел...

- То есть как это, не у дел?

- Он болен, понимаешь? И с каждым днем ему все хуже. И в верхах, в связи с этим, царит растерянность. Там же ведь - много сложностей! Это вовсе не такой монолит, как принято считать. Старик был там - как шампур в шашлыке. А теперь шампур этот гнется, ломается... Ну и шашлычок тоже уже не прежний. Начинает сыпаться, становится зыбковат.

- Откуда ты это все знаешь?

- Мы, брат, здесь многое знаем! - сказал, сощутив глаз, Юра. - У меня есть друзья - журналисты, из "Правды", из "Известий", они иногда рассказывают интересные вещи... Журналисты - народ пронырливый. Да, кстати! - спохватился он, что-то вспомнив и начав торопливо шарить в карманах. - В связи с тобой... Где-то в Сибири, на Ангаре, работает журналистом один парень. В общем, способный, недавно окончивший Литинститут. Так вот, есть к нему письмо. В письме этом речь идет о тебе! Написал его...

- Кто?

- Гриша Поженян. Поэт. Общий наш друг.

- А-а-а, - вспомнил я, - это тот одессит, которого я у тебя встречал! Такой с усиками, слегка приבלатненный.

- Вот именно, - усмехнулся Юра. - Но поэт он хороший. И к тебе тоже хорошо относится. И дает в письме самые лестные рекомендации. И он просил передать тебе это письмецо. Поступай с ним, как хочешь, как сочтешь нужным! Хочешь - отправь по почте, хочешь - явись по адресу сам... Во всяком случае, в Сибири у тебя - считай - уже есть зацепочка!

Юра говорил и одновременно шарил в карманах, искал письмо... В конце концов нашел. Сунул мне в руку плотный конверт. Я взял его. И вдруг рука моя дрогнула, ослабла.

Я смотрел в этот момент не на конверт, а поверх его, в окно буфета. Там, за окном, - мне внезапно почудилось - мелькнул силуэт Наташи...

И забыв обо всем, я скомкал письмо; не глядя, сунул куда-то в карман. И бросился к выходу, задев столики, расшвыривая встречающих.

Я выбежал на перрон и встал, озираясь. Вокзал гремел; он был насыщен звуками и движением. Ночная мгла не лежала здесь плотно, а рвалась и зыбилась, перемежаемая вспышками света, отблесками множества огней. И в этих огнях текли и крутились людские толпы. Они текли мимо меня, и я разглядывал их жадно и пристально. И искал в этом скопище одну только фигуру - одно лицо - с черной челочкой, чуть вздернутым носом и завитком над ухом, и пере-

брошенной через плечо косой... Искал и не находил его. И понял, постояв у дверей буфета: Наташи нет. И не было. И не будет! Она уже не придет! И еще я понял — отчетливо, с мучительной ясностью: весь этот день, пока я ходил, улаживал дела, улыбался и выпивал, — я в действительности жил только ею одной, был как бы болен ею. Я постоянно помнил о ней и хотел ее, и ждал. Ждал — несмотря ни на что, забыв обо всех моих обидах, наивно веря в случайность, в счастливый возврат...

Может быть — позвонить? — мелькнула отчаянная мысль. — Но куда? Куда? Дома ее ведь нет, она у родственников вместе с отцом. Да и как теперь звонить — после всего, что было сказано!

— Голову — по пуговицам! — услышал я вдруг. И обернулся на этот голос. И увидел знакомого алкоголика со скошенной челюстью. Он втолковывал старый этот анекдот какому-то новому клиенту. По пуговицам... Ты понял? Так и поставили... А что поделаешь? В этом — вся наша жизнь.

— Старик, что случилось? — спросил, выходя из дверей, Юра. — У тебя такой вид...

— Ничего. — Я зажмурился, прикрыл глаза ладонью. — Ничего, сейчас пройдет. Эх, Юрка, ты не понимаешь!

— Н-да, признаться, — пробормотал он, — но все-таки... Извини... До отхода поезда осталось три минуты. А вот как раз и Елизавета Владимировна спешит — тоже беспокоится.

— Я уж решила было, ты захотел остаться, — сказала мать, приближаясь и озабоченно, с тревогой, глядя на меня. — Передумал ехать...

— Не беспокойся — уеду, — проговорил я хрипло. — Хотя, конечно, это нелегко. Послушай, а Наташа тебе, случайно, не звонила?

— Н-нет. А что?

— Да так, просто... А скажи-ка... У нее есть какие-то родственники — ты их не знаешь? Может быть — телефон?...

— Что-о? — протянула она. И сразу лицо ее напряглось; по нему прошло отражение какой-то сумрачной мысли. — Ты с ней, что ли, захотел снова повидаться? С этой... С этой...

Она запнулась, не справляясь с дыханием, подыс-

кивая нужное слово. Но продолжить не смогла, ее заглушил тяжелый, гулкий удар гонга.

И тотчас же над нами, над толпой, над сутолокой света и мглы раскатился голос репродуктора, объявляющий отправление Иркутского экспресса.

Часть 3

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА

Папиросы. Диккенс. Крепкий чай.
Тишина. А за окном ненастье.
В форточку, распахнутую настежь,
хлопья залетают невзначай.
Снег валит!
И вдруг, сквозь свет лиловый,
возникает город тополевый...
Много лет прошло,
а вот — поди же —
до сих пор я мост иркутский вижу.

НА ВОСТОК

От Москвы до Красноярска - трое суток езды. И все это время я провел, валяясь на полке плацкартного вагона (слезая с нее разве что - поесть, и еще - за нуждой). В Москве я пробыл всего лишь полтора месяца, но устал от нее, признаться, так, как порою не уставал даже на севере, в лагерях... И сейчас я отсыпался, отлеживался, помаленьку приходил в себя.

О Наташе я вовсе старался не думать... Старался не думать... Старался не думать - изо всех своих сил! Здесь мне помогали собственные стихи (я перебирал их, перечитывал заново, обдумывал казинские пометки). И еще - книги.

Литературы я захватил с собою немало (сознавал, чувствовал, что отныне мне без нее не обойтись!) Домашняя наша библиотека, каким-то чудом сохранившаяся после отца, была внушительна. В ней имелись, между прочим, первые переводы джойсовского "Улисса", почти весь Пруст, Дос-Пассос, Фолкнер, Уолдо Френк, которых переводили у нас в двадцатых годах охотно и во множестве. Я отобрал из этих книг кое-что. И прихватил моего любимого Диккенса, а также советских авторов, - современных мне, молодых. Среди них имелся и роман Юрия Трифонова "Студенты".

Юра преподнес мне этот роман сразу, при первой же встрече. Но тогда - под обвалом сложностей и хлопот - читать его было недосуг. Слишком уж был я замотан, напряжен... И вот наконец-то - вспомнил о

нем! И лежа на тряской полке, под переборы колес, я не спеша раскрыл Юрину книгу, углубился в нее.

Что ж, я сразу отметил стилевые находки, оценил изобразительность, образность. Тут было немало деталей зримых и запоминающихся. Например: облитый солнцем и от того — словно бы натертый мелом асфальт. Например: грифельное небо над вечерней Москвой. Такой вот особый, дымчатый, лиловато-серый (именно — грифельный!) цвет придают городским небесам электрические огни... Я не замечал этого раньше — и теперь порадовался меткости наблюдения.

Но было здесь также и кое-что иное, такое, с чем я не мог согласиться. Что повергало меня в смущение. Это прежде всего — общий дух повествования, атмосфера, царящая в романе. Автор использовал — весьма наивно, с какой-то простодушной добросовестностью — некоторые агитпроповские идеи. Он во многом шел по схеме стандартного соцреализма. И эта схема, жесткий этот костяк — отчетливо прощупывался, проступал сквозь ткань романа. Читалась книга с интересом, но возвращаться к ней, перечитывать ее заново — как-то не хотелось... Забегая вперед, замечу, что и сам Юра тоже никогда уже больше не возвращался к данной схеме. Вообще после нашумевшей этой книги он вдруг замолчал — и надолго! Став лауреатом, он не развивал успех, не прищипоривал фортуны — нет, наоборот. Перестал печататься. Замкнулся в себе. Ушел в искания... И так продолжалось пять лет. И когда мы встретились с ним снова — после длительного перерыва — это был уже совсем другой, новый писатель, ни в чем не схожий с наивным автором "Студентов". (Впоследствии придет даже момент, когда он откажется от этой книги, публично отречется от нее. Вот этого я бы делать не стал. Зачем? Что было — то было. От прошлого все равно никуда не уйдешь.) Первый юрин опыт, этот его зыбкий шаг — он ведь, в сущности, был не случаен; в нем явственно отразилось время. Отразилось так же, как и во многих других обстоятельствах, как, например, и в моей — сумбурной и сумрачной — личной судьбе.

Время гнуло нас, пригибало к земле. И трудно, очень трудно было тогда разобраться в жизни и в себе. Мы оба с ним метались в исканиях. Конечно,

каждый по-своему. И нашли себя не сразу. У него это случилось после успеха и произошло в тиши. Ну а мне с самого начала выпала другая карта - крестовая масть.

Крестовая масть; казенный дом и дальние дороги... Бродяжья тоска и вечная бездомность... О, черт возьми, за что это - мне? И до каких же это пор? Тут действительно можно затосковать.

Но что ж поделаешь? - вот и опять я оказался в проигрыше. Очутился за бортом... И снова меня несло куда-то в глушь, на Восток, в неизвестность.

Я ехал в ссылку - и маялся, и не знал: какие новые бедствия мне уготованы? В том, что бедствия - будут, я ни на миг не сомневался. И ничего другого, в общем-то, и не ждал.

Да ничего другого впереди и не было. А позади... Там остались рухнувшие надежды, осталась Наташа - но о ней я старался теперь вовсе не думать!

* * *

Поезд подошел к Красноярску вечером, в сумерках. За синими окнами затеплились, промелькнули, струясь, огни предместья. (Того самого, где я - помните? - когда-то провел свою первую ночь на свободе.) В вагоне началась обычная суматоха. Загомонили, суется, пассажиры. Пришел проводник - раздавать билеты и собирать плату за постели.

Роясь в карманах - в поисках мелочи - я вдруг нащупал смятый, скомканный конверт.

Это было письмо, врученное мне Юрой в Москве, на вокзале. Я спрятал его впопыхах, а потом забыл о нем, запечатовал... И теперь - с любопытством разглядывал его.

Адресовано оно было некоему Владимиру Шарору, проживающему в Иркутске. Автор письма - Поженян - просил посодействовать молодому, начинающему (московскому!) поэту... Тогда, на вокзале, Юра сказал мне: "Хочешь, отправь по почте, хочешь - явись по адресу сам. Во всяком случае, в Сибири у тебя, считай, уже есть зацепочка".

И тотчас же я подумал:

"А что? Может, и в самом деле, стоит - явиться по адресу? Это ведь и вправду "зацепочка". А если

уж зацепляться — то по-деловому, по-настоящему... Попытаюсь еще раз — рискну! Вдруг там-то все и получится? Тем более, что и поезд идет туда же, по адресу, прямо в Иркутск!"

Проводник еще не ушел — сгребал с полок постельное белье... Я сказал, вертя в пальцах письмо:

— Послушай, браток. Мне вообще-то слезать надо было здесь, но я передумал. Хочу — до Иркутска... Теперь — как быть с билетом? Научи! Деньги есть.

— Научить можно... — Проводник задумчиво поскреб шерсть на подбородке. — О чем разговор? Побудешь у меня, в служебном купе — и все дела! Ну, конечно, подбросишь сколько-нибудь... Да я дорого не возьму. Сойдемся. — Он мигнул глазом. — Лады?

— Что ж, — сказал я, — лады...

— Тогда держи ключ.

Он протянул мне вагонный ключ — трехгранную поездную отмычку. И потом добавил скороговоркой:

— Там у меня уже есть одна пассажирочка... — Корявое, щетинистое его лицо внезапно расплылось и перекошилось в сумасшедшей ухмылке. — Но она до Тайшета едет. Это недалеко — ночью сойдет. Тогда уж отоспишься. А пока потеснитесь как-нибудь... Ну, да ничего! Ты, я думаю, в обиде не будешь.

И когда я, подхватив вещи (рюкзак с книгами и чемодан), пошагал вдоль вагона, он крикнул вдогонку:

— Только дверь, смотри, открытой не оставляй, ни на секунду! Как войдешь в помещение — запирайся сразу! Понял?

Я кивнул. Но, в общем, не понял... Что это еще за конспирация? — подумал я недоуменно. И понял все, уяснил лишь потом, когда взошел в каморку проводника.

* * *

Там было душно и полутемно (горела одна ночная лампочка). На откидном столике мутно поблескивали бутылки. И пахло спиртом и табаком, и еще чем-то — приторным, сладковатым.

Едва я запер за собою дверь, женский сонливый протяжный голос проговорил:

- Ну, чего, ну, чего? Невтерпеж, что ли? Ох, мужики, беда с вами. А я было вздремнуть собралась...

Я обернулся на голос. И только сейчас - в полумраке - разглядел "пассажилочку".

Она сидела на верхней полке, в углу, - подтянув колени к подбородку и небрежно прикрывшись кончиком простыни. Отсюда, снизу, мне была видна голая, стройная ее нога, округлая линия бедра и - выглядывающая из-за простыни - небольшая, острая грудь, чуть подрагивающая от хода поезда.

"Ого! - изумился я, - вот так служебное купе!"

И пробормотал оторопело:

- Здравствуйте...

- Здравствуй, - сказала она. - Ты кто? Что-то я тебя не знаю.

Она наклонилась, разглядывая меня - уперлась ладонями в край вагонной полки. Теперь она стояла на четвереньках. Простыня сползла с нее, соскользнула - и вид у "пассажиочки" был занятный...

- Ты из поездной бригады? - спросила она.

- Нет, просто - пассажир. Мы тут договорились с проводником...

- А-а-а, - протянула она. И потом: - Ну, что ж. Если договорились... Чем ты хуже других? Пошарь-ка там, на столике, может, что-нибудь осталось в бутылках?

Я пошарил. В одной из бутылок было еще водки - на треть. Я разлил ее по стаканам; подал один "пассажиочке", другой - принял сам.

Выпив и помолчав немного, она сказала:

- Ладно.. Лезь сюда, мостись! Раз уж всем - так всем... Давай. Только - быстро! Быстро!

- Но... чего ж торопиться-то? - отозвался я, в полной растерянности, не зная, собственно, - что говорить.

- А чего ж тянуть? Давай! Или я, что ль, не нравлюсь?

Я старался эти дни не думать о Наташе... Но тут поневоле подумал. И первая мысль была - мстительная. "Все вы - такие! Все такие! Все..." А вслед за этим пришла новая мысль: стало жалко себя. Я загрузил безотчетно.

Вытряс из всех бутылок остатки - слил в стакан

и выпил залпом. И уселся у столика, пригорюнясь.

Стало жалко себя. И отчего-то вдруг - и Наташку. Да и эту пьяную дуреху - тоже.

- Тебя хоть как зовут? - спросил я.

- Людмила. А - тебя?

- Михаил.

- Ну, вот и познакомились, - закуривая, сказала она.

- Н-да... А скажи-ка... Ты что же, все время - вот так?..

- Да почти, - кивнула она беззаботно.

- Со всеми?

- Ну - кто придет...

Была она молода (лет двадцати пяти - не больше) и очень недурна собою, с прямыми белыми волосами, со вздергнутым носиком и крупным пухлым ртом. Немного портила ее только общая печать усталости - некоторая одутловатость лица, синие тени под глазами.

- Утомилась, наверно? - посочувствовал я, - все-таки - нелегко...

- Да нет, ничего, - лениво, с хрипотцою, ответила Людмила, - даже как-то забавно... Такое приключение! Будет хотя бы что вспомнить на старости.

И загасив окурок - потянулась, зевнула звучно.

- Одна только беда: выспаться, кобели, не дают. Только задремлешь - кто-то сразу наваливается. Среди ночи проснешься - тебе уже ноги в потолок задирают... Прямо - смех! - При этих словах она улыбнулась медленно, и была в ее улыбке какая-то наивная, непобедимая, первобытная простота. - Я всю дорогу так и пролежала - ногами в потолок...

- А ты откуда едешь-то?

- Да из Москвы.

- И куда же?

- В Тайшет.

- По работе?

- Да нет... к мужу. Домой.

- К мужу? Вот как! - Я удивленно поднял брови. Хотел еще сказать, но - сдержался, промолчал. В конце концов, что ж... Бывает, очевидно, и так... В безумном этом мире - чего только не случается!

Все же, погода, я спросил - с осторожностью:

- Он кто же - твой муж?

- Лейтенант.
- Служит, что ли, в Тайшете?
- Ну, да. В местном управлении.
- Это в каком же управлении - в лагерном?
- Ага, - сказала она. - Он у меня - чекист.

Так мы толковали какое-то время. И я узнал ее жизнь. И эту - вагонную - историю. Суть ее вот в чем: возвращаясь из отпуска, с Юга, Люда остановилась в Москве (решила побродить по магазинам), и там у нее - в толкучке - украли все вещи и деньги. Надо было как-то устраиваться с билетом... И Людочка быстро нашла выход из положения; проникла на вокзал, разыскала проводников и сразу обо всем с ними договорилась. Они согласились провезти ее, но с одним условием: платить она будет - натурой... Что ж, Людочка условие это приняла охотно, легко. (Вообще она, судя по всему, была большой любительницей приключений!)

В вагонах дальнего следования проводников - как правило - двое. Работают они в перемену. Пока один бодрствует, другой отдыхает. В служебном купе, таким образом, всегда есть свободное место. Его-то и заняла Людмила... И в первую же ночь - притащив в купе водки и закуски - проводники напоили ее до изумления. Полежали с ней оба - по очереди. А затем пригласили товарищей... И так началась любопытная эта поездка.

Люда отработывала ее старательно, активно, без передышки. Отдавалась делу самозабвенно. (Халтуры она здесь не терпела!) И за трое с лишним суток пути успела обслужить всю поездную бригаду - вплоть до машиниста и кочегара...

И вот так, "с ногами в потолок", она и доехала, в конце концов, до дома.

На перроне встречал ее муж - щуплый, молоденький лейтенант, в опрятном кителе и новеньких милицеских поганах. Она обняла его, прильнула с нежностью. Потом обернулась к поезду и прощально помахала рукой...

И удалилась - в обнимку с мужем - больше уже не оглядываясь.

Провожать Люду вышла вся обслуга экспресса. Железнодорожники выстроились, как на параде. И машинист - отправляясь - дал непопозволенный по правилам протяжный, мощный, торжественный гудок.

В эту ночь я уснул не скоро, долго еще сидел с проводниками. Мы пили водку, вспоминали "пассажи-рочку" и рассуждали о жизни — о ее зигзагах и чуде-десах...

Задремал я под утро, когда уже сочилась меж шторами бледная заревая прозелень. И во сне яви-лась ко мне Наташа — почему-то нагая, слегка при-крытая простыней... Но видение это тут же заслони-лось другими. Выплыло и угасло лицо Юры. И я снова увидел себя в отделении Московской милиции. И го-лос капитана Прудкова сказал — грозно и явственно:

— Закон — наш Бог. А Бог любит Троицу... И по-тому прощения тебе теперь не будет. Ты снова схит-рил, увильнул от ссылки. В третий раз нарушил за-кон. В третий раз! В третий раз!

Я очнулся с трудом и не сразу; кто-то крепко тряс меня за плечо, приговаривая:

— Эй, вставай. Третий раз уж бужу — приехали... Иркутск!

ВСЕ БУДЕТ "О'КЭЙ"!

Сойдя с поезда, я сразу же направился в гости-ницу. Побрился и принял душ. Потом разобрал вещи. Уложил стихи в небольшую кожаную папку (подарок кузена), на которой золотым тиснением было выве-дено: "Второе Всесоюзное совещание молодых писате-лей". И не спеша пошагал по городу, отыскивая нуж-ный адрес.

Сибирь меня встретила ласково... Странно: в Мо-скве, когда я уезжал, уже вовсю пахло осенью. Ды-шали сыростью зори, перепалили частые дожди. А в Иркутске царилась сушь и прозрачная ясность. Здесь, за четыре тысячи верст к востоку — в самом сердце Азиатского материка — лето еще не ушло, не угасло. И вдоль иркутских улиц еще кружился и застилал тротуары белесый тончайший тополинный пух. (И город этот с тех пор таким и остался в моей памяти — то-полевым!)

Я брел по белой этой, пушистой пороше — разма-хивал папкой, посвистывал, с любопытством погляды-вал по сторонам. Денек был веселый. По улицам с криками носились мальчишки — поджигали спичками

пух. Он вспыхивал сразу же, легко. И по обочинам тротуаров — змеясь, перекрещиваясь — бежали зыбкие синеватые огоньки.

Возле углового дома (того самого, что указан был в адресе) стоял у калитки какой-то долговязый парень — сутуловатый, с унылым профилем — и тоже смотрел на мальчишек. Я спросил его: не знает ли он некоего Шарора... И парень, сощурился, сказал: — Это — я сам.

И потом — прочитав письмо:

— Ну, здравствуй. Я о тебе уже знаю. За это время еще одно письмо пришло. Ребята просят — помочь... Что ж, я готов. Только — как? Ты вообще-то что намерен делать?

— Не знаю, — замылся я, — может быть, что-нибудь — в здешней газете?..

— Попробуем, — пробормотал он. — Но учти, я вообще-то работаю ведь не здесь, не в городе, — а в строительной многотиражке, на Братской ГЭС... Слышал об этой стройке? Это под Иркутском — недалеко.

— Еще бы! — воскликнул я (хотя, признаться, никогда о ней и не слыхивал). — Разумеется!

— И живу я тоже — там. А здесь, дома, бываю редко, наездами.. Тебе, старик, повезло — что мы так сходу встретились.

Ага! — подумал я, — вот оно, начало везения — первый сигнал!..

Шарор сказал, одернув пиджак и поправляя галстук:

— Что ж, пойдем. Представлю. У меня, кстати, тоже есть там дела... Сегодня понедельник, день тяжелый, я обычно предпочитаю другие дни. Но — ради такого случая!..

* * *

В редакции былолюдно, шумно, накурено. Тут царила особая атмосфера деловой суеты и веселого беспорядка... Шарор поминутно задерживался, окликавая знакомых, здороваясь с ними. Он знал всех, был своим здесь, чувствовал себя уверенно, свободно — и я ему завидовал...

Возле двери с табличкой: "Зав. отделом литературы и искусства" он остановился. Мигнул мне заговорщически. И толкнув дверь — посторонился, почти-

тельно пропуская меня вперед.

И я вошел, неся перед собою — как щит — кожаную папку с золотым тиснением.

— Привет, Ирина! — сказал мой спутник, обращаясь к женщине, сидевшей за столом в глубине кабинета. — Вот — гостя привел. Московский поэт.

— Очень рада, — сказала Ирина.

Она что-то читала и теперь распрямилась, подняла голову. Внешность у нее была впечатляющая: седые, коротко стриженные волосы — и бледное нежное лицо. Большие, серые, с влажным отливом глаза. Папироска, дымящаяся в кончиках пальцев. Белая шаль — на хрупких плечах.

— Заехал в наши трущобы и хочет познакомиться с тобой, — продолжал Шарор, — стихи вот принес...

— Что ж, посмотрим, — проговорила Ирина. И улыбнулась мне: — Проходите, пожалуйста, садитесь... И затем — подняв глаза к Володе:

— Ну, а как — ты? Как жизнь?

— Да как всегда. Заботы, хлопоты, ни минуты покоя. — Он быстро глянул на часы: — Извини, Ирочка, потрепемся в следующий раз. Мне в типографию надо, я там срочное клише заказывал для своей газеты. А потом — в промышленный отдел... Еще кое-куда... Побегу! Значит, о друге моем позаботишься?

— Не беспокойся, — усмехнулась Ирина. — Ох, Володя, какой-то ты стал суетливый...

— А что поделаешь? — Он развел руками. — Се ля ви!

И уже уходя — торопливо похлопал меня по плечу:

— Значит так, старик. Когда освободишься, ищи меня у Сазонова. Ирина объяснит — где... Мы еще увидимся! Если ты, конечно, не застрянешь тут надолго.

Я не застрял тут надолго — но все же поговорили мы хорошо; Ирина была приветлива, мила. Между прочим она поинтересовалась причиной моего приезда, и я (небрежно раскинувшись на стуле) объяснил ей, что — утомился от Москвы, от пустой суеты столицы; что ищу теперь новых свежих впечатлений, и приехал в Сибирь за ними — за романтикой!

— За романтикой! — повторила она, раскрыв мою папку и шурша листами. — В общем-то, судя по вашим

стихам, это так... Вы действительно отчетливый романтик. Дай вам Бог! - Ирина посмотрела на меня. - Может, сыщете. - Сквозь папиросный дым блеснули влажные ее глаза. - Может, что-нибудь и найдете...

Она отобрала несколько стихотворений - спрятала их в стол. И мы простились, условившись, что я загляну сюда снова в конце недели.

* * *

У Сазонова (редакционного фотографа) меня уже ждали. Здесь собрались приятели Шарора из разных отделов. И когда я вошел, Володя воскликнул нетерпеливо:

- Наконец-то! Ну, теперь пошли.

- Куда? - спросил я.

- Предаваться чувственным наслаждениям, - внятно выговорил человек с подбритой шкиперской бородою и гнутой трубкой. (Как выяснилось - газетный фельетонист.)

И другой журналист, Лева, - толстощекий, в очках, с реденьким детским пушком на голом черепе - добавил:

- В злачное место - куда же еще?

И выразительно щелкнул себя пальцем по горлу.

Мы вывалились из газеты шумной гурьбой и вскоре уже сидели в ресторане, за длинным банкетным столом. Пили перцовку. Закусывали балыком. Я разглядывал журналистов и с удовольствием прислушивался к их болтовне. И невольно как бы примерял себя к этой публике. Что ж, - думал я, - если все пойдет хорошо, почему бы и мне не стать таким? Понравились мне эти ребята, - что говорить! - понравились. Была в них какая-то беспечность, артистичность, что ли, какая-то размашистость. И выражались они языком не простым - весьма затейливым и своеобразным.

Мы крепко здесь выпили. И затем перебрались в другое "злачное место". По дороге Шарор исчез куда-то, испарился незаметно. Но взамен его тут же появились новые лица. Я вдруг обнаружил рядом с собою парня, который держал такую же, как у меня, стандартную кожаную папку, принадлежащую участни-

кам "Второго Всесоюзного совещания молодых"... И испугался на миг, что этот - настоящий, всамделишный участник - заговорит со мною о Москве, о совещании, начнет искать общих знакомых, углубится в детали... Но нет, все обошлось! Как и обычно, по пьяному делу, разговор пошел совсем о другом.

- Эх, бабу сейчас бы хорошую, - проговорил писатель с папкой.

- У меня, вообще-то, есть две знакомые курочки, - отозвался фотограф Сазонов, - две сестренки. Дают безотказно, принимают обе вместе... Такие номера выделывают! Но - надо позвонить сначала. Может, они сейчас заняты.

И он начал поспешно рыться в карманах, бормоча:

- Черт, где же телефон? Не могу отыскать. Вот так всегда, - запишешь на бумажке, а потом теряешь... Жалко!

- Да ты успокойся, не суетись, - сказал бородастый фельетонист. - Баб полно... Вон, глядите, братцы, сколько их!

Он встал, пошатываясь и шурясь, и указал концом трубки на противоположную сторону улицы. Там размещался детский садик. На тротуаре, возле ограды, резвились и прыгали пятилетние девочки... Лева протер очки. И сказал - разочарованно и совершенно серьезно:

- Они же еще, вроде, маленькие...

- Ничего, - попыхивая трубкой, ответил невозмутимо фельетонист. - Мы посидим, покурим. Подождем - пока подрастут!

Дальнейшее мне уже видится, как в тумане; мы снова где-то пили. Расплачивались, скидываясь по червонцу. И опять куда-то брели, галдя. И очутились, уже вечером, в дымной, замусоренной, базарной пивной. И Лева спросил меня - перегибаясь через столик:

- У тебя еще осталось что-нибудь святое?

- Святое? В каком смысле?

- В самом прямом, - сказал Лева. И потом - видя мою непонятливость: - Ну, башли, хрусты... - Он сложил щепотью пальцы и пошевелил ими многозначительно. - Благородные госзнаки... Есть?

- Есть, - сказал я, - но мало, ребята, мало...

- Не жмись, - усмешливо протянул Сазонов. - Ты

ведь хочешь, чтобы у тебя в газете все получилось хорошо? Ну, вот. А для этого надо постараться. Ты нас уважишь, мы — тебя... От нас, учти, многое зависит. Вон Левка, к примеру, он у Ирины в отделе работает!

— Ага, — кивнул Лева, — твои стихи, так или иначе, через мои руки пройдут. Так что — сам понимаешь...

— Я ведь, ребята, не возражаю, — с тоской сказал я, — но у меня, действительно, осталось мало! Почти — ничего...

Я видел, чувствовал: они нагло вытряхивают меня, раздевают — как фрайера... а фрайером я быть не любил, да и не был им никогда! Но здесь, сейчас, я оказался в положении беспомощном, нелепом. Что, в конце концов, я мог поделаться? Ссориться с ними мне не хотелось — приходилось уступать, смиряться...

Я достал, кряхтя, последнюю тощую пачечку асигнаций. Отделил от нее половину — и вручил Лева. Он осклабился и зычным голосом кликнул официанта.

— Вы ведь все устроены, — хмуро проговорил я, — имеете службу, жалованье, дома... А я — один. Болтаюсь, как дерьмо в прорубе. И ничего неизвестно. Хорошо, если стихи пройдут. А вдруг — нет? Что тогда?

— Брось паниковать, — сказал Лева, — не трепещи. Все будет — о'кэй!

И он принял из рук официанта графинчик водки. Осторожно (боясь пролить каплю) наполнил рюмку. И медленно, со вкусом, выпил ее.

Фельетонист проворчал, выгребая из шкиперской своей бороды хлебные крошки и перышки лука:

— Ну, в крайнем случае — если уж в самом деле подопрет, — придешь ко мне домой. Накормлю. О чем разговор?!

— И к нам, — дружно подхватили Сазонов и Лева, — и к нам тоже! Всегда!

Они были радушны; приглашали наперебой... Но домашнего адреса почему-то так мне никто и не дал.

Я никогда не был фрайером... Да Господи, какая чепуха! Сто раз я им был на своем веку — сто раз, не меньше. В общем-то, весь мой немалый опыт

(блатной, босяцкий, лагерный) так ни разу и не пригодился мне в мирном быту, так и не научил ничему. И вот об этом-то я и думал теперь, — добредя на мягких ногах до гостиницы и с трудом отыскивая свой номер... Я думал об этом и изнывал от жалости к себе. И единственным утешением была мне мысль, что, может, и впрямь — все в свое время наладится, образуется. Все будет — о'кэй!

КТО ТЫ? ОТКУДА ТЫ?

Утром я пересчитал оставшиеся рубли. И понял, что за гостиницу мне уже не расплатиться. Снимая комнату, я предупредил, что пробуду здесь дней десять. Что ж, это время я, пожалуй, мог быть спокойным... Ну а потом? Когда срок истечет? Если я не раздобуду денег, не получу гонорар — то... Но об этом мне даже думать не хотелось.

Разбитый, с головной болью, спустился я в ресторан (надо было похмелиться, поправиться) и заказал стакан водки — последний! И отбивную с горошком — тоже последнюю! Отныне с ресторанами приходилось проститься. И вообще — со всякими закусками и выпивками; начинается режим строжайшей экономии.

С этого момента я вынужден был вести унылую нищенскую жизнь — приберегая и учитывая каждую копейку.

* * *

Вот так я и дотянул — в унынии — до дня нашей встречи с Ириной.

Она сказала:

— Пока — все хорошо. Стихи одобрены, подписаны в печать — и уже в наборе. Я запланировала их на воскресный номер. Ну, а дальнейшее зависит не от меня; материалами, сданными в набор, распоряжается секретариат... Да вы это и сами знаете, что мне вас учить!

— Конечно, — проговорил я, — знаю. Воскресный номер, это ведь — завтра?

- Ну, да. Подождем, посмотрим. Надеюсь, никаких сюрпризов не будет.

- Я тоже надеюсь. Хотя... Должен сказать, что сюрпризы - это моя специальность. Они на меня валятся всю жизнь. Беспрерывно. И нет мне от них отдыха...

- Но если так, вы счастливый человек!

- Как сказать, - усмехнулся я, - как сказать. Если бы сюрпризы были добрые...

- Все равно. Неужели вы не понимаете - а еще романтик?! Ведь самое страшное, по-моему, жить монотонно, скучно; без сильных страстей, без перемен и неожиданностей.

И опять я - сквозь табачный дым - уловил текущий и странный блеск ее глаз.

Она курила, облокотясь о стол, держа папироску в кончиках пальцев. А я не курил! Не мог. Не имел папирос. В кармане у меня, правда, была насыпана махорка - мелко нарезанные, вонючие, табачные корешки. Это был самый дешевый сорт табака. Самый плебейский! И демонстрировать его перед работниками газеты я сейчас не хотел. И был прав, по-своему. Для приезжего москвича, столичного поэта, такая деталь была бы весьма странной.

Я страдал и томился. Но и попросить у нее папироску я тоже не решался; безотчетно стеснялся чего-то. Ах, как портит нас нищета, как она нас приземляет! Что бы мы ни делали и ни говорили, мы не можем о ней забыть ни на миг. Невольно впадаем в фальшь, переполняемся комплексами, перестаем воспринимать вещи просто...

Дверь кабинета растворилась: заглянул, поблескивая очками, Лева. Он был теперь подтянут, деловит - и ни чем не напоминал того, вчерашнего, выпивоху и ерника.

Он тоже - курил! Какую-то сладкую сигарету. И небрежно посасывая ее, улыбнулся, стоя в дверях:

- Ирина, вы чего тут застряли? Перерыв! Я в буфет бегу... Занимать для вас очередь?

Меня Лева словно бы и не узнал. Кивнул мне вежливо и сухо вато и больше уже не смотрел в мою сторону.

- Займите, - сказала Ирина. - Это очень мило, что вы так заботливы.

И потом — поворачиваясь ко мне:

— Пойдемте с нами, а? Вы ведь никуда не торопитесь?

— Вот как раз — тороплюсь, — возразил я. — Занят, понимаете ли. — И поднялся поспешно. — Благодарю. Как-нибудь потом.

В коридоре я простился с ними и пошагал к выходу. — Но вдруг Ирина окликнула меня. И подойдя вплотную, проговорила, понижая голос:

— Ну, а вечером — вы тоже заняты?

— Да вроде бы нет...

— Тогда приходите ко мне ужинать.

— Не знаю, — забормотал я, — стоит ли? Как-то неловко... При чем здесь ужин?

— Как, то есть, при чем? — сказала она, внимательно разглядывая меня. — Ужин — дело хорошее... Посидим, поболтаем, проведем вечер... Договорились?

— Н-ну что ж, — сказал я, — ладно.

Она сейчас же извлекла из сумочки блокнот — что-то чиркнула там. И протянула мне вырванную страницу:

— Вот адрес. Значит, к девяти... Буду ждать!

* * *

Дом, в котором жила Ирина, был велик и напоминал муравейник; тут были длинные, путанные коридоры, множество дверей и беспрерывно снующие повсюду люди.

— Шумное у вас, Ирочка, жилище, — сказал я ей. — За одной дверью поют, за другой плачут. А где-то, слышно, целый оркестр грохочет.

— Так ведь это же — актерское общежитие, — пояснила она с улыбкой. — У меня муж — артист. Работает в городском драмтеатре. Ну и вот... Публика, конечно, здесь своеобразная.

Я сразу уловил, отметил слово "муж". И оно меня задело вдруг — ужалило болезненно... Почему?

И тут же я сказал себе мысленно: осторожно! Без глупостей! Не начинай новой истории, хватит с тебя старых... Думай об ужине — и забудь обо всем другом.

Ирина ввела меня в столовую. И я действительно отвлекся, забыл обо всем; увидел накрытый стол. Он был хорошо накрыт, обильно, — сплошь уставлен бутылками и блюдами...

— Сейчас, между прочим, я одна, — продолжала Ирина. — Муж в отъезде, на гастролях. И детей тоже нет — они в деревне. Так что вся семья в разгоне!

— Так у вас еще — и дети?

— А как же. Двое!

— Поздравляю, — пробормотал я кисло.

— Мерси. Но с чем же тут поздравлять? С хлопотами? Я порою так устаю, не знаю, куда деваться... А впрочем, что — об этом! Давайте-ка ужинать.

Мы уселись. И поднимая стопку, Ирина сказала:

— Ну, за вас! За ваши успехи! За то, чтобы вы все-таки нашли то, что ищете...

Ужин затянулся надолго. Потом — уже поздней ночью — мы сидели на низкой тахте, слушали музыку. Из патефонной коробки сочился тягучий хриповатый блюз. И от тихих ритмов его, и от выпитого, и от близости женщины — у меня медленно начала кружиться голова.

Осторожно, без глупостей, — предупреждал я себя заранее, еще с вечера... Но какое уж тут — осторожно! Был я молод и глуп, и сильно захмелел на этот раз. Ирина сидела рядом, почти касаясь меня плечом. Я, помедлив, положил руку на ее плечо. Еще подождал. И резким движением привлек ее к себе.

— Не надо, — проговорила она слабым голосом. — Зачем? Это все ведь для меня — не просто... Я не девочка; у меня семья. Тут через многое нужно переступить... Ах, я, наверное, кажусь тебе типичной провинциалкой!

Ирина загасила папиросу. И тотчас же, прикурила вторую. Затянулась порывисто — окуталась в дым.

— Лучше останемся пока друзьями. Ну, а дальше — будет видно... Ты ведь уезжать еще не собираешься?

— Да вроде — нет... Все, в общем-то, зависит от обстоятельств.

Она затихла, прислонясь ко мне. Возникла пауза. И в тишину проникло дуновение блюза; музыка была томительна, чуть надрывна...

Ирина вздохнула легонько. И потом — неожиданно — спросила шепотком?

- Кто ты, а? Откуда ты?

- Как, то есть, откуда, - усмехнулся я, - как - откуда? Из Москвы.

- Я не об этом...

- А о чем же?

- Я - вообще... Что-то в тебе есть такое, чего я не пойму. Какая-то тайна, что ли, какая-то скрытая печаль... Не знаю, не знаю. Словно бы ты - из другого мира.

Ну, начинается, - с досадой подумал я. - Как эти бабы все-таки чувствуют все, угадывают - удивительно! И тут же пришло искушение: "А может, хватит кривляться? Может, сказать ей правду?" Но какой-то новый, возникший из глубины голос остановил меня: "Нет, погоди. Была бы она твоя, была бы ручная - другое дело... Но пока не суетись. Самое главное сейчас: не наломать дров!"

Хмельная слабость моя прошла. Я убрал с ее плеча руку, и тоже потянулся за папиросами.

- Ты в Москве чем, конкретно, занимался? - допытывалась Ирина.

- Писал - как обычно. Еще рисовал немного. Я вообще-то, по специальности - график.

- А газету ты хорошо знаешь?

- В принципе - да...

- Так. - Она сдвинула брови - задумалась о чем-то. - Ну, а почему бы тебе не поработать, к примеру, у нас в редакции, а? Ты бы согласился?

"Конечно!" - хотел я крикнуть. Но - сдержался. И проговорил с ленцой:

- Пожалуй. Если найдется такая возможность...

- Я думаю - найдется. Но сначала надо подождать, пока пройдут стихи.

- А ты уверена, что они все-таки - пройдут?

- Еще бы! Раз уж я подписала...

- Но ты же сама говорила - о сюрпризах!

- Ах, это все пустяки... Да чего гадать? Воскресенье уже - сегодня. Ночь прошла.

Ночь прошла. И актерский шумный дом спал, был тих, когда я уходил от Ирины. Только у крыльца, в лиловой предутренней мгле, бубнили чьи-то голоса... Там, судя по всему, шел диалог двух педерастов. Один был чем-то обижен - визгливо сыпал упреками, а другой оправдывался и басовито ворковал.

Я ушел окрыленный... Впереди открывались кое-какие перспективы — и оставалось только ждать появления стихов.

Я ждал их с нетерпением, с жадностью. Но и с некоторой тревогой — тоже! Я ведь знал уже себя, свою участь, и все время пребывал в сомнениях. Что-то непременно произойдет в последний момент, — думал я с горькой иронией, — что-то обязательно случится! Или сгорит типография, или — помрет редактор...

Утром я поспешил к киоску. Схватил свежий, пахнущий типографской краской номер газеты — развернул его с треском. И не увидел своих стихов. Не нашел их.

Нет, в редакции ничего не изменилось; типография была цела, и редактор — жив по-прежнему. Имя его, набранное жирным шрифтом, стояло на привычном месте... И только моего имени не было нигде!

ЕСТЬ У ТЕБЯ ВРАГИ, НО ТЫ ИХ НЕ БОЙСЯ...

В тот же день мне позвонила Ирина.

— Обидно, конечно, — сказала она, — но вообще — так бывает... Газета есть газета! Наверное, не хватило места, поступили какие-нибудь срочные материалы... В понедельник я выясню. И все равно стихи твои на следующей неделе появятся, пойдут. Так что — потерпи!

И наступила, и прошла новая неделя. И терпение мое начало иссякать... И хотя я, при встречах с Ириной, старался выглядеть спокойным, — мне это, день ото дня, давалось все с большим трудом. Деньги таяли, уплывали с катастрофической быстротой! Режим экономии дошел до предела, и теперь я буквально сидел на хлебе и воде... А в гостинице на меня уже стали посматривать косо. И раза два спрашивали: когда же я, наконец, расплачусь за номер — погашу должок? И я стесненно и путанно лопотал что-то в ответ; объяснял, что ищу работу и сейчас денег нет, конечно, но скоро они обязательно

но будут!

Будут ли? — в этом я, признаться, вовсе не был уверен. С газетой дело безнадежно затягивалось (там мне постоянно что-нибудь мешало), а перехватить у кого-нибудь денжат, занять их — было практически невозможно. Шарора я больше не встречал; он обитал где-то на своей стройке. А редакционные ребята — те, с кем я пьянствовал по приезду, — ко мне заметно охладели, даже как-то стали сторониться меня...

Ну, а с Ириной говорить на эту тему мне пока не хотелось; мы с ней все-таки еще не были настоящими друзьями. Отношения наши, по сути, только начинались. Это все было так, словно бы где-то, далеко и неясно, дрогнула и запела тонкая струна. И хорошо расслышать ее, понять — было нелегко поначалу! Мешало расстояние — его следовало сократить... А для этого требовалось время.

Да и вообще все у нас складывалось не просто... После того, первого ужина, она уже не приглашала меня к себе домой; испугалась пересудов и сплетен (и в этом был, конечно, свой резон!) и, по той же причине, — избегала посещений гостиницы.

Теперь мы изредка встречались в заречном районе, у старого моста. Бродили там, в потемках, стояли на мосту, над кипящей, дымной, клокочущей Ангарой.

Было бабье лето — предосенняя, томительная пора. И над речными откосами реял тополиный пух, а небо перечеркивали, полосовали падающие звезды. Косые эти млечные огни густо сыпались из бездны и отражались в бешено мчащейся воде.

* * *

В один из таких вечеров Ирина протянула мне газетный, сложенный вдвое, лист.

— Посмотри-ка, — сказала она, морща губы в улыбке.

Я посмотрел — и вздрогнул от радости.

Наконец-то я увидел свои стихи напечатанными, набранными черным по белому. Увидел — в первый раз в своей жизни!

В газете помещен был цикл из трех стихотворений... Я тут же - в голубоватом лунном свете - перечел их заново. И медленно, со смаком, повторил вслух заключительные строчки:

... Пусть я в детстве грезил Амазонкой
Я помру влюбленный в Ангару.

И потом - повернется к Ирине:

- Вроде бы, ничего, - сказал с замиранием, - звучит... Как тебе кажется?

- Звучит, - отозвалась она. - В редакции, во всяком случае, понравилось всем. И самое главное - редактору! На утренней летучке он уже говорил о твоих стихах... Спрашивал меня: кто таков автор? Откуда? Ну, я объяснила: приехал, дескать, за романтикой.

- И что же - он?

- Сказал: романтики нам нужны.

- Ага. Значит - нужны... Хорошо!

- Насчет работы я, правда, еще не толковала с ним, - помолчав, сказала Ирина. - Тут нужна спокойная обстановка. А сейчас он занят; участвует в областном совещании пропагандистов и в редакцию заглядывает мельком, второпях...

- Когда же он, черт возьми, освободится? - нахмурился я. - Новое дело!

- Послезавтра... Вот ты тогда и приходи. Заодно и деньги получишь - будет как раз гонорарный день.

- Это тоже кстати, - пробормотал я с трудно сдерживаемым вздохом.

- А как ты вообще себя чувствуешь? - спросила Ирина. И легонько - ладонью - провела по моей щеке. - У тебя что-то вид нездоровый.

- Да ничего, пустяки, - отмахнулся я, - просто устал... Переутомился...

- Может, тебе деньги нужны? - вдруг предложила она. - У меня с собой немного, рублей пятьдесят всего... Но ты - если что - не стесняйся!

Впервые за все время нашего знакомства она заговорила об этом, заговорила сама. И случись такое чуть раньше - я бы, пожалуй, не удержался... Но теперь - что ж. Теперь-то я мог и обождать! Мог продолжить старую игру, сохранить свою прежнюю по-

зу. Ведь что было в ней, в этой позе? Прежде всего — желание преобразиться, скрыть свое прошлое и предстать в ином освещении. И, кроме того — чисто мужское, тщеславное стремление — выглядеть не хуже других!

Мне оставалось теперь перетерпеть всего лишь сутки — это было уже не страшно. И потому я сказал, усмехаясь:

— Нет, моя милая, мерси. Деньги — сама знаешь — зачастую портят дружбу. Не будем об этом!

* * *

Весело посвистывая, вошел я в гостиницу. Облокотился о конторку администратора. Протянул руку... И рука моя повисла в пустоте.

Администратор не поздоровался со мной — как всегда. И не подал ключа. Я спросил, настораживаясь:

— В чем дело?

— Не велено, — сказал он, сурово качнув головой.

— Что — не велено? — удивился я, — где мой ключ?

— Ключ здесь, — сказал он сухо, — но давать — не велено. У вас задолженность. И пока вы не рассчитаетесь...

— Послушайте, — сказал я, раздражаясь, начиная закипать. — Что за чертовщина? Я же ведь объяснил директору...

— Вот он-то как раз и распорядился!

— Я объяснил: все скоро наладится... И вообще, стоит ли спорить из-за пустяков?!

— Счет — это не пустяк, — возразил старичок-администратор, шурша за конторкой бумагами.

— Да что там — на этом счету? Сколько?

— А вот полюбуйте! — Он протянул мне мелко исписанный листок. — С вас причитается — за две недели. По четыре рубля в сутки...

Я взял листок — и резко скомкал его в пальцах. Сумма, указанная в счете, почти полностью совпала с той, что недавно только предлагала мне Ирина. И я даже застонал от досады, мысленно проклиная себя, свою незадачливость, свое дурацкое позерство

- Но... Как же быть? - протянул я затем. - В номере ведь мои вещи.

- Вещи пока останутся здесь - в залог.

- Так. - Я затынулся, закашлялся - захлебнулся дымом. - И где же мне теперь ночевать?

- Где хотите. Это уже не наша забота.

- Но верните хотя бы документы!

- Не могу. Директор их тоже приказал задержать...

Когда я покидал гостиницу, уже светало. Тянуло холодком. Над шаткими верхушками тополей, над дальними крышами крутился ветер - гнал с востока перистые, окрашенные в желтое облака.

Этот день я провел, бесцельно слоняясь по городу. Потолкался по базару. Затем - как-то невольно, невзначай, - прибрел к Ангаре. Ноги сами завели меня в знакомые маста... И там я и встретил следующую ночь. И улегся спать под старым мостом, на пологом откосе, поросшем пыльными, пряно пахнущими зарослями багульника.

Я спал на подостланной газете - той самой, где были опубликованы мои стихи! И эти первые черным по белому напечатанные строчки утешали меня и грели в ночи и навевали беспечальные сны.

* * *

Разбудили меня чьи-то визгливые вопли, яростная возня... Я раскрыл глаза, и увидел край ободранной длинной юбки. И рядом с ней - еще одну.

Две пары грязных босых женских ног топтались у моего лица. Я поспешно поднялся. Сел, позевывая. Полез в карман за махоркой.

Дрались две цыганки: пожилая, грузная - и молодая, вертлявая, шустрая, как мышь. Они кружились, вцепившись друг другу в волосы, и бранились горланно, - сыпали птичьими словами.

Поодаль сидел бородатый мужик - смуглый, горбоносый, в пестрой жилетке. Он переобувался, вытряхивал мусор из сапога. И на бабью эту склоку не обращал ни малейшего внимания.

Цыганки дрались. Летели клочья волос. Клубилась сухая, едкая пыль. Подол рваной юбки мазнул меня

по глазам - и я отодвинулся с неудовольствием и спросил, поворачаясь к мужику:

- Это - твой?

Он молча кивнул, изучая сапог, пробуя ногтем крепость подошвы.

- Чего это они - спозаранку?

- А хрен их знает. - Цыган лениво повел плечом.

- Бабы, одно слово!

- Но ты хотя бы выясни...

- А зачем?

- Все-таки - дерутся!

- И пущай.

- Но так они, пожалуй, долго еще не остановятся...

Цыган, сопя, натянул сапог. Похлопал по голенищу. И только теперь посмотрел на меня, мигнул черным, круглым, галочьим глазом.

- Ты еще, видать, зеленый, молодой; эту породу не знаешь. Начни их удерживать, они вовсе не утихнут. Никогда! А так - побесятся, устанут, и самим надоест. Главное, чтоб - устали!

Цыганки и действительно скоро устали и успокоились. И уселись возле нас, отпыхиваясь, приводя себя в порядок.

Та, что была помоложе (узколиция, с высокими скулами, со свежей царапиной на шее), покосилась на меня. И потом - придвигаясь - спросила:

- А ты, кучерявый, чего здесь ночуешь? Или податься некуда? Или прячешься от кого?

- От кого мне прятаться? - возразил я, поморщившись. - Так случилось... По пьянке... Бывает!

- Бывает, - согласилась она. И улыбнулась - длинно, лукаво, поигрывая бровью. - А вот я тебе, драгоценный, погадаю! Все тебе открою, алмазный, - всю правду. Что будет, что тебя ждет... Позолоти мне, касатик, руку!

Все эти цыганские трюки мне давно были знакомы, я когда-то жил в таборе и насмотрелся там всякого... И отлично знал, что большинству гадалок верить глупо, смешно. Знал это - а вот, поди же, не устоял, поддался уговорам. Все-таки будущее меня сильно интересовало!

Я нащупал в кармане последнюю, заветную, аккуратно сложенную трешку. И колеблясь, протянул ее

цыганке... Та сейчас же затрещала картами - раскинула их на траве.

И зачастила привычной, бойкой, наглой скороговорочкой:

- А будет тебе, яхонтовый, полная удача во всем! Нечаянная радость и нежданная любовь...

Она запнулась, помедлила, нахмурилась. И вдруг добавила - непонятно:

- Есть у тебя враги, но ты их не бойся! А бойся ты, касатик, своих друзей.

ПРИВЕТ, ШАРАМЫГА!

В кабинете заведующего отделом литературы толпилось много народа. Я встретил здесь Лева и бородатого фельетониста, и писателя с папкой, и еще каких-то незнакомых мне людей. Однако самой Ирины не было. И когда я поинтересовался - где она? - Лева сказал, протирая очки:

- У главного... Подожди.

И как-то странно посмотрел на меня - остро, пристально, изучающе...

Фельетонист спросил, попыхивая трубкой:

- Ну, видел уже свои стихи?

- Видел, - сказал я, улыбаясь.

- Рад?

- В общем, да. - Я смущенно пожал плечами. - Натурально...

- Что ж, подборочка получилась интересная, - медленно сказал Лева. И уже дала резонанс... Пришли первые отклики.

- Какие отклики?

- Да вот, прочти-ка сам!

Лева взял со стола письмо и протянул его мне. На конверте значилось: "Иркутск, газета "Восточно-Сибирская правда", поэту Михаилу Демину". Ого! - обрадовался я, - вон оно как - сразу!... Кто же бы это?

Конверт был вскрыт и слегка помят; в него, видимо, уже заглядывали... Нетерпеливо извлек я оттуда письмо. И тотчас же в комнате наступила тишина.

Теперь все, притихнув, смотрели на меня. (Лева прищурился выжидательно. Фельетонист вынул трубку изо рта — задрал торчком бороду. Писатель с папкой застыл, не мигая.) И под обстрелами многих этих глаз я развернул послание и — холодея — прочел:

"Привет, шарамыга! Вся наша кодла в восторге. Мы прочли твои куплеты в газете и рады, что ты, наконец, раскрутился, победил и сумел доказать этим блядям, фрайерским этим мордам, что настоящие урки тоже не лыком шиты, и талантов у нас навалом, и культуры то же самое, хватает, — хоть отбавляй. И вот ето мы разъяснили начальнику режима, и он, гад ползучий, с ходу завял, стушевался, аж позеленел. Он ведь тебя знает, помнит еще по штрафняку на Курейке. И он сказал: не может того быть! А мы ему, ублюдку, сказали: вот, гляди! И потом смеху было на весь барак... А куплеты у тебя складные. Не хуже Пушкина. Так что, давай, держись, и шуруй в том же духе!"

Подписи под текстом не было. (Да она и не требовалась — я сразу узнал старых своих друзей!) Но откуда письмо могло прийти так быстро? Я посмотрел на обратную сторону конверта и увидел корявую надпись: "г. Ангарск, арматурный завод, 17, О.Л.П."

— Где он находится, Ангарск? — спросил я, вертя в пальцах злополучное это послание.

Было общее минутное молчание. Затем фельетонист пробасил:

— Тут, недалеко, под самым Иркутском... Это новый город — только еще строится. Там пока что одни лагеря.

— Так. — Я постоял, не поднимая глаз. И круто повернувшись, шагнул к дверям. — Ну, ладно... Пока!

Вот и все, — думал я, идя по коридору, — вот все и кончилось... Письмо, конечно, эти подонки прочли. И теперь уже ничего не поправишь. Весь мой маскарад — насмарку... Удружила мне кодла, поднесла подарочек, лучшего не придумаешь!

На повороте, за углом коридора, я лицом к лицу столкнулся с Ириной. Вид у нее был растерянный.

— Послушай, что все это значит? — торопливо, задыхаясь, начала она. — Откуда у тебя такие друзья? Это странное письмо...

- А ты его тоже читала?

- Ну, да! Я его первая и открыла. Сама открыла... Прости.

- Но - зачем, зачем ты это сделала?

- Ах, не знаю. По глупости... Из любопытства... Увидела на обороте буквы - О.Л.П. - и почему-то подумала, что это женские инициалы. Какая-нибудь Ольга Леонидовна Петрова... А это - мне Лева потом объяснил - оказывается, просто лагерь.

- Отдельный Лагерьный Пункт, - уточнил я. - Старая аббревиатура...

- Так ты, что же, - оттуда? Из этих? - Она вздохнула, озабоченно поджала губы. - Я вообще-то догадывалась, подозревала... Стало быть, все - правда?

- А хотя бы, - сказал я жестко, почти с вызовом. - Что это теперь меняет? Все равно, дела кончены.

- Ну, не совсем, - проговорила она, запинаясь, - не совсем, я думаю. Но скандал действительно случится. Я вот только что разговаривала с главным редактором. Он меня упрекал в отсутствии бдительности. Газета - орган партии, а мы открываем доступ в нее непроверенным людям...

- Уже и до главного дошло, - усмехнулся я.

- Да. Сразу. Это Лева постарался! Как только увидел письмо...

- А когда оно, кстати, пришло?

- Сегодня, с утренней почтой. Часа за полтора до твоего прихода.

Значит, в то самое время, - отметил я про себя, когда я сидел с цыганами под мостом - трепался с ними, гадал. Не задержись я там, пожалуй, я еще успел бы придти и перехватить его... Все получилось - одно к одному! Ах, обманула меня гадалка, налгала, напутала. Наобещала черт-те что... И только в одном она все же оказалась права: если мне и следовало кого-нибудь бояться, то - не врагов, а своих друзей! Только их. Именно их.

Я свернул (теперь уже не стесняясь) толстую цыгарку из махры. Закурил, затянулся со всхлипом. И сказал, глядя в дышащие, скользящие ее зрачки:

- В общем, так, Ирина. Сейчас для меня самое важное - деньги. Укажи-ка, где тут касса.

- Вот тут тоже - сложность, - сказала она тихо. - Редактор приказал не выдавать тебе гонорар, пока ты не зайдешь к нему.

- Но чего он хочет?

- Побеседовать... И здесь я вижу некоторый шанс.

- Какой же?

- Ну, вы поговорите... Может быть, найдете общий язык... Все-таки стихи ему твои нравятся. Главное, повести себя правильно! И я думаю, сегодня идти не стоит. Лучше - завтра. Но предварительно, нам надо увидеться; ты мне расскажешь все, и мы вместе выработаем дальнейшую программу... Идет?

Я сказал, разбивая, рукой едкий махорочный дым:

- Устал я, Ирина. Надоело притворяться, что-то выработывать... Все просто. Да, я - такой! Да, я сидел! И недавно только освободился, и хочу теперь нормально жить, начать печататься. Но, как видно, ничего не выходит. И хватит. Не будем об этом!

- Нет, будем, - возразила Ирина. - И нам обязательно надо сегодня увидеться, все обсудить! Только вот, не знаю, - когда? И как?.. - Она задумалась, - прикусила нижнюю губу. - Дело в том, что сегодня приезжает с гастролей театр. Так что вечером, к одиннадцати, я должна быть на вокзале. Ну, а потом...

В этот момент кто-то окликнул ее из глубины коридора, и она заспешила. И махнула мне, уходя:

- Я позвоню. Может быть - с вокзала... Не знаю, откуда.

- Но - куда? - поднял я плечи.

- Как куда - в гостиницу!

- Но я там уже не живу, - пробормотал я, глядя ей в спину. И так и не понял: расслышала она или нет.

* * *

Вечером я снова заглянул в гостиницу; попытался еще раз объяснить, потолковать - проникнуть в свой номер.

- Мне могут позвонить сюда! - сказал я директору. - И звонок это важный. Неужели же нельзя - хо-

тя бы на этот вечер?...

— Нет, нельзя, — заявил директор. — Закон есть закон. Здесь, учтите, не частная лавочка, а государственное учреждение. Вот расплатитесь по счету — и живите себе на здоровье; пользуйтесь телефоном и всеми удобствами. Только так! И не иначе!

И добавил — с угрожающими нотками в голосе:

— А иначе — если вы затянете с оплатой — мы будем вынуждены передать ваши вещи и документы в милицию. Уж там они взыщут с вас, найдут способ! Они умеют.

— Я думал, все можно устроить по-доброму, — проговорил я устало.

— Так я — добрый! — хохотнул он, — я-то, как раз, добрый! Другой на моем месте не стал бы ждать ни одного часа. А я, все-таки, иду на уступки, даю вам фору.

— Но если уж давать фору, — сказал я, — то — по-настоящему...

— Это вы о чем же? — прищурился он, — это вы все — насчет своего номера? Там уж, милок, живут. — Он махнул пухлой, белой, лоснящейся своей ладошкой. — Там уж все занято... И не будем тревожить клиентов!

— Хорошо, — сказал я, — не будем... Но тогда разрешите, я сам позвоню — отсюда.

— Это можно, — кивнул он, — только быстро!

Я набрал иринин номер — и долго, тоскливо, вслушивался в гудки, звучащие из черной мембраны.

Ирина была сейчас единственным в городе человеком, который — как мне думалось — мог хоть в чем-то мне помочь, дать совет, сказать что-то доброе... Мне нужен был ее голос! Я жаждал его услышать.

Но голос этот молчал.

* * *

На улице я встал, поживаясь. Поднял воротник пиджака. И хмуро глянул в ночное небо.

Погода портилась. Дул порывистый, зябкий ветер и в вышине — затмевая и слизывая звезды — расплзалась густая, косматая мгла. Она пахла влагой;

судя по всему, дело шло к дождю.

Все повторяется, — думал я. — Проклятая жизнь! — С тех пор, как я освободился, я только и делаю, что брожу по ночным, по пустынным, по чужим городам... Вот так же точно, минувшей зимою, я потерял крушение в Красноярске и не знал, куда податься, и мыкался — один, без друзей и без денег. И была зябкая, ветреная тьма, и маячили огни вокзала... Вокзал! — я вдруг ожил, встрепенулся, вспомнив о нем. — Вокзал всегда выручал меня. И выручит на сей раз. В такую погоду ночевать у реки, под мостом, как-то очень скучно... Лучше уж я проведу эту ночь в тепле и на людях. И, кстати, там же — может быть — встречу Ирину!

ВОКЗАЛ

Я знал, был уверен: вокзал меня выручит, спасет от одиночества, пошлет мне кого-нибудь... И он послал! Почти тотчас же.

Когда я, в зале ожидания, пробирался меж пассажирами (отыскивая на лавках местечко — поудобнее), меня окликнули:

— Эй, Чума! Это ты ли?

Я оглянулся — и увидел Солому.

С человеком этим вы уже знакомы, я много о нем рассказывал! Он сопровождал меня во все годы прежней скитальческой жизни. Был при самом начале воровской моей карьеры (в Ростове) и при конце ее, при последнем акте (на Красноярской пересылке, в крупном сибирском фильтрационном лагере). Там мы с ним и расстались. Я уходил на свободу, а он — ждал нового этапа. Ему оставалось тогда, по моим подсчетам, еще года два. Очевидно, я ошибся, перепутал сроки. А может, произошло что-то неожиданное...

Да уж не был ли он в бегах? Но нет, вряд ли. Если так — он вел бы себя иначе, и не выглядел бы столь вызывающе.

Он стоял посредине зала — высокий, худой, в зеленой, сдвинутой на бок шляпе, в клетчатом, легком, небрежно распахнутом плаще. И был он в пунцовом галстуке, в желтых перчатках и в апельсиновых

башмаках! И одной рукою опирался он о зонтик, а другую — наполеоновским жестом — заложил за борт полосатого пиджака.

Солома отчетливо выделялся на сером фоне толпы — и она обтекала его, бурля и не затрагивая.

Я воскликнул, подходя к нему:

— Вот так встреча! Даже не верится... Ну, здравствуй. Рад тебя видеть.

— Я — тоже, — сказал Солома, повесив зонтик на руку и стягивая тесную перчатку. — Привет, малыш!

— Сухие, костлявые щеки его морщились, лунообразный рот улыбался. — Вот, говорят: гора с горой не сходится...

Мы обменялись рукопожатием. Я тут же спросил:

— Откуда ты? Куда?

И он ответил уклончиво:

— Проездом...

И больше я ни о чем не стал спрашивать; блатная этика не велит проявлять излишнее любопытство. Все, что можно сказать — произносится сразу. И уточнения здесь не уместны.

— Я, кстати, не один, — проговорил он. И обернулся медленно — кивнул кому-то. И сейчас же из толпы выдвинулись двое (этих я видел впервые!), столь же пестрые, разряженные, как манекены.

Они приблизились, обступили меня. Состоялась краткая процедура знакомства. А затем мы — всей компанией — направились в станционный буфет.

* * *

Наконец-то я сидел в тепле — и среди своих. И обстановка была уютная, мирная. И на скатерти матово поблескивал пузатый, запотелый от холода графин. И заполняя весь столик, громоздилась еда — множество еды! — розовая, в белых мраморных прожилках ветчина, слезящийся сыр, остро пахнущая, копченая рыба. И всякие колбасы. И пупырчатые огурчики. И зеленые салатные кружева...

При виде всей этой роскоши у меня от голода схватило кишки; стало даже как-то муторно, нехорошо. Я ведь ничего не ел уже два дня. Да и до того долгое время жил впроголодь... И теперь я — ощутив

мгновенное головокружение — потянулся к закускам, наложил полную тарелку, соорудил себе гигантский бутерброд.

Наполнив водкой стаканы, Солома возгласил торжественно:

— Со свиданьем!

Мы чокнулись со звоном. Выпили. И он спросил меня — собрав у глаз добродушные морщинки:

— Ну, малыш, рассказывай — как твои успехи?

— Да ничего, — отвечал я набитым ртом, — все нормально...

— Видать, не так уж нормально, — проговорил с сомнением один из спутников Соломы. И цепким, оценивающим взглядом осмотрел меня всего — помятый мой пиджачок, несвежую рубашку, изможденное, жадно жующее лицо...

Я почти физически ощутил этот его шарящий взгляд — и перестал жевать.

Нет, даже здесь я не мог себя чувствовать свободно, раскованно — как встарь! Я теперь вынужден был кривляться перед своими, так же, как и перед чужими... А что мне оставалось? Я отбилсь от старого берега и не прибился ни к какому другому. И самое главное было теперь — не выказать слабости, скрыть свой голод. Скрыть голод, вы представляете, каково это?! Особенно, если ты — за столом. И стол этот сплошь заставлен яствами, буквально ломится от них! И все тебе здесь доступно, стоит только протянуть руку...

— А ты, вообще-то, чего тут делаешь — на бану? — поинтересовался Солома, — едешь, что ли, куда?

— Нет, хотел одну знакомую встретить, — сказал я. — Журналистку... У нас с ней дела...

— Дела, значит, идут? Печатаешься?

— Да вот — начинаю.

— Здесь, в Иркутске?

— Здесь. В областной газете.

— Ну и как же тебе плотют? — спросил другой спутник Соломы. — Можно хоть жить-то?

— Можно, — сейчас же, с ухмылочкой, отозвался первый. — Как на лагерной баланде, знаешь? — Жить будешь, но бабу... не захочешь! Да и чего тут спрашивать?

Он звучно икнул, провел по соевым губам ла-

донью. Затем извлек из верхнего кармашка пиджака цветастый платочек и — развернув — аккуратно вытер им руки.

— Чего спрашивать? Сам, небось, видишь: как его тут держат, чего ему плотют... Стоило ли ради этого бросать роскошную жизнь? Хрен на хрен менять — только время терять.

— Кончайте треп, жиганы, — сказал тогда Солома, — что вы во всем этом смыслите? — И строго из-под нависших бровей посмотрел на своих партнеров. — Ваше дело курочить замки. А литература — не про вас. Это работенка особая, тонкая, непростая... И у поэтов всегда так бывает: начало трудное, но зато потом... Я это могу подтвердить. Все-таки я — как старый онанист и ценитель Есенина — знаю, что такое творческая жизнь! Читал кое-что. Читал... И знаю этого пацана — как он сочиняет. И верю в него! Ведь не зря же вся босота — от Колымы до Черного моря — поет его песни... А это тоже что-нибудь да значит!

Он подморгнул мне весело. Взял графин — встряхнул его и точным движением разлил по стаканам остатки.

— И хватит размазывать по столу жидкую кашу. Давайте-ка лучше рванем — за фарт, за удачу! За то, чтобы фортуна улыбалась всем — и нам, и ему.

Вот какую речь произнес ростовский этот медвежатник! Хорошо он сказал, хорошо. Я посмотрел на него с благодарностью. С ним мне всегда было легко. По возрасту Солома вполне годился мне в отцы, и относился ко мне с неизменной добродушной снисходительностью. При нем я как бы вечно оставался мальчиком, юнцом. И воспринимал это его старшинство безропотно; вероятно, потому, что оно было — добрым?..

Внезапно из репродуктора, висевшего надо мною, зазвучал металлический голос: "Внимание! Объявляется посадка на владивостокский экспресс, отходящий в 23.15 со второго пути... К платформе №1 прибывает поезд, следующий по маршруту..." И тут же я спохватился, вспомнил об Ирине. И сказал, поднимаясь:

— Чуть было не забыл!... Пойду, прошвырнусь по перрону. Надо встретить кое-кого...

Я сказал так - и уловил в глазах у ребят какое-то беспокойство. Они быстро и молча переглянулись меж собой. И я осекся и мгновенно понял, в чем суть.

* * *

В чем же она? Здесь мне придется разъяснить вам кое-что. Дело в том, что мои отношения с преступным миром были вовсе не так уж светлы и безоблачны, как это может показаться. Я ведь был - "завязавший", выбывший из закона.

Вообще говоря, отойти от коды, "завязать", по воровским правилам, может каждый. Теоретически тут нет проблем. Но на практике - их множество. И все они сложны. И чреваты тяжкими последствиями.

Очень опасно, например, покидать кодлу накануне готовящегося серьезного "дела"... И столь же рискованно - уходить сразу после него! Любая неудача, постигшая блатных (провал, разоблачение), может быть тотчас же приписана "отошедшему", поставлена ему в вину.

И самое страшное здесь то, что он - будучи обвиненным в предательстве - по существу, не может уже оправдаться; начисто лишен такой возможности!

Так что лучше всего не уносить с собой ничьих секретов и тайн. А это, конечно, не просто... Ведь нельзя же, согласитесь, жить в сплошном мире тайн - и не приобщиться ни к одной!

Словом, для того, чтобы уход был легок - надобно тщательно и точно выбирать момент... Мне в этом смысле повезло. Я завязал в относительно спокойное время, в период затишья. Да и к тому же произошло это в лагере. Ничьих секретов я, стало быть, не унес, никто от меня, в общем, не зависел. И опасаться меня не было причин.

Хотя - как сказать! С точки зрения блатных, сомнителен всякий, кто не входит в кодлу. И особенно тот, кто не входит в нее, но - общается с нею...

Вот таковым я как раз и был сейчас - для спутников Соломы! С ним-то самым все обстояло проще... Но и он тоже (я знал это отлично!) - случись

что-нибудь — спокойно, не колеблясь, отдал бы меня на расправу... А скорее всего расправился бы со мною лично. Все с той же добродушной улыбкой. Как старый мой друг и учитель.

Нет, здесь, сейчас, мне нельзя было ошибиться ни в чем, ни в едином слове, ни в малейшем движении... Внезапный мой порыв — уйти, отлучиться, мог быть расценен ребятами, как некая уловка... А может, у меня — контакты с милицией? А может быть, я стучу? Кто знает, куда я действительно собираюсь идти?

И потому я, помедлив и закурив, сказал, обращаясь к Соломе:

— Слушай, а ты не хочешь — со мной, а? Это не-долго... Пройдемся, покурим, еще поговорим.

* * *

Мы прошлись с ним по перрону. Покурили. Поговорили еще о моих планах и вообще, — о жизни.

— В крайнем случае, — сказал он, — если уж ничего не получится, не пойдет, — возвращайся к нам. Приезжай в Ростов. Я как раз еду туда.

— Нет, Солома, — проговорил я, — нет... Да и кем я теперь буду — там, у вас? На каких правах?

— Ну, не знаю, — поджал он губы. — Будешь — при мне...

— При тебе! — Я усмехнулся сумрачно. — А если тебя не станет — что тогда?... Нет, дружище. Я отбилсь от старого берега, и поворачивать назад — уже поздно. Или я выплыву, прибьюсь к другому, или — потону, подохну. Ну, а подохну — туда и дорога! Не жаль! Значит, не смог, не сумел; чего жалеть неудачников!

Я вздохнул, огляделся медленно. Ирины не было нигде (очевидно, я проглядел ее, пропустил), и перрон уже опустел. Только у вокзальных дверей толпились какие-то личности — все в одинаковых блестящих плащах, в серых кепках, в высоких сапогах... Надо было уходить.

— Мусоров развелось, — глухо проворчал Солома, — прямо, беда!

И он загасил окурок и поежился.

- Пойдем-ка, рванем еще по одной - по отходной.
И я буду отчаливать.

- Ты когда едешь?

- В двенадцать. С московским.

Мы направились к дверям. Но тут дорогу нам преградил человек в плаще. Коснулся пальцем козырька и сказал:

- Минуточку... Ваши документы? Попрошу! - Внимание его, очевидно, привлек Солома; на меня он почти не глядел...

- Пожалуйста, - спокойно отозвался старый взломщик. Отворил полосатый свой пиджак. Порылся в нем. И ленивым жестом протянул агенту какие-то бумаги.

Тот просмотрел их придирчиво. И возвратил владельцу. У Соломы все было в полном порядке. У него-то - да! А вот у меня...

- Нету, - сказал я, разведя руками.

- Как так - нету? - нахмурился агент.

- Да вот так. Нету и все.

- Ага. Ну, тогда вам придется пройти, - заявил агент.

И сейчас же кто-то - сзади - прочно взял меня за рукав.

ШЕПОТ СУДЬБЫ

- Ну, так где же твои документы?

- Не знаю... Потерял.

- А где ты, вообще, проживаешь? По какому адресу?

- Я - нездешний...

- Откуда ж ты?

- Издалека, - сказал я, стараясь выглядеть как можно наивнее (по-блатному это называется "делать голубые глаза"). - Разве это важно?

- А ты этого не понимаешь? - последовал встречный вопрос. - Ай-яй... Так откуда ж ты, все-таки, а?

И тогда я назвал первый пришедший на ум город. Говорить правду было опасно; мне вовсе не хотелось наводить милицию на след!

Приведший меня агент (он сидел, склонясь, за

столом - составлял протокол задержания) поднял голову и прищурился иронически:

- Ну, а приехал-то зачем? На гастроли?

- Да нет, просто - ищу работу.

- Ищешь работу... Ну, ясное дело! Ты вот что скажи... - Он подался ко мне, помедлил несколько. И потом: - Того человека, с которым ты был на перроне, ты хорошо знаешь?

- Н-нет. Вовсе не знаю.

- А что же вы вместе делали?

- Ничего... Разговаривали.

- О чем же?

- Уж и не помню. О погоде, о бабах.

- Вот так вот - запросто - с незнакомым?

- С незнакомыми только и говорят - о погоде да о бабах! - ответил я, глядя на агента честными голубыми глазами. - О чем же еще?

- Конечно, конечно. Но с незнакомыми все же не проводят весь вечер за одним столом в буфете... Как ты объяснишь эту деталь?

- Да причем здесь - какие-то детали? Вы мне скажите: что вам, в принципе, нужно? Чего вы добиваетесь?

- Немногого... Хотим знать: куда он едет, каков его маршрут?

- Этого он мне не сообщил. А я не спрашивал - уж, извините.

- Помочь нам, значит, не хочешь, - задумчиво проговорил агент. - Что ж, пеняй на себя... А теперь, подпиши-ка этот протокол! - Он небрежным щелчком перебросил через стол бумагу. - И, кстати, попытайся ответить еще на один вопрос... Как это так: документов у тебя нет никаких. И нет ни жилья, ни работы. И вид - затрапезный, жалкий - а денег, при обыске, обнаружено много? Откуда они?

- Понятия не имею, - пожал я плечами.

- Они, очевидно, свалились сами, из воздуха?

- Да, пожалуй, что так...

Вот это я сказал вполне искренне! Я и в самом деле не понимал: каким это образом в левом кармане моего пиджака очутилась вдруг плотная пачка сотенных? Для меня это явилось полной неожиданностью. Скорее всего, ее украдкой сунул туда Солома. Скорее всего! Но почему же - украдкой? Может

быть, потому, что он не хотел меня обидеть; он ведь знал мой характер...

Укладывая подписанный протокол в папку с надписью "Дело № 80-63", агент сказал:

- Изъятая сумма наводит на некоторые размышления. Четыре тысячи новенькими купюрами, в банковской упаковке, - у такого бродяги! Это серьезно... Наверняка деньги похищены.

- Ну, это еще надо доказать, - возразил я по-нуро.

- Конечно, надо! - подхватил агент. Он произнес эту фразу нараспев, почти - с восторгом - выделяя и акцентируя слово "надо". - Обязательно надо! Еще бы! Но это - не сложно. Мы просто подождем, когда поступит заявление от потерпевшего... И вот тогда...

- Ну, а если никаких заявлений не поступит? - сказал я. - Сколько вы вообще намерены меня держать?

- А сколько потребуется! - Собеседник мой улыбнулся, обнажая крупные желтые лошадиные свои зубы. - Тут мы ничем не ограничены. Ты у нас засел прочно, надолго. Пока установим твою личность, пошлем запрос в центр, получим ответ, - воды утечет много.

* * *

Все повторяется, - думал я, входя поздней ночью в камеру. - И с каждым разом - все хуже, все губительней и безнадежней... И если в Москве у меня еще были хоть какие-то шансы, то теперь уже - надеяться не на кого и не на что. Я пойман. Я крепко пойман. И, в сущности, почти приговорен. Ведь личность мою они, так или иначе, установят - и узнают, что я успел уже трижды нарушить закон! Да и, кроме того, - эти деньги... Милиция будет ждать теперь заявления о пропаже. Ну, а вдруг заявление поступит? Такое всегда может случиться; вокзалов без жулья не бывает! Или - еще страшнее... Соломатю ведь по специальности медвежатник. А пачка эта - в банковской упаковке! Что, если он, - не дай Бог - колупнул какую-нибудь кассу? И дело вскоре раскроется? Тогда уж мне ни в жизнь не оправдать-

ся. Никогда не доказать, что я здесь - человек случайный... И чего меня понесло на этот вокзал? Но, с другой стороны, куда ж мне было - сироте - деваться? И откуда ж мне было знать, что все идет по такой крутой спирали?

- За что тебя? - спросили меня урки.

- Да так... Не повезло, - отвечал я туманно. - Сами знаете, братцы, как бывает, когда нет везения.

- Знаем, - позевывая в кулак, проговорил мой сосед по нарам, плосколицый и узкоглазый - по кличке Хан Батый. - Дело известное. Если уж не повезёт - на родной сестре триппер поймаешь!

* * *

Вот так начались мои арестантские будни. Я сидел в отделении железнодорожной милиции; до выяснения личности в тюрьму меня пока не переводили... И всю следующую неделю - регулярно - вызывали на допросы. Снимали отпечатки пальцев, фотографировали (анфас и в профиль), подробно описывали "особые приметы" - все мои наколки и росписи...

Когда я "играл на рояле" - давал снимать оттиски - я подумал вдруг: а может, сказать им, что документы мои - в гостинице? Прекратятся хотя бы все эти тягостные процедуры... Но тотчас же я сообразил: нет, признание теперь ничего уже не изменит, пожалуй, только - ухудшит. Увидев мой сомнительный паспорт, они сразу же во всем разберутся - и колесо завертится еще быстрее! А так у меня в запасе есть хоть какое-то время... И милиция все-таки это еще - не тюрьма! Тут попроще, тут ближе к воле.

На что я рассчитывал? Трудно сказать. Может быть - на какую-нибудь ошибку властей, на внезапную перемену... Не знаю, не знаю. Но в нашей жизни часто так бывает: в преддверии перемен мы как бы слышим некий странный голос... Звучит он по-разному. Иногда это колокол, иногда это шепот. Но всегда сигнал - предупредительный и мгновенный. И вся беда в том, что мы, как правило, не можем его

оценить и понять. Громовой колокольный удар зачастую ввергает нас в смятение, пугает... А торопливый шепот судьбы мы попросту не успеваем слышать.

И вот теперь — ничему уже, в сущности, не веря — я все-таки ждал какого-то такого сигнала, боялся его упустить!

Ждал, когда грянут колокола... И услышал ночной, торопливый шепот.

* * *

Шептались двое: мой сосед Батый и другой, лежащий поодаль.

— Завтра банный день... Но поведут нас не в тюремную баню, а в простую, общую, — как раз возле вокзала.

— Почему? — это спросил Батый. — Что случилось?

— Да понимаешь, тюрьма и пересылка сейчас переполнены; пришли три новых больших этапа...

— Откуда ты это узнал?

— Знаю! Все точно! Мне одна знакомая шалава сказала — из третьей камеры, где проститутки сидят... Да ты ее видел! Она обычно полы в дежурке моет.

— Ага, ага, — забормотал Батый, — так, так, так... Ах ты, черт возьми, вот это новость! Значит, она...

— Да. Все слышала. Там, в дежурке, лягавые при ней суетились, звонили куда-то.

— Когда ж она тебе об этом сообщила?

— Да нынче, во время оправки. Помнишь — мы задержались в коридоре? Ну вот... Табачок еще пульнула... — Послышалось шуршание, возня, хруст рвущейся бумаги. — Закуришь?

— Давай.

И тут я сказал, приподнимаясь на локтях:

— Дайте-ка и мне попробовать: что это за табачок — из блядской камеры? Каков он на вкус, на запах?

— Так ты не спишь, оказывается? — поворотясь ко мне и протягивая кисет, проворчал Батый.

— Нет.

- И - все слышал?

- Да.

- Ну и... Что думаешь? - Раскосые, в припухших веках, глаза его сузились, превратились в неразличимые щелки.

Я сказал, свертывая толстую папиросу:

- Что ж, ребята. Такой случай выпадает один раз в сто лет! И упускать его нельзя. Мне - во всяком случае... Может, хоть теперь, наконец, - повезет?! Но разумеется, надо все заранее обдумать, взвесить.

- Вот, вот, - отозвался Батый. - Тут промахиваться нельзя. И у меня есть один план...

Он поманил меня пальцем, и я придвинулся. И потом - тесно сгрудившись - мы долго лежали, обсуждая детали. Блатные не боялись меня; они ведь не были знакомы с моей биографией и приняли меня, признали, по внешним, так сказать, признакам! Основную, решающую роль, сыграли здесь мои манеры, лексика, общий профессиональный стиль; он был отчетлив и безупречен, и, к тому же, у нас - как и всегда и всюду - сразу же нашлось немало общих знакомых...

Мы лежали, покуривая, в самом дальнем, темном углу камеры, и Батый шептал:

- Конечно, раз эта баня нормальная, вольная, - будет усиленный конвой! На рывок не уйдешь, нужна хитрость... И мне - я думаю - подсобит один корешок. Он как раз работает в этой организации.

- Это что ж за организация? - поинтересовался партнер Батыя - белобрысый и жилистый парень, носящий прозвище Сверчок.

- Банно-прачечный комбинат, - веско ответил Батый. - И человек мой работает там электриком. Усекаете, братцы? То-то. Теперь вот надо как-то ухитриться - послать ему ксивенку, предупредить...

- Ну, это-то я сделаю, - пообещал Сверчок, - утречком. Через мою шалаву. Ее как раз завтра выпускают.

- А твой электрик, он вообще-то - надежный? - поинтересовался я. - Ты ручаешься?

- Ручаться можно только за мерина и за печь, - сказал Батый, - печь не уведут, а мерина... - он усмехнулся, - беременным не сделают... За кого в

наше время можно ручаться? Но вообще-то я его давно знаю. Он старый барыга. И мне кое-когда помогал — толкал темные тряпки. А теперь я ему должен остался. И должок не малый... Так что помочь мне — прямая выгода. Ему, ка-а-нечно, куда интересней видеть меня вольным, а не запертым!

— Но что же он сможет? — проговорил в задумчивости Сверчок.

— Это электрик-то? — хохотнул Батый. — Да все! Не понимаешь? Все!.. Дал бы только Бог, чтоб нас повели ночью.

ПОБЕГ

Нас повели ночью.

Здание бани (громоздкое, повитое мглой) было сплошь оцеплено стрелками. И в вестибюле, и в предбаннике — там, где мы раздевались, — тоже толпилось множество охранников. Я сказал растерянно:

— Ого, да тут целая армия. Трудновато будет, пожалуй...

— Ерунда, —дохнул мне в ухо Батый. — Не тушуйся! Ты только раздеваться не спеши; тяни до последнего... Понял? А когда начнется — рви по коридору налево, к дверям котельной. Помнишь план?

Я помнил план. Он был разработан весьма тщательно. Здесь нам крупно помогла подружка Сверчка. Глуповатая на вид, бабенка эта проявила редкостную активность и расторопность... Выйдя на свободу утром, около девяти, она уже в обед принесла передачу, и там мы обнаружили записку электрика и схему здания, начертанную им на клочке тончайшей папиросной бумаги.

В соответствии с планом, через полчаса, после нашего прихода в баню, повсюду сразу отключился свет. И мы, под покровом темноты, должны были прорываться в котельную. А оттуда — во внутренний двор. За ним находился овраг, и туда вела широкая труба для ливнестока — дюкер. Ну, а дальше начиналась путаница складских помещений, пакгаузов. И в том районе мы уже были бы в безопасности. На

всякий случай, сообщил электрик, он приготовил для лягавых еще один сюрприз... Так что главное заключалось в том, чтобы не оплошать поначалу, не ошибиться в самый первый момент!

* * *

Все, в общем, получилось - точно. Внезапно возникшая тьма породила панику. Заметались, сталкиваясь, смутные фигуры. Чей-то хриплый, сорванный голос завопил протяжно: "Слушай мою команду! Перекрывай выходы!.." Но было уже поздно: мы, трое, успели проскользнуть в коридор.

Спустя минуту, мы находились уже в дюкере - в недрах широкой бетонной трубы. Здесь пахло сыростью и гнилью. Звучно сочилась влага. И темнота была тут особенно плотной, густой, почти осязаемой на ощупь.

Вдруг она ослабла и поредела. На бетонных вогнутых стенах - освещая подтеки грязи - заплескали жидкие желтые отблески.

Сверчок (он шел последним и был ближе всех к краю трубы) воскликнул шепотом:

- Братцы, а ведь баня-то - горит!

- Ага, - широко улыбнулся Батый, - вот он - сюрприз! Что ж, это толково придумано, грациозно. Теперь уж мусорам - не до нас...

- Но все равно, застревать здесь рискованно, - заметил я, зябко поеживаясь. (Я ведь был раздет до пояса, и пиджак и рубашку держал, туго свернутыми, под мышкой.) - Давайте-ка, приведем себя в порядок, и отваливаем - рвем когти!

Я быстро оделся. Затем мы осторожно выбрались в овраг. И вскоре были уже далеко от горящей, рушащейся бани. Там клубился розовый дым, раздавалась пальба... Может - искали нас? Или кто-нибудь еще воспользовался случаем?

На тихом пустыре, за пакгаузом, группа наша разделилась. Блатные пошагали в город, а я - в противоположную сторону. Нет, с ними мне было не по пути...

Какое-то время я брел вдоль железнодорожного полотна - покуривая, ждал попутного поезда. Ночь

была тиха, безоблачна, вся в лунном серебре. Пахло землей и мазутом. Холодно поблескивали рельсы. Их было много здесь, в "полосе отчуждения", они переплетались и скрещивались, и напоминали сверкающую лапшу.

И вот в отдалении возник силуэт локомотива. Вспыхнули, приближаясь, огни. Звонящий гул прошел по вздрогнувшим рельсам.

Это был товарный состав — порожняк. И двигался он не шибко, только еще набирал скорость. Я отшвырнул окурок, примерился. Вскочил на подножку открытой платформы. И вдруг увидел краем глаза стелющиеся по земле голубоватые искры...

— Что это? — удивился я, повиснув на поручнях, — неужто и здесь тоже пожар?

Но нет, это просто вспыхнул — подожженный моей папиросой — последний тополиный пух. Вспыхнул и тут же погас. Сгорел до тла, без остатка, так же точно, в сущности, как и все мои нынешние надежды и планы.

* * *

На полустанке (когда поезд притормозил у семафора) я украдкой перебрался в соседний пустой "телячий" вагон. И мимоходом успел подслушать разговор двух кондукторов. Состав, оказывается, гнали в Красноярск. Маршрут подходил мне, годился. И я решил весь этот путь (он, кстати, был не долг — всего лишь сутки езды!) провести, отлеживаясь в вагоне, — затаюсь, укывшись от греха...

Показываться на глаза людям я боялся: меня ведь могли искать. Ах, я всего боялся в тот момент! И возможной погони и каких-либо новых случайностей.

И куда поезд полз по восточно-сибирской равнине, пока он посвистывал и гремел, наматывая на колеса версту за верстой, я лежал во тьме — и все думал, думал. Думать было о чем.

Третья моя попытка не удалась, и я знал теперь, что предпринимать четвертую — уже просто нельзя. Это будет слишком опасно! В следующий раз я наверняка вляпаюсь в такую скверную историю, из которой мне потом уже вовсе не выбраться. То, что случи-

лось, это еще цветочки – ягодки впереди... Я ведь все время иду по спирали, и она закручивается все туже и туже... А это неспроста! Судьба, очевидно, судила мне совсем иной путь – прямой. И прямой этот путь – тот самый, от которого я так упорно уклоняюсь: путь в ссылку, в тайгу.

Что ж, быть по сему. После трех последовательных поражений спортсменов – как правило – сходит с круга, выбывает из игры. Видать, и мне пора опомниться, забыть свои бредни, отречься от них – и начать простую, безыскусную жизнь. Профессиональная литература – не мой удел. Это бесспорно. И будь она проклята, коли так. Будь проклята она – и бабы тоже!

Поразительное дело, – размышлял я, валяясь на шатких скрипучих вагонных досках, – почти все мои неудачи так или иначе связаны с ними – с бабами! Вечно из-за них мне приходится срывать с места, бежать... Таежную экспедицию я покинул из-за Анны, жены начальника. Из Москвы уехал по вине Наташи, – в связи с ее предательством. А здесь, в иркутской истории, роковую роль сыграла Ирина.

В самом деле – не вскрой она самовольно этого письма, все бы, наверное, сложилось иначе, пошло бы по-другому. Да и на перрон я припелся из-за нее, из-за нее! И не нашел ее там, не встретил – почему? Может быть, она испугалась, sluкавила, не захотела больше связываться со мною?

Ее я не нашел... Но зато встретил вокзального агента!

И все-таки при мысли о ней я испытывал не гнев, а скорее какое-то недоумение, чувство растерянности. Как же так получилось? Ведь что-то же у нас намечалось, что-то брезжило поначалу! И ничего не вышло. Ничего. Все кончилось. А жаль.

Струна, запевшая когда-то, теперь вдруг оборвалась. Она оборвалась – но остался какой-то отзвук, смутное эхо... И незаметно (под частый, четкий перестук колес) дребезжащая эта грустная нота стала обретать размер, воплощаться в стихотворные ритмы.

* * *

Я вот сказал: от профессиональной литературы я отрекся, проклял ее. Это правильно. Я отрекся всерьез! И долгое время оставался верен своей клятве... Но что же мог я поделать с самим собой — с неистребимой тягой моей к сочинительству? Ведь отказаться от себя нельзя, невозможно! Да я вовсе и не хотел отказываться... И тогда — в товарном вагоне — как-то непроизвольно, легко, стали у меня рождаться стихи. В них снова ожил тополиный город, проступала из тьмы Ангара и старый мост — над нею...

В дороге наметились лишь отдельные, разрозненные строфы. В целом же эта вещь созрела и оформилась — позже, потом... И пройдут годы. И мы опять, случайно, встретимся с Ириной. И она — совсем уже увядшая, беловолосая, — спросит меня, печально, кутаясь в платок: "Куда ж ты исчез в тот вечер? Понимаешь, все тогда неожиданно изменилось, и я на вокзал вообще не пошла. Сидела допоздна в редакции — звонила тебе... И ждала твоего звонка. Думала, ты догадаешься — где я. И на следующий день мы вместе с редактором ждали, что ты придешь, появишься... Но ты пропал. Как в воду канул... Ах, ты все время со мной хитрил — с начала и до конца!"

И затем, зажмурившись и словно бы плача беззвучно, она будет слушать эти стихи... Папиросы, Диккенс, крепкий чай. Тишина. А за окном ненастье. В форточку, распахнутую настежь, хлопья залетают невзначай. Снег валит. И вдруг, сквозь свет лиловый, возникает город тополевый. Много лет прошло, а вот, поди же, до сих пор я мост иркутский вижу! В хлопьях белых, в тополиной вьюге, сколько раз стояли мы вдвоем. Говорили — каждый о своем. Думали упорно друг о друге... Ветер был. Он бился о железо. Воду волновал у волнореза. И была тревожно-холодна и ясна ангарская волна... И бела была твоя рука. Пухом опушенный у виска, снежным нежный завиток казался. Ты сказала: "Позвоню с вокзала". И ушла. И не было звонка. Вот мне и остались по ночам, — папиросы, Диккенс, крепкий чай. Что еще? Тот мост, твои слова... Ты ушла... А может, ты — права? И лицом прижавшись к мокрому стеклу, именем твоим я окликаю мглу.

Часть 4

ЕСЛИ ГОСПОДЬ ЗАРОНИЛ В ТЕБЯ СВЕТ...

Как я мерз,
ах, как я мерз, бывало!
Спал в снегу и плутал в пургу,
песни пел я, и застывала
кровь на лопнувшей коже губ.

БЕЛЫЕ КЛЮЧИ

В Абакане — пыльном деревянном степном городке — я сразу же, не раздумывая, направился в Управление Внутренних Дел.

Городок этот представлял собою административный центр Хакасской автономной области и здесь, таким образом, были сосредоточены все правительственные учреждения. Имелись тут — между прочим — и областное издательство, и редакция газеты "Советская Хакассия". Проходя по центру города, я увидел пышную вывеску с названием газеты... И отвернулся. Не захотел даже смотреть на нее! И удалился, не дрогнув и не замедлив шага, лишь суеверно — трижды — плюнул через плечо.

Метания мои кончились. Я шел теперь — по прямой!

* * *

В Управлении меня, оказывается, уже ждали.

Пожилой, весь какой-то высохший, с худыми запавшими щеками, майор (я тотчас же мысленно окрестил его "скелетом") сказал:

— Где же ты болтался, а? Телефонограмма из Москвы пришла месяц назад. И с тех пор мы ждем... Что случилось?

- Да так... Не повезло, - начал я по привычке, - сами знаете, как бывает...

Но тут же я сообразил, что стандартная эта фраза выглядит здесь нелепо. И переведя дух - добавил быстро:

- Со мной, собственно, что произошло? Я, понимаете ли, заболел в дороге. Сильно заболел. И валялся все это время у каких-то чужих людей... И... да! И тогда же потерял все свои вещи и документы.

- Потерял документы? - недоверчиво переспросил Скелет, - и все вещи? Это ты-то, старый поездной вор?

- Во-первых, я уже не вор, - воскликнул я. - А во-вторых... ну, случилось так... Судьба! - (Вид у меня при этом был обиженный, и глаза - ярко голубые!) - В конце концов, каждый ведь может заболеть, свалиться, попасть в беду... Я не живой человек, что ли?

- Ладно, - сказал Скелет. И костлявой своей ладонью хлопнул по столу - по пачке бумаг. - Это все пустяки. Документы потом выдадим... Да это - не к спеху; тебе ведь они сейчас ни к чему! Главное - что? Главное - то, что ты наконец появился! Еще бы недельки две ты вот так "проболел" - и нам пришлось бы объявлять республиканский розыск. А что это значит, ты сам, надеюсь, понимаешь!

Так мы с ним потолковали недолго. Потом он подошел к висящей на стене карте области и на миг задумался перед нею.

В центре карты размещалось большое желтое пятно: оно обозначало степь. А по сторонам, заполняя все оставшееся пространство, простиралась сплошная зелень тайги, испещренная горами, ручьями и реками. Самой крупной водной артерией Хакассии был Енисей. Притоком его - речка Абакан. А в нее, в свою очередь, впадал извилистый, путанный Аскиз, берущий начало в верховьях Саянского хребта... Я рассматривал все это с интересом; здесь мне теперь предстояло жить. И кто знает - сколько? Может быть - весь остаток своих дней?

Видит Бог - картина мне эта, в общем, понравилась. Она была живописна - Хакассия! Она была велика! Судя по масштабам, обозначенным на карте, территория ее превышала Швейцарию. Одним своим

краем на севере она граничила с Красноярским краем, а другим — на юге — почти вплотную примыкала к Монголии. От Монгольских границ ее отделял узенький (в двести километров) кусочек гористой Тувы. Да, здесь пахло просторами, угадывался истинно сибирский размах...

Скелет сказал, искоса глянув на меня:

— Ты как вообще-то намерен — серьезно жить, правильно? А? Без фокусов?

— Конечно, — сказал я, — именно — так.

— Хочешь все начать — по-новому?

— Да...

— Ну, тогда я думаю предложить тебе вот этот вариант... Гляди!

Узкий сухой его палец скользнул вдоль ниточки Аскиза и уперся ногтем в очертания Восточно-Саянского хребта, в самое сердце водораздела.

— Вот тут, в селе Белые Ключи, есть леспромхоз. Он молодой, только недавно образовался... Так что все у тебя будет теперь — новое!

И потом — прижмурив один глаз:

— Из Москвы нас специально просили посодействовать тебе, помочь... Не знаю уж — почему. Кто-то там о тебе заботится... Что ж, мы тоже, — как видишь — проявляем внимание, заботу.

— Ничего себе, забота, — пробормотал я кисло. — Загоняете черт-те куда!

Хакассия мне, конечно, понравилась, — но все же район, выбранный Скелетом, выглядел очень уж диким, глухим. В самом сердце водораздела! Это было уже слишком... Случилось как раз то, чего я опасался с самого начала: меня упрятывали далеко, надежно. Отрезали от мира — напрочь!

— Все для твоей же пользы, — сказал Скелет. — Учти! Только для этого... Поживешь в горах, на природе, в стороне от соблазнов, — поработаешь лесорубом — может, что-нибудь из тебя и получится.

— Может быть, — проговорил я устало. Я был сейчас на пределе и едва держался на ногах, и уже плохо соображал, что к чему... Сказались недавние волнения, тревоги, голод. — Делайте, как хотите. Отправляйте хоть в преисподнюю... Я разве спорю?

— И хорошо, — покивал Скелет, — и правильно. Спорить с нами не надо. Это к добру не ведет!

Белые Ключи оказались довольно крупным селом, расположенным в долине Аскиза и окруженным пологими, поросшими лесом, горами. Местность здесь напоминала бушующее море: горы вздымались и опадали, и уходили, чередуясь, за горизонт — словно зеленые волны. И клубящийся по вершинам туман, он был, как морская пена. И ветер нес оттуда несмолкаемый рокот и гул.

В долине обитали староверы, иначе именуемые — кержаками.

Секта эта давняя, родившаяся еще при царе Алексее Романове, во время раскола. Отделившись от Никонианской — обновленной церкви, приверженцы старой веры ушли тогда в леса и поселились на реке Керженец (отсюда и название — кержаки). А затем, скрываясь от преследований, — двинулись дальше, перевалили через Урал и, наконец, осели в Сибири, в самых диких, труднодоступных местах.

Между прочим, в азиатской этой глуши было несколько старинных русских сел, и — вот любопытная деталь! — каждое из них принадлежало какой-нибудь религиозной секте. Нормальная, классическая, православная церковь здесь как-то почти не прижилась; она сохранилась лишь в городах, в местах более или менее цивилизованных.

В тайге имелась, например, секта "скопцов", — кастратов с бабьими голосами и пухлыми лицами. Они стерилизовали себя во имя Господа нашего; ради спасения души и избавления от первородного греха.

Компания это была сугубо мужская. Хотя как их, собственно, назвать мужчинами? Лишившись главного своего признака — лишившись пола — они утратили многое... И единственная страсть, оставшаяся им, — была страсть к наживе, к накоплению. Скопцы жили крепко, богато, расчетливо. И славились в тайге, как самые ловкие спекулянты и беспощадные ростовщики.

Существовали также "хлысты". По отношению к скопцам они являли собою полную противоположность. Суть их веры заключалась не в отрицании секса, а наоборот — в самом активном его применении. Сборища их происходили в особых тайных поме-

щениях, лишенных окон. Мужчины и женщины отбирались в равной пропорции. И сначала они творили молитвы, а потом начинали истязать себя, бить хлыстами, винясь перед Богом и бичуя грешную плоть... Постепенно верующие впадали в транс. Затем свет гасился, и начиналась всеобщая свалка, экстаз, групповая "любовь", именуемая на языке сектантов - радением.

"Радеть" - на старорусском языке значит - "стараться"... Вот так они "старались" все ночи напролет. И дети, неизбежно появляющиеся в результате общих радений - считались уже детьми Бога. На земле официальных отцов не имели... Да ведь и то сказать, легко ли разобраться, кто - с кем и кто - кого в безумной этой свалке и абсолютной тьме?!

Были в Хакасии и другие секты, например, - пятидесятники, адвентисты, молокане. Но пожалуй, самыми своеобразными - неожиданными для меня! - оказались общины, исповедующие иудаизм.

Они образовывались уже в нашем веке - незадолго до революции. В ту пору, как известно, нередко вспыхивали волнения среди обнищавшей части российских крестьян. И вот некоторые из них - протестуя против социальных несправедливостей - отреклись от православия, демонстративно приняли чужую религию и переселились на Восток. В здешней местности имелось два таких поселения и оба они именовались одинаково - Иудино. Говорят, что об этом позаботился сам Государь Николай Второй; он, якобы, специально распорядился первоначальные названия этих сел заменить одним - стереотипным.

Сибирские "иудеи" производили странноватое впечатление. В самом деле: представьте себе угрюмого лесного мужика с медвежьим голосом и широким, простецким, типично славянским лицом, который носит библейское имя Соломон, ходит в традиционной ермолке и отращивает неряшливые, никак не вяжущиеся с его обликом, пейсы. Он хлещет водку лихо - по-сибирски - но закусывает только "кошерной", обескровленной курочкой. Имеет истинно русскую душу, но чтит субботу и выполняет все еврейские ритуалы - вплоть до обрезания.

Мне вообще непонятно было - зачем это, в качестве политического протеста, непременно нужно ли-

шать себя невинного куска кожи. Какой здесь смысл? Но, впрочем, что ж искать во всем этом какой-то смысл, какую-то логику? В религиозных зигзагах вообще много таинственного, мистического, недоступного разумному анализу. Тут действуют особые закономерности и звучат иные мотивы.

Зигзагов, как видите, было немало; сектантство в Сибири процветало широко, держалось прочно. И этому, бесспорно, способствовали географические условия: гигантские расстояния, глушь, удаленность от центра...

Наиболее многочисленной и разветвленной группой — во всем этом сонмище — являлись, конечно же, кержаки. Они проникли в тайгу раньше других, пустили более глубокие корни. Они были сплочены, суровы, фанатичны и хранили, помнили старые вековые традиции. (А традиции эти известны. Когда-то их далекие предки — обороняясь от властей — сжигали себя в лесных погостах, на Повенце и на Керженце. И этот запах человеческой гари стоял надо всей петровской эпохой!)

Они не признавали новшеств, крестились, как и встарь, двумя перстами. И не курили; видели в табаке бесовскую траву "никоциану". И не пили кофе. "От кофе на душе — ков", — вещали они. А ведь "ков", по-старинному, это оковы, кандалы! И чай они тоже не пили: "Кто пьет чай — отчаётся". И заваривали брусничный или смородиновый лист.

И была в здешних краях какая-то особая, тайная тропа кержаков — "Мирская тропа". О ней окрестные жители говорили с опаской; у нее была недобрая слава... Она вела за Саянский хребет, за туманные вершины Ала-Тау. А начиналась тропа эта возле Бельих Ключей.

* * *

Я жил на самом краю села; новые, дощатые, наполовину еще пустые бараки леспромхоза стояли за сельской околицей.

В селе находилась, так сказать, старая Русь... А здесь — за околицей — новая! И основным контингентом ее являлись ссыльные и вербованные.

Ссыльные — это, в принципе, бывшие лагерники.

С прослойкой этой вы уже немного знакомы. А вот – вербованные – несколько иная, более сложная, социальная категория. Она состоит из неудачников и всякого рода отщепенцев; из людей, потерпевших крушение на жизненном поприще, потерявших себя и добровольно ищущих перемены мест и новых занятий... Такую возможность государство им предоставляет охотно – ему ведь постоянно нужна рабочая сила! И потому почти в каждом городе страны существуют специальные вербовочные конторы, по найму людей на отдаленные северные стройки, рудники и в леспромхозы. А так как неудачников всегда полно, и отщепенцы у нас тоже вовек не переводятся – конторы эти не пустуют. Они функционируют бесперебойно, перегоняют людские массы из густонаселенных районов – на окраину, в тундру, в лесную глухомань.

В бригаде лесорубов, где я теперь трудился, представлены были все социальные прослойки. Причем, каждая – по паре – как в Ноевом Ковчеге!

Тут имелось двое вербованных: бригадир Федя, приехавший из-под Москвы, и веселый гитарист Пашка – из Одессы. Пара бывших лагерников – я сам и некий Костя Протасов. Двое сектантов, ушедших из своих общин – "иудей" Соломон и кержак Иннокентий (в просторечии – Кешка).

Было также и несколько пар туземных жителей – хакасов и тувинцев – однако с нами они не смешивались, держались замкнуто и жили в стороне...

Мы же, россияне, все помещались в одном бараке, но (так как места было достаточно) каждый – в своей отдельной камерке.

Я обитал в угловой, самой дальней от входа, комнате. Так мне было спокойней; никто не мешал, и ночами, в тиши, я мог читать любимые книги, пересматривать старые рукописи. (Кстати – о рукописях. Я забыл сообщить вам, что все мои вещи и документы, в конце концов, вернулись ко мне – пришли по почте! Сразу же по прибытии в леспромхоз я раздобыл денег – занял их у ребят – и немедленно перевел на адрес иркутской гостиницы.)

Но я, конечно, не только рылся в старых своих бумагах; я помаленьку набрасывал и новые стихи и прозу... Проза уже начала привлекать меня в ту пору, и для нее я завел специальную тетрадь.

МИРСКАЯ ТРОПА

— Черт знает... а? Кешка? Уж не заблудились ли мы? Гляди — забрели в какую-то трущобу...

— Ничего. Я тут бывал.

В полумраке — путаным, заросшим ущельем — шли трое. Над головами их висли кремнистые глыбы, поскрипывал под ветром ивнячок. На западе — слева — оранжевою полоской догорало восресенье. Справа лиловою глыбой горбился перевал. На склонах его тревожно гудела тайга. Густое месиво облаков шевелилось в седловине водораздела.

Облака кипели и пенились, и медленно стекали в долину.

— Гроза идет, — сказал Федя. И посвистал негромко. — А тут, как в ловушке. Хлынет по ущелью вода — сразу затопит. Не выскочишь, не уйдешь.

— Вообще-то конечно, — согласился Кешка. — Если хлынет... Но — погоди.

Он ступил на обломок скалы, вытянул шею — понюхал воздух.

— Гроза пока идет стороной. Ее к Аскизу относит. Ветер западный... Ничего, успеем!

— Ты уверен? — спросил третий.

— Не бойсь, — усмехнулся Кешка. Небрежно повел плечом, поправляя ружейный ремень. И пошагал дальше.

Третьим был — я. Мы возвращались с охоты. Шли, вслед за Кешкой, одному ему известным путем; по лесным завалам, по руслу старого высохшего ручья.

Мы часто так бродили втроем: бригадир Федя, бывший военный моряк, широкогрудый, медлительный, с руками, словно бы свитыми из железных жил; я... Ну, меня вы знаете! И молоденький, щуплый, востроносый этот кержак. Нас сблизила общая любовь к тайге, неистребимая охотничья страсть. Да мы и вообще все время держались вместе. Самым сильным в нашей компании был, конечно, Федя, а самым тихим — Кешка... Он настолько был тих и застенчив, что я

однажды сказал ему: "Послушай, чего это ты - такой? Тебя толкнул, а ты - извиняешься... Нельзя!" - "Почему?" - спросил он, помаргивая белесыми своими ресницами. "Потому что слабых здешняя публика не уважает. А если ты все время извиняешься - значит, слаб. А если слаб - тебя уже не боятся. А раз не боятся - будут вечно тобой помыкать. Понял? Учись огрызаться!" Он покивал задумчиво - но, в общем, так и не переменялся... Однако таким вот, застенчивым и нескладным, он был на людях, в бригаде; в тайге же Кешка преображался неузнаваемо. Лицо его твердело, суровело, поступь обретала звериную бесшумность и легкость.

Он знал природу. "Старики у меня кряжистые, угрюмые, - говаривал он, - вся их жизнь - как у волков - в лесу. И меня они тоже ни в школу не пускали, ни на работу, никуда! Круглый год одно: смолокурничаем, рыбачим, пушнину промышляем, и все дела! Потому я и убег - хочу другую жизнь повидать... А к тайге вот все же - преклонен". Да, он знал природу; мыслил и чувствовал слитно с ней, с просторным этим миром, - разговаривал с деревьями, слушал траву, понимал голоса и запахи.

- Гляньте-ка, медвежья метка!

Кешка остановился внезапно. Пригнулся. И сильно потянул ноздрями воздух.

- Совсем недавно прошел косолапый. Теплое еще... - Теперь он сидел на корточках, натужно шарил по земле рукою. - Ага, ага! Орехи ел! Вон скорлупы сколько - пощупайте-ка сами...

- Ладно, - сказал я, поеживаясь, - чего там. Пошли.

Рванул и затих в ивняке ветер. И загасил зарю. И тотчас густая зябкая мгла до краев затопила ущелье... Федя сказал, прикуривая:

- А ведь не дай Бог затеряться здесь одному... - Он поднял лицо от ладоней, швырнул спичку - по сторонам шатнулись мохнатые тени. - Особенно одному! Да еще - без пути. А если какая тропа, тоже неизвестно - куда выведет...

И он, озираясь, тронул осторожными пальцами дробовик.

- Кеш, а Кеш, - проговорил он затем, - а что это за Мирская тропа такая? Я давно о ней слышу.

Какая-то, говорят, особенная тропа была в этих местах.

— Мирская тропа? — Кешка замедлил шаг. И странно во тьме блеснули его глаза. — А вот мы как раз идем по ней, по этой самой тропе.

Я оглянулся медленно. Под откосами, смывая очертания, гнездилась темнота. Она была густа и тревожна. Что-то двигалось в ее недрах — похрустывало, подрагивало, скрежетало...

— Ну, — спросил я, — и что?

— А то, что ежели б, к примеру, попали вы сюда годков двадцать-тридцать назад, тут бы вам и конец. Отсюда бы уж вы не вышли.

— Это-то почему такое? — строго спросил Федя.

— Да вот так.

— Ну, а все же?

— Погодите, ребята, вы только гляньте: ночь-то какая!

Ночь обволакивала влажными шорохами. Вот впереди забила крыльями — шарахнулась неясная тень. Поверху, по кромке ущелья, шелестело прерывисто, настороженно... Что это было? Может, просто — ветер?

Кешка спросил, непонятно к чему:

— Ты, Федь, сам отколь?

— Из Подмосковья, или забыл? Я сюда после демобилизации попал, по вербовке.

— Что ж так?

— Вернулся домой, а там — карусель. Баба с соседом спуталась... Ну, я пошумел и плюнул. И ушел. А куда идти? Гляжу, объявление о найме на сибирские стройки... Вот и подался сюда. И в общем, вспоминать теперь нечего: все — зола.

Помолчали. Каждый думал свое. Скрипел под ногами валежник. Где-то во тьме пугалась птица — вскрикивала диковинным голосом; вскрикнет и затаится. И опять. И опять... Незримого движения и тайн полна была эта ночь. И с каждым шагом она становилась все холодней и сумрачней, и казалось, не будет ей края.

— Глушь, дикость, — сказал я, — а все-таки люблю... Люблю Сибирь! И ни на что ее не променяю. Такой охоты, как здесь — в целом свете не сыщешь!

— Вот так же и предки мои думали, — заговорил вдруг Кешка. — Ты верно сказал: такой охоты нигде

не съешь. И когда они явились сюда - а было это давно - им сразу тут приглянулось. Ну и верили они, что вот так-то, в тихости и благолепии, царить им до скончания времен.

Лица Кешки не было видно в ночи, но угадывалась в его голосе необычная, торжественная суровость. Он говорил негромко, чуть затягивая слова, - так рассказывают древние легенды.

- И вот однажды случилась история... Прибрел к нам в село человек - слабый, крепко застуженный. Недельку отлеживался в тепле. А когда собрался уходить, созвал мужиков... Я-то этих делов не знаю, меня тогда и в помине не было. Про это все мне бабка рассказывала - вечерами, потаенно от всех... Когда собралась община, человек этот (она звала его Безбородым) достал из котомки тряпицу. Развернул, на стол покатались самородки. "Берите! - сказал Безбородый. - Вы спасли мне жизнь." - "В тайге за ночлег не платят, - возразили старики, - зачем обижаешь? Тебе идти далеко, а это, видать, последнее..." Тогда он сказал: "Хорошо. Весной я приду снова. Я нашел в здешних горах богатую россыпь. И обещаю вам: я одарю вас по-царски!" Вот этого обещания давать ему было не надо; оно встревожило всех... О чем-то шептались кержаки. А затем появилась самогонка. Гуляли всю ночь. И Безбородый, захмелев, тянул нездешнюю варнацкую песню... Я помню ее - бабка порой напевала мне тихонько:

По Сибири долго шлялся
каторжанин молодой.
Полюби ты меня, чалдонка,
Я налетчик золотой.
А если ты меня полюбишь,
не побрезгуешь ты мной,
мы пойдем с тобой, чалдонушка,
по дороге столбовой.
Где достанем, где добудем,
где обманем чудака,
где купца в лапти обуем, -
все возьмем наверняка!

Хрипло и диковато прозвучал в тишине кешкин голос. Он запнулся, примолк, словно бы вслушиваясь в ночь. И затем:

- Значит, ушел Безбородый. Простились с ним перед утром. И провожать его отправился мой дед, Антоний. С тех пор Безбородый в Белых Ключах не появился. А через год в тайге - вот в этом самом ущелье ребяташки наткнулись на мертвеца. Ходили за ягодой и нашарили невзначай в буреломе. Человек был свален выстрелом в спину. Волчий заряд картечи начисто снес ему затылок, глаза и губы выели муравьи. Они покрывали лицо его сплошной шевелящейся массой... А рядом, в ворохе гнилого тряпья, валялись золотые самородки. Понимаете, те самые самородки! Ну, ясное дело, ребяташки подхватили их, приволокли домой. И тогда собралась община, и заговорил Антоний: "Золото, - сказал он, - это дьявольский соблазн, адское прельщение. Там, где золото, там всегда - люди. А древняя наша вера, она живет в тайности, в стороне от суеты. И нам не нужен сторонний мир, и каждый человек оттуда - враг. И каждый, кто забредет на Мирскую тропу, пусть на ней и останется... Пусть никто вовек не знает про это проклятое золото! - Вот как он говорил. - Будем стражами веры!" И долго затем старики творили молитвы, и были бабы, и жалась ребятня по углам... И с тех пор на этой тропе - вплоть до самого перевала и дальше, по пути к Туве, - стали тайно пропадать пришлые люди. Забредет случайно человек в эти места - и конец. И все. Сколько их так-то вот пооставалось в тайге - не счесть!

- Ого, - сказал Федя, - вон оно как... - голос был жесткий, чужой. - И что же - неужто так все с рук и сходило?

- Чудак, - проворчал я тогда, - здесь же ведь Сибирь! Закон - тайга, прокурор - медведь. Верно, Кешка?

- Верно, - кивнул тот. - Власти в эти края никогда почти не заглядывали... Правда, когда сгибли трое геологов из Красноярска, начался шорох: приезжала полиция, были допросы... Чуть было деда моего не повязали... Но тут как раз подроспела революция.

- И что же после? - спросил Федя.

- Ну, а после все перевернулось. Сами понимаете: гражданская война, потом - разные стройки,

рудники, то да се... Хлынул народ отовсюду... Что ж тут поделаешь? После гражданской старики, правда, пытались еще продолжать — но ничего не вышло.

— Не удержали, стало быть, границу?

— Какая уж тут — граница! Году в тридцатом кокнули было двоих (одного на Ала-Тау, другого здесь, неподалеку), но тут такое началось, ой-ой! Пересажали почти половину села. Конфисковали все оружие... Дед мой Антоний сразу попал под следствие — и так и не вышел, помер в красноярской тюрьме.

Низкое, струящееся над нами небо словно бы поблекло и отодвинулось. В кустарник, над кромкой ущелья, вкрались зеленые просветы. И постепенно — из редеющей сумеречи — проступило скуластое крепкое федино лицо. У Кешки — под бровями и на впалых щеках — легли плотные тени.

— Так вот какой тропой мы прошли, — сказал медленно бригадир. — Вот какой!

— Да, вот такой, — невнятно пробормотал Кешка.

В этот момент — где-то очень близко — заурчала машина. Мигнул короткий огонь. Ущелье распалось, и обозначилось просторное урочище, ведущее к лес-промхозу.

— А что ж, — улыбнулся вдруг Федя, — неплохо все-таки прошли. — И он потряс увесистой, пестрой связкой битых уток и глухарей. — Неплохо! Сделали все, что надо, и вернулись вовремя, без хлопот.

— Слава Богу, — сказал я, вспомнив кешкин рассказ. — Грозу пронесло стороной...

АВТОБУС

Суббота. Жители Бельх Ключей собираются в район-центр — на базар.

В стареньком рейсовом автобусе — гомон и толчея. Он набит битком и уже готов к отправлению... Но вот снаружи раздается певучий звон баяна. И

сейчас же по автобусу прокатывается волна всеобщего оживления.

- Филя!

- Давай, сердешный, шевелись!

- Ну, теперь будет представление, - ухмыляется бородатый, весь заросший рыжей шерстью, мужик, сторож здешнего селпо.

Филя возникает в дверном проеме: осторожные, нервные, ищущие руки, щуплое, иссеченное морщинами личико. Он весь облит солнцем, лишь в глазных красноватых впадинах - тень, густая, как стоячая вода.

Взобравшись, он ощупью - запрокинув лицо - отыскивает свободное место. Натывается на девчат. И говорит, кривя презрительно рот:

- Опять все лучшие места захапали... Опять - бабы... И-и-эх, подлое ваше сословие!

Автобус вздрагивает от смеха. Мужчины смеются сочувственно, женщины - легко и беззлобно.

- Чего они ржут? - шепчу я, наклоняясь к Кешке. - Нашли, над чем смеяться!

- Да нет, тут не то, - поясняет он, - они не насмеются, они - жалеют.

С минуту Кешка молчит. Розовеет лицом. И подавшись ко мне - говорит в половину голоса:

- Это давняя история. Ее здесь каждый знает. Понимаешь, мать у Фили красotka была. Первая в районе! Ну, вот, и когда затяжелела - испугалась. К знахарям начала тайно ходить, травиться всякими травами, настойками. Красоту блюла, потерять боялась...

И опять он умолкает. И потом - стесненно шевельнув бровями:

- Не хотела, вишь ты, рожать, а он однако родился. Но - плохой. Слепой, какой-то весь болезненный... И не любит баб - ненавидит их люто. Одно он любит - музыку. Очень он ее тонко чувствует. А бабы, что ж... Они его, конечно, жалеют.

Его и действительно жалеют: усаживают поудобнее, даже под спину подтыкают какую-то рухлядь.

В последнюю минуту (когда уже взревел, напрягаясь, мотор) подоспевает, запыхавшись, высокая женщина в белой шали, и за руку с ней - лет восьми мальчонка... Они пристраиваются сразу же у вхо-

да. И мгновенно мальчишка, распустив губы, прилипает к смотровому стеклу.

Машина трогается, лязгая и грохоча. Белые смерчи встают над дорогой. За поворотом начинается тайга — и в окна льются густые косматые хвойные тени.

Постепенно стихает, утрясается все в автобусе. И тогда, сквозь родниковое журчание голосов, становится слышен медленный разговор.

— Мам, а мам! А в кино мы пойдем?

— Ну, конечно. Как обычно.

— Да-а, обычно! А в прошлую субботу я ждал, ждал, — а ты вообще не приехала.

— А ты скучал по маме?

— Угум... А в кино мы прямо сразу пойдем?

— Ну, не сразу. Отдохнем, умоемся. Посмотрел бы, на кого ты похож!

— А ни на кого. Это я с ребятами на эстакаду бегал — там трактор сломался...

— Как это тебя пускают? Где же бабушка была?

— На огороде.

— А папа?

— Так он всегда на работе.

— А приходит поздно?

— Кто?

— Ну, папа... С работы поздно приходит?

— Да по-всякому. Не знаю. Я его больше по утрам вижу.

— Саня! Сиди нормально, не ерзай! По утрам, говоришь... А может, он и вовсе не приходит?

— Как так — не приходит?

— Ну, по ночам... Задерживается где-нибудь... Занят, работы много — ясное дело!

— Откуда я, мам, знаю? Работы вообще много — это он сам говорил... Глянь-ка, глянь, что это вон там? Аскиз? Ну, да. Какой широкий!...

— Ах, да помолчи ради Бога! Не видел Аскиза, что ли?

Мальчишка возится у окна, он изнывает от восторга. И вовсе не глядит на мать. А та, закутавшись в платок, думает о чем-то своем. И по лицу ее, перемежаясь, скользят пятна света и тени, и оно, поочередно, то блекнет, тускнеет, то вновь высвечивается, тронутое солнцем.

Она сидит отрешенная, задумчивая, и не замечает, что давно уже — весь автобус — примолкнув, с жадностью вслушивается в тихую их беседу.

— А почему ты, мам, редко приезжаешь?

— Так ты же, Санечка, знаешь. Не имею времени... Учусь...

— Ага. Знаю. Еще тогда папка кричал: учить надо! Учить! А после я подсмотрел... Ты чего это, мам?

— Ничего. Так... Соринка в глаз попала... Зачем же ты подглядываешь за взрослыми? Нехорошо.

Она отворачивается резко. И потом:

— Смотри, Саня, Аскиз! Вот какой широкий...

Автобус, гудя, проносится над речным откосом, разворачивается круто — и въезжает в предместье районного городка.

Последний ухаб. Ликующий вопль:

— Мамка, слазим!

Метнувшись, застывают на полу косые солнечные брызги. И она уходит, эта женщина — уцепив мальчонку, прикрыв синеватыми веками глаза.

Она выходит первой из автобуса. И возникает тишина. И тишину раскалывает голос:

— Вот оно как бывает!

Это говорит сторож сельпо. Голос у него неопрятный, с ленивой усмешечкой. Он встает, разминаясь. Скребет пальцем бороду, в которой запутался зеленый табачный мусор. Затем протискивается сквозь толпу — и мимоходом хлопает по узкой филиной спине:

— То грешат, то потом каются... Действительно... Как это ты говоришь? Подлое сословие! Вот уж, точно. Вот уж — да!

Но Филя неожиданно отворачивается.

— Уйди, — слабо просит он, — уйди! — (Он ведь тоже слышал дорожный этот разговор и, пожалуй, — отчетливее всех прочих.) — Я разве — про нее?... Я совсем о другом... И не трожь меня, не касайся!

Болезненный и слепой, он тонко чувствовал музыку; бережно, осторожно поднимает он с пола баян. Кряхтя, набрасывает на плечо ремень футляра.

— Тебе, Филя, подсобить может, помочь? — торопливо предлагает Кешка. Но тот молчит. И так и уходит, не сказав более ни слова.

И только отойдя, в стороне, внезапно и звонко трогает лады баяна.

И тогда, подбоченясь, подступает к сторожу грузная, грудастая, пожилая женщина.

— Ах, ты идол, — гремит она, — да как ты можешь?! — Она надвигается на мужика — загораживает ему дорогу. Гневно трясет щеками. — Кто не грешит? Все грешат! И не в том дело... Ить это — жизнь... Сердце, идол, сердце надо иметь!

И долго и далеко — над субботним солнечным городком — звучит баян, исполненный тихой грусти, раздумья и удивления.

СПИРТНОЙ СОЛИТЕР

Приятель мой Пашка женился — и ушел из бригады. Перебрался на жительство в село.

Он веселый был, Пашка, озорной и слегка приклатненный — как все одесситы. И хорошо, душевно играл на гитаре. И знал множество старых босяцких песен. Теперь гитары не стало... И в бригаде жале-ли, что он ушел. И немного завидовали ему. Все ведь мы были тут — бобыли, бродяги, перека-ти-поле. И жили неуютно, и тосковали по семейному теплу. Однако тоска эта была тайная, ее никто не выказывал! Наоборот, все наперебой бравировали свободой, холостяцкой своей независимостью... И Костя Протасов (бывший сельский бандит, а теперь — такой же, как я, ссыльный) сказал, посмеиваясь:

— Повезло, конечно, дураку. Поперло. Присосался к наваристой бабе... Но только это ненадолго! Он потом поймет, что такое свобода. Он еще вернется, сбежит, — вот попомните мои слова!

Предсказание это, в общем, сбылось; впоследствии Пашка и впрямь — вернулся. Но по причинам совсем иным. И речь о них впереди... А пока что, соскучившись, я решил навестить приятеля и посмотреть: каково оно в натуре — семейное счастье?

Пашка вошел "примаком" — на правах зятя — в крепкую, зажиточную, кержацкую семью. Усадьба здесь была большая, дом окружал густой черемуховый сад. В этом саду он и встретил меня, и сразу повел

показывать хозяйство.

- Вот здесь у нас свинарник, - объяснял он, - а тут - видишь - куры.

Внезапно и резко - носком сапога - он поддел пробегающую курицу. Та заметалась, вопя и роняя перья. Возник птичий переполох. Пашка ухмыльнулся и двинулся дальше - к коровнику. Мимоходом подобрал валяющийся в траве топор. И несколько раз - непонятно, зачем, - с силою грохнул обухом в стенку сарая... Я сказал, удивясь:

- Эй, ты что делаешь?

- Создаю мужской шум, - мигнул он в ответ.

- Что, что? Какой шум?

- Мужской... Не понимаешь?

- Нет.

- Ну, чудак, - усмехнулся Пашка, - что же тут неясного? Я просто демонстрирую, что вот - в доме есть хозяин, мужик...

- Да зачем тебе это вообще понадобилось?

- Я, видишь ли, заниматься начал, - сказал он, закуривая, - решил в абаканский лесной техникум поступить. Достал программу, купил учебников. Сiju теперь и читаю... А им смешно! Им непонятно!

Он с надрывом сказал это. Он был явно обижен и вид имел хмурый, и цедил слова углом поджатого рта.

- Я же все-таки десятилетку кончил - и с отличием! И хотел еще дома, в Одессе, продолжать - но не вышло. Случилась драка... Грозил суд... Пришлось бежать из города... А теперь, что ж. Теперь мне сам Бог велел. Одна только помеха: старики! Все эти мои книжечки-тетрадошки для них - как Федя выражается - зола... Им нужно, чтоб в доме работник был, чтоб шумел здесь, возился, коровник чинил. Теща как-то раз сказала: "Это что же, мол, такое, пустили в избу мужика, а он вовсе мышей не ловит... Его, мол, даже и не слышно!" Ну вот, я подумал: пусть слушают... Хотят шума - будет им шум!

И он еще раз с остервенением ударил обухом о дощатую стену сарая. Затем отбросил топор и сказал, поигрывая бровью:

- Ладно. На сегодня хватит. Пойдем-ка выпьем, что ли...

- А выпить-то хоть дают? - поинтересовался я, - Таежники, я знаю, народ воздержанный, строгий.

- Ничего, у меня секрет есть, - сказал Пашка, - действует наверняка... Все дадут - вот увидишь!

Он ввел меня в дом и представил жене - круглощекой, пышной, с тугими пшеничными косами. Она любила Пашку, это было заметно... И когда он вдруг скорчился, пригнулся, схватясь обеими руками за живот, - спросила участливо:

- Что, миленький, - опять?

- Опять, - пробормотал он. - Сосет...

- Сильно сосет?

- Сильно... Зашевелился, гад. Требуется!

- Так я сейчас сбегая, принесу...

- Тащи сюда всю бутылку, - сказал, кряхтя и морщась, Пашка.

- Но... зачем? Тебе, обычно, одной кружки хватает.

- Так ведь я не один! У меня гость - сама видишь... Что же я буду - пить, а он смотреть? Нет, это не годится! Мы хоть и в тайге живем, но все-таки люди светские, культурные...

Когда она вышла, я спросил:

- Что это у тебя, браток, - язва?

И Пашка пояснил, ухмыляясь и косясь на дверь:

- Спиртной солитер! Сидит в кишках - и требует водки... А что я могу поделать? Такая болезнь! Я, может, и сам не рад...

- Да, конечно, - проговорил я, сразу посерьезнев, - положение аховое... А скажи-ка, - ему только водка нужна?

- Вообще-то он на все согласен. Потребляет и чистый спирт... И от самогонки тоже не отказывается... Но, конечно, предпочитает всему нашу родную, двойной очистки, столичную водочку.

- С закуской, разумеется?

- Само собой. Что он, дурак, что ли? Для него лучший медицинский вариант - хорошая стопка с малосольным огурчиком.

- А как, например, насчет паюсной икорки? - сказал я, - это ведь тоже - вариант медицинский... И оч-чень не плохой!

- Можно, - прищурился Пашка. - О чем речь! Но вообще-то, он на этом не настаивает. Он ведь, в

сущности, кто? Скромный, простой, незатейливый паразит...

* * *

Отшумела и минула осень. Над селом, над окрестной тайгой, закружились метели. И в один из зимних вечеров голубых - в тихий час снегопада - Пашка пришел к нам в общежитие.

Он пришел с вещами и с неизменной своей гитарой. Сложил все это у порога. Снял шапку - отряхнул с нее снег. И объявил, широко улыбаясь:

- Выгнали!

Потом мы грелись чайком и слушали пашкину историю. Все произошло случайно... Однажды теща поехала в районный центр и зашла там в больницу. Зашла - по своим надобностям, но затем вдруг вспомнила о пашкином "спиртном солитере". И попросила лекарства против тяжелой этой болезни... "Солитер" произвел фурор; сбежались медики, стали выяснять подробности. И от общего дружного хохота здание больницы чуть не поднялось на воздух... Старуха вернулась пристыженная, злая. Устроила скандал. И в результате Пашка был изгнан с позором... Уходя, он звал с собой жену, но она не пошла, не рискнула - осталась дома.

Кто-то спросил, указывая на крупный синяк, лиловеющий под левым его глазом:

- Кто ж тебе так засветил? Теща? Или жена - на прощанье?

- Нет, - сказал Пашка, - это уже сам старик постарался. Кулак у него тяжелый, как кузнечная кувалда. Приласкал меня разок - ну, я и покатился...

И он поднял с пола гитару. Корябнул ногтем струну. И опять - как встарь, как бывало - поплыла в полутьме барака протяжная, старая, лагерная песня:

Завезли меня в страну чужую,
с наболевшей, буйной головой.
И разбили жизнь мне молодую,
Разлучили, милая, с тобой.

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

Наша жизнь — как мозаичное панно — складывается из бесчисленного множества мелочей и деталей. Одни из них забываются со временем, другие, наоборот, проступают выпукло и особенно четко врезаются в память. Вот теперь я вспоминаю период ссылки — и вижу очень мало деталей, окрашенных в яркие, летние, солнечные тона. Два главных цвета владычествуют в этой мозаике: черный и белый... Белый снег и черная тайга.

Я бродил, увязая в сугробах, и рубил тайгу, и уставал и мерз, — ах, как я мерз, бывало! — и нелегко было мне привыкать к лесорубному этому быту. Но постепенно я все же привык, втянулся — вошел в колею.

Колея эта шла, в общем, ровно, без крутых поворотов и неожиданностей. И если случались в ту пору приключения, то в основном — только с женщинами.

С ними было у меня, в принципе, то же, что и с литературой; я ведь отрекся от нее, но бросить — как видите — не смог! И женщин я проклял когда-то. И правильно проклял, за дело. Но куда же мне было деваться от них, проклятых? Куда вообще от них денешься? Они ведь — часть нас, вторая, так сказать, половина, и если половина эта, зачастую, плоха, что же делать? Такова, стало быть, общая наша сущность.

Короче говоря, мне не везло с ними — как раньше... Был момент, когда я переселился (так же, как и Пашка) из барака — в село. Но вскоре вернулся. Не смог ужиться со своей таежной красоткой. Она оказалась весьма странной: любила, чтоб ее лупили... И когда на нее накатывала такая волна, она становилась невыносимой; придиралась к каждой мелочи, дерзила. А затем — если я оставался невозмутимым — попросту начинала хамить. Ну, меня спровоцировать вообще нетрудно; я взрываюсь легко и с грохотом. И обычно, после каждого такого взрыва, она мгновенно успокаивалась, обмякала. И нежно поглаживая ушибленное место, говорила с какой-то сытой, медленной, полусонной улыбочкой:

— Ну вот, ну вот. Я же знала, что так будет; не зря ведь мне нынче ночью ягоды снились... Это

всегда к слезам!

И потом — с удвоенной энергией хлопотала по дому, становилась заботливой, ласковой.

Но я не хотел таких ласк, не нужны мне были клинические зигзаги, совсем другого искал я в женщинах. И, спустя небольшое время (уйдя от нее), нашел кое-что стоящее — как мне показалось...

Нашел — в одном из соседних бараков, в общежитии ссыльных.

* * *

О ссыльных я уже говорил... Я ведь сам принадлежал к таковым! Общество это было, однако, неоднородным; помимо "бытовиков" (таких же, как и я), здесь в изобилии имелись политические. И они, в свою очередь, делились на разные категории. Были, например, сосланные навечно. Были такие, что имели определенные, как правило, — пятилетние сроки. Большинство сюда прибыло из сибирских тюрем и лагерей. Но имелись также и "спец. переселенцы", по этапу пригнанные из Украины и Прибалтики — из Эстонии, Латвии, Литвы... Здешняя тайга оказалась вместительной; в ней нашлось место многим языкам и народам!

Жители Прибалтики (обвиненные, в основном, в "национализме") ссылались по большей части семьями. Их подрезали под самый корень... Но меж ними попадались и одиночки — студенты, молодые специалисты. И вот такой как раз и была новая моя подруга Регина. Она училась в вильнюсском текстильном техникуме, была затем отправлена в соседний город на практику, и там-то ее и взяли. Взяли не одну. (По сталинскому рецепту всюду стряпали тогда групповые дела!) В том цеху, где проходила она практику, были преимущественно девушки... И теперь они все вместе трудились в тайге, — в подсобной бригаде, на обрубке сучьев. И жили в одном, шумном, женском бараке.

Барак был знаменитый! Сюда захаживали ребята отовсюду — из нашего леспромхоза, из села, и из окрестных мест. Неподалеку, кстати, находилась крупная стройка (там прокладывалась железнодорож-

ная трасса Южсиба), и оттуда тоже подваливало немало клиентов.

Заглядывал в это общежитие и я, разумеется. Однажды, в воскресных сумерках, я вдруг заметил мелькнувшую в толпе, у барака, знакомую, изрытую, плоскую физиономию. Физиономию Рашпиля! (Ну, того самого типа, который, — помните? — в Красноярске, на воровской малине, отнял мои вещи.) "Не дай нам Бог встретиться", — сказал я ему когда-то. Сказано было серьезно; память на обиду у меня безупречная! И мгновенно вспомнив все, я кинулся за Рашпилем вдогонку. Но не нашел его, не увидел, и решил, что — обознался. Да так это, наверное, и было! А потом я и вовсе отвлекся...

Я отвлекся потому, что в ту самую пору как раз и начинался мой роман с Региной.

На нее я обратил внимание сразу, при первой же встрече. Стройная, рыжеволосая, с длинными, яркими, зелеными глазами, она была хороша! Но главное все же заключалось не в этом. Не только в этом... Регина выглядела на редкость скромной, покладистой, какой-то очень тихой. Вот, в чем была вся суть — тихой!

Среди нынешних курочек такие встречаются редко. И я воспринял ее — как подарок. Как подарок судьбы. И поначалу умилялся (я ведь всю жизнь ищу тихий вариант, именно — тихий!), и усталое сердце мое грелось возле нее, оттаивало и пело...

Но потом, постепенно, меня начало кое-что тяготить. Скромность ее показалась мне чрезмерной. Несмотря на всю свою покладистость и покорность, она — странное дело! — никак не хотела сближаться со мной вплотную. Не отдавалась, не шла на это... А когда я пытался настаивать — ловко выворачивалась, ускользала из рук.

И как-то раз — разгоряченный и взвинченный — я сказал:

— Что все это значит? Потолкуем всерьез. Я еще мог бы тебя понять, если бы ты была — целенькая... Но ты ведь уже имеешь опыт — сама говорила. Кое-что повидала, вкусила... Правда?

— Правда, — вздохнула она.

— Ну, так в чем же дело? Чего ты боишься? Или, может, просто не любишь — и потому...

- Ах, вовсе не потому. Скорее - наоборот!
- Но... Черт побери! Тогда что же?
- А тебе так уж это нужно? - быстро задала она встречный вопрос.

- Конечно, - ответил я.

- Все вы мужчины - как кобели, - пробормотала Регина, - ищите одно...

- Все люди ищут одно, - возразил я с праведным гневом. - Дело простое.

- Ну, не такое уж простое.

Она умолкла на миг, задумалась. И потом:

- Послушай... В конце концов, если уж тебе не-
возмогу, - если уж такой твой темперамент - подыщи
на время другую девочку.

- А... Ты? - растерялся я.

- А я - что ж... Я согласна. Могу даже сама по-
мочь - подыскать... И ревновать не буду.

- Что-о? - сказал я грозно, - ты, значит, со-
гласна! И ревновать, значит, не будешь! И еще ос-
меливаешься говорить мне - о любви... Ну, знаешь,
это уже слишком.

Мы поссорились в тот вечер. Выпив водки и рас-
палясь, я нагрубил ей, раскричался - и она ушла,
прикрыв ладонями лицо, неловко споткнувшись на по-
роге.

Несколько дней после этого я выдерживал харак-
тер; не навещал ее, не звал... А когда наконец
соскучился и явился к Регине - было уже поздно.
Она исчезла. Исчезла бесследно. И больше я никогда
уже ее не встречал.

А потом - в лесу, у костра, - я случайно разго-
ворился с одной из ее подружек. И тогда-то лишь
понял все до конца!

- Дурак, - было сказано мне, - она тебя дейст-
вительно любила. По-настоящему!

- Не верю, не похоже, - забормотал я, - если
так, - зачем же она устраивала комедию, подсовыва-
ла мне других?

- Да потому что она не могла с тобой спать...
Она же больна!

- Больна, - повторил я, вздрогнув, как от уда-
ра. - Чем больна?

- Ну, чем? - повела бровью девушка, - тем са-
мым... Не понимаешь, что ли?

- Где ж это она подхватила?

- Не знаю. Наверное, уже здесь. И она недавно только начала лечиться - но тебе не говорила. Боялась. Ах, с тобой она всего боялась! И мы ее жалели: лежит ночью и плачет, и плачет... Был момент, когда она даже замену для тебя подыскивала - чтоб ты не нервничал... И знаешь, кого она для тебя предназначала?

- Кого же?

- Меня, - сказала девушка. И улыбнулась, обнажая мелкие, кривые, съеденные зубы. - А я была согласна! Почему ж подружке не помочь? Да и вообще.

- Мерси, - сказал я, отводя взгляд. - Ну, а где же Регина сейчас?

- В районной больнице. Но и об этом она тоже не хотела, чтоб ты знал... И просила нас - не говорить.

* * *

Однажды ночью я сидел, перечитывая Диккенса... (Это один из самых любимых моих писателей. Он всю жизнь как бы рассказывает мне - обо мне самом. Дает сходный очерк судьбы; конечно, в облегченном, романтическом, старо-английском варианте. И он неизменно утешает меня и греет; ведь у него всегда, в результате, добро торжествует над злом. И герой обретает в награду все - и удачу, и истинную любовь!...) Я листал страницы старой потрепанной книги. И дымил папиросой. И не спеша потягивал цифир. И легко было мне сейчас - в тишине и покое. И верилось: кошмары мои кончились, и судьба сменила знак. И может быть, скоро откроются в ней новые, счастливые главы...

Возле правой руки моей помещался чайник и повитый паром стакан. Возле левой - стопка книг и бумаг. Посредине стола стояла жестянка из-под пороха, заменявшая пепельницу. А за спиной чернело окно, обметанное инеем и дышащее стужей.

И вот оттуда, из-за спины, внезапно пришло ко мне ощущение опасности. Вернее - какого-то странного тревожного беспокойства...

Я медленно повернулся к окошку. И увидел там - на черном фоне - смутно белеющее чье-то лицо.

НОЧНОЙ ГОСТЬ

Лицо мелькнуло - и исчезло. Я так и не успел разглядеть: кто это был? Но уже угадывал: это - не здешний! Это кто-то со стороны, издалека - из прошлого... Из той самой, темной бездны, от которой я все время стараюсь уйти, уберечься. И не могу! И постоянно чувствую ее где-то вблизи, за спиной.

Там у меня имелись не только друзья, но и враги. И врагов - много. И самых разных. Так кто же - из них? Может, все-таки Рашпиль? Пожалуй, я не обознался тогда, у барака; это был именно, он. И он, в свою очередь, заметил меня. И ловко ускользнул, и сам меня начал выслеживать; предпочел превратиться из зайца - в охотника! Что ж, так и должно быть, по законам бездны. Слова, когда-то сказанные мною, помнит ведь и он. И он тоже, конечно, не ждет от меня добра...

Я заметался. Разыскал и спрятал в рукаве старый свой финский нож. Затем выключил свет. И отворил дверь. (Трюк это старый, испытанный; визитер в таком случае теряется, и не знает, что делать, как поступить...) И став у притолоки, сбоку - приготовился к встрече.

Время, однако, шло - и никто не появлялся... Я становлюсь истеричным, - зигзагом прошло в голове, - из-за чего, собственно, вся эта паника? Да мало ли кто, в конце концов, мог заглянуть в окно! Ну, например, - какой-нибудь пьяный...

И тут я услышал шаги. Они были легки и упруги. Они возникли в отдалении - приблизились крадучись. Дверь скрипнула и подалась. Пришелец остановился, топчась, на пороге... И сейчас же я спросил:

- Это ты, Рашпиль?

- Нет, - сказал голос из темноты. Он и в самом деле, принадлежал кому-то другому... Другому, но тоже - очень знакомому!

- Почему - темно? - спросил голос. И потом, топорливо: - Эй, Чума, что случилось? Ты же здесь, я знаю...

Тогда я щелкнул выключателем. И отшатнулся невольно. Передо мною - в потоке света - стоял Копченый.

Вот уж его, признаться, я никак здесь не ожидал!

Фигура эта была, пожалуй, самой загадочной и зловещей из всех порожденных бездной... Врагом моим Копченый, правда, никогда не был. Но и добрым другом его тоже нельзя было назвать. Да в сущности, и не в этом заключалось главное. А в том, что он — сам по себе, как личность, — был двойственен и крайне опасен. Любые контакты с ним грозили неожиданной бедою; я знал это отлично! Ведь именно он когда-то спровоцировал меня на поездку к границе; я искал дорогу ко львовским контрабандистам, а угодил к бендеровцам — в потайное их логово, в самый центр террористов! И едва унес тогда ноги... И так до конца и не смог уяснить: кто же он в действительности, этот сумрачный тип? Во время минувшей войны он сотрудничал с гестапо, потом был связан с уголовным подпольем... Мы расстались с ним семь лет назад; чем он занимался все эти годы? Кому теперь служил? И почему он оказался в Сибири? И что ему нужно было от меня?

Уж лучше бы это, право же, был Рашпиль: с ним я, по крайней мере, точно знал бы — что делать и как говорить!

Теперь же я молчал в растерянности. И тупо моргая, рассматривал гостя.

Копченый выглядел заправским таежником! Он был в меховой, длинноухой, осыпанной снегом шапке, в тяжелых сапогах и в бараньем полубубке. На одном его плече висел туго набитый вещмешок, а на другом — дулом вниз — короткий охотничий карабин.

Войдя, он притворил аккуратно дверь. Стащил шапку — отряхнул с нее снег. И улыбнулся. И его сухое, остроуголое, обтянутое оливковой кожей лицо все пошло мельчайшими морщинами.

— Привет, — сказал он, — ты чего на меня уставился? Не узнаешь?

— Узнаю, — пробормотал я.

— Или, может, — не рад?

— Да нет... Почему?... Просто — очень уж все неожиданно.

— А зачем ты, кстати, свет выключал?

— Так, — пожал я плечами. — По ошибке...

Он снял карабин, прислонил его к стене. Повесил котомку на спинку стула. Расстегнул негнушимися пальцами полушубок.

— Замерз я, брат, вот что. Погреться бы чем-нибудь... А?

— Можно, — кивнул я. — Садись. Чайник еще горячий.

— А водочки, — спросил он, усаживаясь, — нету? Душу бы сполоснуть... Да и вообще — за встречу.

— Нет, не осталось. — Я смущенно развел руками. — Все с вечера еще прикончил. Уж извини!

— Небогато живешь, — сказал он, поджимая губы. Окинул взглядом стол. И, крикнув, полез в котомку. — Н-да, небогато.

Он достал и со стуком поставил на стол бутылку "Столичной" и банку шпротов. Мы выпили. И потом — еще. И после третьей порции я спросил с осторожностью:

— А скажи-ка... Как ты меня все же отыскал?

— Нашлись люди, — мигнул он, — нашлись. Навели на след.

— Наверное — этот ублюдок Рашпиль, — предположил я. — Он где-то тут, по-моему, болтается.

— Да какая разница — кто навел? — отмахнулся Копченый. — Главное — встретились... И хорошо. Ты мне нужен!

— Зачем?

— Где-то в этих местах есть старая раскольничья тропа... Забыл, как называется. "Мирская", что ли...

— В общем, верно.

— И она, говорят, ведет за перевал — почти к самой границе.

— Ого, — сказал я, — так ты что же — уходишь?

Копченый быстро глянул на меня исподлобья. Зрачки его сузились, превратились в колючие точки. Кожа на скулах натянулась. Какое-то мгновение он сидел так — напрягшись и закаменев. Затем проговорил невнятно:

— Что поделаешь? Надо...

— Ну, а я-то зачем тебе понадобился?

— Ты эти места вроде бы знаешь... Охотишься тут... Не так ли?

- Ну, в общем, так.

- Чего ты заладил: в общем, в общем! Ты мне точно скажи, конкретно, - знаешь?

- Да в общем, плоховато, - проговорил я с на-тугой, - на этой чертовой тропе бывал всего раза два, - случайно...

- Но все же бывал! Вот теперь и покажи ее мне.

- Хорошо, - сказал я, подумав. - Покажу.

А что я еще мог сказать? Связываться с Копченым мне, конечно, очень не хотелось... Но куда же тут денешься? В конце концов, человек просил помощи, и отказать ему было трудно, неловко как-то... Да и кроме того, я понимал: чем быстрее он исчезнет, - тем спокойнее будет для меня самого!

* * *

Легли мы под утро и спали недолго. Да я-то, собственно, почти и вовсе не спал. И Копченый, по-моему, - тоже... Просто - дремали, чутко и настороженно, как два таежных волка.

Когда барак, наконец, проснулся и загомонил - я отправился к Феде, к бригадиру. И, сказавшись больным, предупредил его, что сегодня на работу не выйду.

Потом мы отсиживались в моей комнате, взаперти, - дожидались, пока барак опустеет... И наконец, выбрав удобный момент, украдкой выскользнули нару-жу.

И углубились в синеющий неподалеку, заснежен-ный, испещренный рассветными тенями, ельник.

Идти пришлось долго; главным образом потому, что в этот час в окрестностях леспромхоза снова-ло немало людей. А попадаться им на глаза не хотел сейчас ни я, ни Копченый. Мы беспрерывно застрева-ли, прятались в зарослях... И когда вышли к ущелью, к руслу старого ручья, - день уже был в раз-гаре. И солнце стояло над самой вершиною перевала, - блистало там и плавало снега.

На повороте тропы мы присели отдохнуть. Закури-ли - по последней. Я сказал:

- Иди все время ущельем - это просто. А дальше, в горах, следи за затесами на деревьях. Затесы - в

виде крестов. Будут по пути встречаться кержацкие поселения — держись тихо, кланяйся низко, табаком особенно не дыми и крестись не тремя пальцами, а — двуперстно... Вот так. Понял?

— Понял, — сказал, вставая, Копченый.

— Ну, вот... И все будет о,кэй!

Мы обменялись рукопожатием. И он сказал — задержав мою руку в своей:

— А может, пойдешь со мной?

— Нет.

— Почему?

Я попробовал высвободить руку, но он держал ее цепко, как клещами.

— Почему же? — переспросил он, сощураясь. — Ты ведь раньше все время хотел за рубеж. К родственникам. Искал шанс...

— Но не нашел, — сам же знаешь!

— Так это потому, что без меня. А теперь, со мной, все получится точно.

— Но ты идешь в Монголию; что же там может получиться?

— Я иду дальше.

— А дальше — Китай. Еще хуже. Мне только этого не хватало.

— Не волнуйся, мой мальчик, — сказал он высокомерно. — У меня в Монголии свои люди... Они помогут. Выведут куда надо.

— Это какие же люди?

— Ну, монахи. В одном монастыре, в долине Дургун-Хаток... Да какая тебе разница — если ты не идешь?!

Он склонился ко мне. Приблизил темное свое, сухое, какое-то и впрямь закопченное лицо:

— Ведь не идешь?

— Нет.

— Боишься?

— Может быть.

— Чего боишься-то?

— Да всего...

— Тихую жизнь, значит, ищешь?

— Конечно.

— И думаешь — найдешь?

— Не знаю... Хотелось бы...

Копченый усмехнулся. По лицу его словно бы про-

шла судорога.

- Не надейся, мой мальчик! Никогда у тебя ее не будет... Все мы проклятые. И конец у нас у всех - один.

- Но если так, - сказал я, - пусть он хотя бы придет не сейчас... С этим делом, сам понимаешь, - никогда не поздно и всегда рано.

- Бережешься, значит, - проговорил он медленно. - Что ж, правильно... - И вдруг добавил с яростной хрипотцой. - Берегись! И учти на всякий случай...

Но я не дал ему договорить. Внезапным резким круговым движением я вырвал руку - и отступил на шаг. И спросил возмущенно:

- Чего ты от меня хочешь?

- Ничего, - проговорил, кривя губы, Копченый. - Но все же учти. - Он глотнул воздух. - На всякий случай! - И опять он осекся, словно бы ему стало трудно дышать. - Если ты кому-нибудь, когда-нибудь - хоть одно слово...

- Не волнуйся, мой мальчик, - ответил я тогда. - Это прежде всего - не в моих интересах... И вообще, в чем дело? Дорогу я тебе показал. Разговор наш окончен. Чего ты еще ждешь? Прощай!

* * *

Конечно, он мог меня запросто здесь прикончить. (Я ведь ему нужен был, как сообщник - а не как свидетель. Свидетелей он вообще боялся оставлять!) И потому - отойдя на несколько шагов - я круто свернул в сторону, в бурелом, и присел там, затаился, напряженно вслушиваясь в каждый шорох...

Но нет - Копченый не преследовал меня. Он ушел! Очевидно, поверил мне все же. А может, просто не захотел учинять стрельбу и, - как говорят блатные - "засорять дорогу".

Он ушел навсегда из моей жизни. Что с ним стало? Добрался ли он до Монголии, до своего монастыря? Не знаю, не знаю... Но, думается - вряд ли. Путь его был, вероятно, недолог и оборвался еще в горах. Я почему так считаю? Спустя два месяца, уже накануне весны, Кешка вдруг сказал мне:

- Помнишь, я когда-то рассказывал про "Мирскую

тропу"? Про дела, которые там творились? Так вот, я думал, все давно уже кончилось... Ан - нет! Недавно прошел слух, что за перевалом снова нашли убитого... Кто он, откуда - ничего не известно. И кто его шлепнул - тоже... Но все равно в Бельх Ключах беспокоятся, боятся репрессий. Убит-то ведь человек - на тропе!

И тотчас же я вспомнил о Копченом. И подумал, что если это действительно он, то обстоятельства здесь гораздо более сложные и запутанные, чем это кажется Кешке... Даже я не знаю всего! Копченный пробирался в Монголию - но почему? Возможно, у него было какое-то задание... А может, он спасался, уходил от преследования. И неизвестно даже, от кого он бежал. От чекистов или от таких же, как он сам? От чужих или от своих? Свои ведь бывают зачастую страшнее всего... Потому-то он, вероятно, и звал меня так настойчиво. Я ему был как раз не чужой и не свой, а просто - старый знакомый, на которого он мог рассчитывать. И с которым - при всех обстоятельствах - он не был бы одинок...

И еще я подумал о том, что кержакам - в данном случае - можно не опасаться серьезных репрессий со стороны властей.

Но мыслей своих я, естественно, не открыл никому.

ШУМНЫЙ МЕСЯЦ МАРТ

Весна пятьдесят третьего года выдалась ранняя, ростепельная, гнилая.

Такая погода (ее называют здесь сиротской) для лесорубов - беда. Снега в тайге вянут, насыщаются влагой. Дороги превращаются в сплошное болото, и вывозить с делян древесину становится все трудней. Дело стопорится; начинается скука.

И когда пятого марта нам объявили вдруг, что этот день и следующий - выходные - мы восприняли новость с искренней радостью.

Никто из начальства не объяснил нам конкретно - в чем суть... А радио в поселке еще не было проведено. (И единственный приемник находился в конторе

леспромхоза, в кабинете директора.) И газет мы тоже никогда почти не читали. В почтовое отделение Белых Ключей приходило, правда, несколько экземпляров — но это раньше, зимой. За последнее время газеты вообще перестали к нам поступать... Однако отсутствие их никого здесь особенно не беспокоило. И это понятно! Вспомните, каков был местный контингент. Религиозные сектанты, потомственные бунтари, бывшие заключенные, всевозможные ссыльные и вербованные — вся эта публика была напроочь исключена из общественной жизни страны. Здесь, в Белых Ключах, находился как бы заповедник инакомыслия, некая резервация отщепенцев, своеобразное социальное гетто... Гетто, в котором издавна сложилось свое специфическое отношение к вещам — весьма далекое от общепринятого, казенного.

До нас, конечно, доходили порою отголоски событий, творившихся в стране: пуск новых домен, процесс над врагами, заподозренными в тайном вредительстве, затянувшаяся болезнь Великого Вождя... Но доходило это издалека — словно бы с луны. И никто не верил официальной прессе. Не принимал ее всерьез. И любым обвиняемым здесь, по традиции, сочувствовали, а на вождей всем было — плевать...

Только одно обстоятельство могло у нас вызвать всеобщий энтузиазм — возможность отдохнуть и поразвлечься... И теперь мы решили, что создан, наверное, какой-то новый советский праздник... Может быть — "День лесоруба"? Ведь существовали же праздники: "День печати", "День железнодорожника", "День пограничника" и т.д. И тотчас Белые Ключи преобразились. По улицам пошли бродить, заливаясь, гармоники. Возле магазинов выстроились очереди за водкой.

* * *

Мы возвращались с Костей Протасовым из магазина — веселые, нагруженные бутылками... И в этот момент мимо нас прошли двое: директор леспромхоза и участковый инспектор, старший лейтенант милиции. Участкового этого мы с Костей знали отлично: он ведь как раз занимался ссыльными! Человек это, в общем, был не из худших; ленивый, весьма добродуш-

ный, как все толстяки... Но сейчас он выглядел странно, неузнаваемо: он словно бы похудел, осунулся. Лицо его обрело какой-то лиловый оттенок. Движения стали суетливы, речь прерывиста.

— Что я могу? Что я могу? — долетели до меня обрывки фраз. — Ведь был же специальный приказ: никаких разъяснений... Никаких! А у этих скотов одно на уме. Если не работают — значит пьют!

— Пусть уж лучше тогда работают, — сказал, раздувая усы, директор леспромхоза.

— Конечно — лучше... Но кто распорядится? Может, ты? Может, рискнешь? Давай, проявляй инициативу, если ты такой храбрый... Я, например, не могу. Голова у меня одна. И я, знаешь, как-то привык ее беречь... Да и вообще, сам посуди. Все-таки — общий национальный траур.

— Но что же делать? Позвони хотя бы в управление.

— Звонил уже! Там полная неразбериха... Говорят: ориентируйся сам! А что я могу? Ну, что?

Они прошли — и голоса их затихли. Но мы с Костей тотчас остановились и озадаченно поглядели друг на друга.

— Что-то случилось серьезное, — заметил я.

— Ага, — кивнул Костя, — слышал: он сказал — о трауре... По ком этот траур, как ты думаешь? Уж не по нашему ли Хозяину? Может он и впрямь — спекся, сыграл в ящик... а? Ведь все-таки — пора...

— Что ж, — усмехнулся я, — это был бы его единственный гуманный поступок.

— Или, может, объявлен траур по всей нашей системе?

— Ну, для системы, пожалуй, еще рановато... Она больна, конечно. И серьезно. Но... Да что гадать? Скоро все равно узнаем. Жаль только, что сейчас все — в тумане... Не хотят, гады, давать "никаких разъяснений"!

— Во всяком случае, — мигнул мне Костя, — пахнет уже не "праздником лесорубов"...

— Да, но я бы теперь назвал его иначе: "праздником для лесорубов": Для всех нас!

— А можно — еще точнее.. Знаешь старую поговорку: "Лес рубят — щепки летят". Так вот, скорее всего, это, праздник для "щепок"...

В бригаде нашей началась грандиозная пьянка.

Мы как завелись с утра, так и не могли остановиться до самой ночи. И ночью тоже — продолжали пить. Мы сидели всей оравой — у бригадира Феди; он занимал самую большую в бараке комнату. Здесь помещался как бы главный штаб наш и бригадный клуб. В этом клубе обычно обсуждались общие дела и проблемы, и отмечались все значительные события — дни рождения, именины, праздники... Но никогда еще тут не было так шумно и суматошно, как во время нового этого "праздника щепок"!

Все мы чувствовали: что-то случилось в мире. Что-то в нем стряслось небывалое... Но — что? Что? Никто не знал ничего толком. И потому люди пили сейчас особенно лихо, с надрывом. Пили, так сказать, вдвойне — за светлые надежды и за утраченные иллюзии. За хорошее и за плохое. Идею эту, кстати, подал "иудей" Соломон. И бригада поддержала его охотно и дружно.

— Я настоящих евреев не знаю, — сказал Соломон, — но кое-что слышал об ихних повадках... У них как заведено? Во время веселья — полагается плакать. И наоборот... Это на всякий случай. Чтоб, значит, ни в чем не ошибиться!

Поздней ночью я вышел, пошатываясь, на улицу — за нуждой. В бараке было жарко, душно, накурено. Компания там собралась сугубо мужская, и потому сидели мы все как попало, — полураздетые, в нижнем белье. И я тоже был сейчас в одних трусах, в валенках на босу ногу и в небрежно брошенном на плечи полушубке.

Ночь стояла глухая, беззвездная, исполненная угольной черноты. Но мороз был некрепкий; пахло оттепелью. Тянул с реки ветерок, полз по коже щекотными мурашками. И было приятно — после барачного угара и духоты — ощущать его легкое, чистое дуновение.

Сиротская погода!.. Я усмехнулся вдруг, подумав о том, что старое это, народное выражение, приобрело теперь особый, двойной смысл. Ведь если и вправду Сталин умер, "сыграл в ящик", — то сегодня многие должны почувствовать себя осиротевшими...

Такие, как наш участковый, как директор леспромхоза, как тот самый Скелет, что упрятал меня в таежную резервацию. Их, таких, уйма. Им нет числа. И общее имя им всем — система!

Что им снится сейчас, этим сиротам? Что им мерещится в ночи?

Было тихо; Белые Ключи уgomонились, наконец, лишь кое-где — негромко и сонно — всбrehивали цепные псы. И хриплый их, редкий лай не нарушал, не портил тишины, а наоборот, еще сильнее ее подчеркивал.

И внезапно тишина эта взорвалась.

В соседнем бараке (том самом, где помещалось женское общежитие) послышался шум, какие-то крики. Тоненький, слабый рвущийся голос позвал:

— Помоги-и-те!

И тотчас же я, не задумываясь, бросился туда.

* * *

Я бросился туда. Нашарил в кармане полушубка спички. И увидел приземистые фигуры и скуластые лица хакасов; их было четверо, и были они вдребезги пьяны. Они тоже ведь справляли нежданный этот праздничек, но — отдельно от всех. И теперь, очевидно, решили по пьяному делу, поразвлечься, навестить здешних курочек. Дверь барака была полуотворена; ее изо всех сил сдерживали изнутри. И кто-то там всхлипывал, причитал. А хакасы упрямо ломились в барак — свирепо сопели и ухали — и дверь помаленьку поддавалась, отходила толчками...

Спичка погасла. Я зажег новую, загородил полкой полушубка от ветра. И окликнул их:

— Эй, вы что, сдурели? А ну, кончайте шухер, съешьте отсюда!

Они затихли. И сразу поворотились — пошли на меня. И я почувствовал себя неуютно...

— Что-о? Что ты сказал? — спросил один из них, подступая вплотную и внимательно меня разглядывая.

Вид у меня сейчас был довольно дурацкий; голые коленки, трусики, полушубок внакидку... Отнюдь не воинственный вид! Но — что же делать? Отступить было уже поздно. Да и некуда. Да и нельзя.

— Не мешайте людям спать, — отчеканил я. И вновь торопливо чиркнул спичкой. Я понимал: спасти меня здесь может только решительность, властность тона. И потому добавил с угрозой — Ну! Кому говорят? Пошли вон! Считаю до десяти...

И тон этот подействовал. Трое незаметно исчезли, растаяли во тьме. Но четвертый — тот, что подступил ко мне, — он остался. Он не желал подчиняться! Может, он был пьянее прочих? Или очень уж сильно бабу хотел? Или просто ненавидел русских?

Он смотрел на меня в упор, но глаз его я не видел. И без того достаточно узкие, они теперь как бы вовсе исчезли — и по безглазому этому лицу шла мелкая яростная дрожь. Дрожали желваки на скулах, и шевелились широкие ноздри, и дергался перекошенный рот. И голос его тоже был шипящий и вздрагивающий.

Он что-то бормотал неразборчиво и шарил рукой у пояса. Все шарил там... А спичка моя горела.

Она быстро горела! Огонь подбирался к пальцам. И я понимал: зажечь следующую — мне уже не удастся... Как только свет погаснет, хакас сразу же выхватит нож. Он почему-то боится сделать это при свете... И нож у него, как и у всех хакасов, — на правом бедре, наготове. Длинный, обоюдоострый, в деревянных ножнах!

А я перед ним — безоружный и голый. И голые руки мои скованы, стеснены полушубком.

А сбросить полушубок я теперь тоже не мог; хмель прошел, и я стал остывать. И зябнул все сильнее и сильнее...

А спичка догорала!

Огонь уже съел ее и лизал мои ногти. Терпеть это не было сил... Но все-таки я терпел. Как мог — скрипя зубами.

И, наконец, огонь погас. Мигнул напоследок — и сейчас же, нахлынула темнота. После света она стала особенно плотной, непроницаемой. Я почти ослеп на мгновение. И вот тут я дрогнул. И почувствовал, что — пропал...

И тогда я вспомнил вдруг — о Боге. Вспомнил. И позвал Его в тоске... И случилось чудо. Не знаю, впрочем, как это назвать... Но в сплошной, захлестнувшей меня темени, я словно бы обрел новое зре-

ние. И увидел - с непостижимой ясностью - фигуру хакаса и правую его, занесенную для удара, руку.

Видение это длилось всего секунду. Но я уже успел сориентироваться... Есть старый прием; меня обучили ему давно, еще на Кавказе, у цыган. Если удар наносится сверху, и ты не успел его предотвратить, - не отшатывайся, не беги. Наоборот, - ныряй под руку врага и, в крайнем случае, подставляй голову... Голова - она многое может выдержать!

Вот так я, собственно, и поступил. Нырнул - и ощутил короткий сотрясающий удар. Я поймал голову ножа, как футболист, ловящий мячик. И сделал - правильно! Иначе хакас проткнул бы меня насквозь...

Но все же удар был силен! Темнота окрасилась в красный цвет. Глаза мои и все лицо залила горячая липкая влага. Я качнулся, осел, на подламывающихся ногах... Но - устоял! И успел поймать, нащупать его руку. Однако ухватил я ее некрепко; пальцы были обожжены и слабы... И враг мой вырвался без большого труда. Метнулся в сторону, побежал, хрустя снежком. И быстро скрылся за углом барака.

ЕСЛИ ГОСПОДЬ ЗАРОНИЛ В ТЕБЯ СВЕТ

Когда я вернулся - пьянка уже затухала. Костя Протасов дремал, уронив голову на стол, в обедки. Федя у печки заваривал чай. А остальные - с бессмысленно задумчивыми лицами - сидели, окружив Пашку, и слушали гитару.

Гитара звенела тягуче и тихо. Уронив чубатую голову, Пашка небрежно пощипывал струны и напевал, пригорюнясь:

Я люблю тебя, низкая, подлая.
Никому я тебя не отдам...

Заметив меня, он осекся на полуслове. Челюсть его отвисла. Гитара, гудя, сползла с колен, - на пол. Шагнув ко мне, он спросил:

- Старик, что случилось?

- Да так, - усмехнулся я, - с хакасами вот по-

толковал...

Было недолгое молчание. Затем общежитие преобразилось, наполнилось гомоном и суетой.

- Ну, беда с тобой, - сказал Федя. И покрутил головой. - Это ж надо так суметь! Даже в сортир спокойно сходить не можешь...

Костя поднял голову и спросил, позевывая:

- Кто тебя?

- Черт их знает. Того, кто ударил, вроде бы Ефимом звать... А вообще-то они - из бригады возчиков. На трелевке работают.

- Так, - сказал Костя. Потянулся, хрустя суставами. И добавил - деловым, скучным тоном: - Что ж, надо резать. А как же иначе? Прощать нельзя. Они нас - да, а мы их - нет? Это обидно.

- Конечно, - воскликнул Соломон. - Ишь, хакасня проклятая. На безоружного... Ну, я им покажу!

И он торопливо стал натягивать пиджак.

- Ты-то куда? - посмеиваясь, сказал Пашка, - слышь, Соломон, погоди!

- Да какой я в этот момент - Соломон? - проворчал Соломон.

- А кто же ты?

- Какая разница - кто? Сибиряк, одно слово...

- Но ты, все же, человек религиозный! У вас там - всякие талмуды, молитвы, правила.

- Когда моих друзей забирают, - веско сказал Соломон, - у меня одна молитва... - И он выругался длинно и затейливо. - Одно правило! - И засучив рукав, поднял огромный свой, костлявый, поросший рыжей шерстью кулак. - Во! Видишь? И вся недолга.

Федя и Кешка, тем временем, занимались мною. Обмыли теплой водой голову, осмотрели рану. Рана была небольшая - но очень болезненная. И она беспрерывно кровоточила. Кровь била тугими толчками, и унять ее никак не удавалось, и Федя погодя сказал:

- Надо - к фельдшеру. Без него не управиться... Еще какую-нибудь заразу занесем... Пойдем-ка, может, - отыщем!

Фельдшером в здешней санчасти работала некая блондиночка, Тамара, — немолодая, но шустрая, всегда старательно подвитая и до крайности томная. Жила она где-то на краю села. И мы не сразу отыскали нужный дом. А когда, наконец, нашли — выяснилось, что блондиночки нету.

— Нету! — заявила квартирная ее хозяйка. — Как упорхнула с вечера, так и не возвращалась. Да она часто на стороне застревает... Мужиков любит — ух, страшное дело! А ведь самой уже под сорок. Баба в возрасте. А все никак не угомонится. Особливо — на молоденьких падка. Ну, прямо, как муха на говно... Вот там и ищите.

— Да, но — где? — проговорил я в растерянности. — Молоденьких много. И говна тоже — в избытке.

— Наведайтесь к Семе Иващенко, — посоветовала хозяйка. — На всякий случай... Она сейчас вроде бы с ним путается.

И мы отправились к Семе. Но там ее тоже не оказалось.

— У меня она бывала, это верно, — сказал разбуженный Сема. — Но раньше... А сейчас я и сам не знаю, где она ползает, эта гадюка болотная.

Лицо у Семы было помятое. К щеке прилипло перышко из подушки. Он стоял перед нами в одних подштанниках — шумно почесывался и зевал.

— Ползает где-то... Приключений ищет... Вот что, братцы. — Он вдруг встрепенулся. Взгляд его стал осмысленным. — У меня, вообще-то, есть подозрения. Догадываюсь, где она может быть! Тут — несколько адресов... Но вы поначалу загляните к Потанину, к новому инженеру, который недавно в леспромхоз приехал... Да вы ж его должны знать!

Мы знали Потанина. И заглянули к нему. Но нет, блондиночки не было и там! Протирая очки и сонно шурясь, инженер спросил:

— А кто вас, кстати, направил ко мне? Уж не Семка ли?

— Семка.

— Ну, так он хитрит, собака!

— Как так — хитрит? — нахмурился Федя.

— Да очень просто... Он вас в дом не вводил, не

звал?

— Нет, мы в сенях разговаривали,

— Ну, вот! И меня он тоже вчера не пустил... А она, конечно же, там была. И сейчас лежит... Вернитесь-ка, проверьте еще раз! Это и мне самому интересно.

— Нет уж, проверяй без нас, — махнул я рукой. — Надоела вся эта возня... Тоже мне — роковая баба! Кармен! Мадам Бовари! Да пошла она к чертовой матери.

— Но куда же — теперь? — развел руками Федя, когда мы вновь очутились на улице. — Дурацкая история... Что делать будем?

— Не знаю, — пробормотал я, держась за голову, — ох, не знаю...

Я чувствовал себя худо. Меня шатало и поташнивало. Набухшая от крови повязка смерзлась и хрустела под пальцами, и леденила кожу. Но голова по-прежнему была горяча и сильно болела. И боль теперь стала однообразной, нудной, пульсирующей... (Я не знал тогда, что в черепе, в лобной кости, застрял у меня осколок — отломившийся кончик хакасского ножа! И головные боли я получил — надолго... И все это прояснится окончательно лишь десять лет спустя, уже в Москве, у столичных врачей.) И сейчас, прислонясь к ограде, я устало и тупо твердил одно:

— Не знаю, ребята, не знаю... Ничего я не знаю.

— Ладно, — сказал Кешка решительно. — Тогда я — знаю! Идем!

— Куда? — живо спросил Федя.

— К знахарке. Есть тут одна такая... Травами лечит. Между прочим, моя дальняя родственница.

— Так чего ж ты раньше молчал? — обрадовался я. — Веди! Скорее!

* * *

Через четверть часа я уже сидел в тепле, возле гудящей печки. И надо мной хлопотала знахарка — седая, закутанная в черную шаль. У нее было маленькое щуплое личико, все иссеченное мельчайшими морщинами, и удивительно мягкие, добрые руки. Я

почти не чувствовал их прикосновений. Словно бы она и не трудилась вовсе. Однако, кровь она остановила сразу и ловко и быстро перебинтовала голову... Дала мне что-то попить успокаивающее. Потом спросила, усевшись рядом:

- Кто ж это тебя так?

- Да один негодяй, - сказал я, хрустнув зубами.

- Ну, ничего... Он от меня не уйдет.

- Ты, что ли мстить ему хочешь?

- Да не то, чтобы, мстить... А просто - наказать. Ведь надо же!

- Зачем?

- То есть, как зачем? Как зачем? Если за подлость не наказывать...

- Его сама жизнь накажет.

- Ну, это когда еще будет, - усомнился я, - да и будет ли? И я что же, должен терпеть?..

Она перебила меня - склонилась участливо:

- Трудно тебе?

- Да в общем - нелегко, - пробормотал я, кряхтя.

- Терпи! И думай о другом.

- О чем же?

- Тебе видней. Сам должен знать! Если уж Господь заронил в тебя свет...

Эта ее фраза пронзила меня. Нынешняя ночь вообще была необычной; полной боли и крови, и странных откровений. Я как бы вдруг приблизился к Богу, приобщился к Нему. Сначала вспомнил о Нем - под ножом. А потом услышал о Нем - от старой этой раскольницы. И слова, ею сказанные, были неожиданны, волнующи... Я даже растерялся на миг. И сказал неуверенно:

- Вы говорите - заронил? Вот уж, чего я никогда не подозревал... Ну, а если - нет?

- Тогда живи, как хочешь.

- А если - да?

- Тогда думай. - Она покивала мне, поджав губы. - Думай, сынок, думай! И береги Его искру; такое дается не зря и не каждому...

- Но как же мне ее беречь? - беспомощно, заминаясь, сказал я. - И что же мне с этой искрой делать? Всех прощать? Все терпеть? Дадут по одной щеке - подставлять другую, так, что ли? Но ведь

мне всю жизнь дают... И не просто, не в шутку, а вы видите — как! А я, значит, и ответить не могу? Да если б я сам не умел бить — меня бы уж давно и в живых не было...

— Так что же? — мягко улыбнулась она. — Бей! Если очень уж нужно — бей... Но не забывай о Нем. Он ведь всюду, в любом человеке.

— Даже — в подлецах?

— Даже в них.

— Но где же Он — там? И зачем?

— А страх? — Она заглянула в глаза мне, в самую глубину. — А совесть, а раскаяние? Они в каждом живут, особенно — страх... И думаешь, от кого это, а? Вот то-то! Твой хакас, к примеру, уже ведь наказан. Крепко наказан! Наказан страхом.

— Н-ну, — пожал я плечами, — это слабое утешение... А может, он сейчас, наоборот, веселится? Хохочет до упаду?

— Все равно, потом будет плакать.

— Вот это я как раз и хочу увидеть. Сам увидеть. Воочию. И не откладывая на потом...

— Гордыня тебя губит, — вздохнула она, — гордыня непомерная, вот что... Ну, иди!

И выпростав из-под шали тонкую свою, сморщенную лапку, — подняла ее, то ли прощальным, то ли удерживающим жестом.

НОВЫЙ УДАР

Ночь иссякала уже, шла к концу... Проступили в дали очертания гор. Стали видны в зыбком сумраке острые верхушки елок. И в той стороне, где находился леспромхоз, косматые низкие облака подернулись легким багрянцем.

Федя сказал с удивлением:

— Никак светает? А я думал, еще рано... Ну, ночка! — Он мотнул головой. — Время пролетело — как в цирке...

— Не-ет, это не рассвет, — сказал Кешка странным голосом. — Это что-то горит.

— Где?

— Да, видать, у нас где-то... Бежим!

Мы ворвались в общежитие - и остолбенели. Помещение было пусто. И, что особенно нас встревожило, - пусты были стены, на которых обычно висело оружие: дробовики, патронташи, охотничьи ножи. Исчезли также и все канадские топоры (особые лесорубные топоры, с удлинёнными - метровыми - рукоятками.)

- Ох, не к добру это, - прошептал я, - чует мое сердце: они к хакасам подались... Вся наша банда теперь - там...

Сердце чуяло правду. Банда была - там. Ребята окружили барак, в котором жили хакасы, навалили вдоль стен его хворосту. И подожгли. И хворост трещал и дымился, и кое-где над ним уже взлетали языки огня - рвались в высоту и отбрасывали шаткие тени, и засекали оранжевыми искрами снег.

И в отблесках пламени, в струях дыма, стояли Костя и Соломон и вопили - в два голоса:

- Эй, Ефим! Выходи! Или мы спалим вас всех, на шашлык пустим, отсидеться все равно не дадим!

Сцена эта была дикая, жутковатая, - как в скверном сне... И я подумал тотчас же: да, старуха права. Хакасы действительно уже наказаны. И наказаны крепко.

Федя проговорил - сильно потянув воздух сквозь сжеженные зубы:

- Они с ума посходили... что делают, гады, что вытворяют! Перепились вконец.

Лицо его отвердело, налилось темной краской. На мощной шее вздулись жилы. И он стремительно пошаргал к маячившим в дыму фигурам.

- Надо что-то придумать, как-то отвлечь ребят, - встревоженно сказал я. - В самом деле ведь - обезумели...

- А кто заварил эту кашу? - хмуро покосился на меня Кешка.

- Знаю, - отмахнулся я. - Знаю... Я всегда, в результате, плачу за все... Но сейчас о другом надо думать... Как их успокоить? Может, водки достать? Но где же ее найдешь, в такую пору?

- Ничего, - сказал Кешка, - найти вообще-то можно.

- Где же?

- Да тут, недалеко, два брата живут. Скопцы. У них - в любое время...

— Так иди! И не медли.

— Но... — Кешка замылся. — Задаром там не дадут. Скопцы — торгоши жестокие, безжалостные... А у меня — прости — ни копыя. Пусто!

И он слегка развел ладони, словно бы показывая, что они и вправду пусты.

Я размышлял недолго. Что ж, платить, конечно, приходилось мне — кому же еще? И деньги у меня, кстати, имелись; за время, проведенное здесь, я ухитрился скопить небольшую сумму — специально, на черный день, в предвидении какой-нибудь неожиданности... Теперь вот она и наступила. И я торопливо сказал:

— Гроши в моем чемодане — на дне, завернутые в платок... Найдешь!

— Лады, — кивнул Кешка. И потом — уже отойдя, вполоборота:

— Сколько брать бутылок?

— Бери побольше.

— Учти: там ломают втридорога...

— Плевать, — крикнул я, — не торгуйся!

Затем я поспешил к огню. Федя метался там, расшвыривал хворост и матерился яростно... Я присоединился к нему. Но тактика у меня была иная. Потянув за рукав Костю, я сказал — ухмыляясь и подмигивая:

— Послушай, тебе не надоело? Пойдем-ка лучше — рванем еще. Хочешь?

— А есть? — сразу насторожился тот. — Мы же все, вроде, вылакали...

— Есть, — сказал я, — Кешка расстарался — достал где-то.

— Ага. Ну, тогда — потопали!

— Но сначала потушим огонь.

— А как же — Ефим? — Воспаленное лицо его померчнело и вытянулось. — Только начали было выкуривать...

— Да куда он от нас денется? Его и без огня добить можно. Зачем вы вообще устроили этот фейерверк? Непонятно... Дела надо делать тихо!

— Погорячились, это верно.

Огонь был вскоре потушен, и бригада — в полном составе — вернулась в общежитие. Там уже все было готово. Кешка и впрямь расстарался: притащил целую

дюжину бутылок и даже закусочку кое-какую сообразил. И пьянка вспыхнула с новой силой. И мы опять толковали о празднике и поднимали, галдя, веселые тосты за "общий национальный траур"...

* * *

Весь следующий день (он тоже был выходной!) бригада отсыпалась, отлеживалась — после безумной этой ночи. О расправе над хакасами никто уже больше не помышлял; волна хмельного озорства опала, схлынула. Ну, а затем все вернулось в прежнее русло. Начались привычные будни... Я, однако, имел бюллетень и на работу не выходил; валялся в бараке, на жестком своем топчане, и с любопытством просматривал газеты. (Они снова у нас появились!) Новости, принесенные ими, были любопытны. Великий Вождь все-таки умер, и власть теперь переходила в руки Лаврентия Берии — министра внутренних дел и самого страшного (после Сталина) человека в стране. Вроде бы радоваться тут было нечему. Но все же — со смертью владыки — что-то начало неуловимо меняться, что-то сдвинулось и поослабло... Быть может, Берия держался непрочно? Может, там, в глубине, шла глухая скрытая борьба? Как бы то ни было, в газетных воплях и трескотне постоянно ощущалась некая растерянность и отовсюду — из-под строк — тянуло паническим душком.

О хакасах я — в связи со всем этим — начисто забыл. Конфликт наш кончился... Но это лично мне так казалось! Сами-то они, как выяснилось, помнили все, и смотрели на вещи иначе.

И вот, спустя три дня после знаменитого "Праздника Щепок", ко мне внезапно зашел инженер Потанин.

Выпускник Красноярского лесотехнического института, он прибыл в леспромхоз одновременно со мной — и быстро сделал здесь карьеру. Начинал десятником, а теперь его уже прочили в заместители директора... Вообще парень это был способный, знающий дело, весьма образованный. Любящий, кстати сказать, литературу и, особенно, стихи. И вот это-то нас и сблизило! Друзьями мы не стали, но отношения

у нас сложились добрые. И теперь я подумал, что он просто пришел провести меня и — как обычно — по-толковать о поэзии символистов.

Но нет — его волновала сейчас другая тема... Усевшись на топчан и протирая очки, он спросил:

— Что у вас тут произошло с хакасами?

— Пустяки... случайная заварушка...

— Заварушка — с огнем?

— Ну, огонь был небольшой... И его погасили сразу. И вообще это все кончилось.

— Нет, — сказал он, — к сожалению, не кончилось. Пожалуй, — наоборот.

— Это как же понять?

Он повертел в пальцах очки. Надел их медленно. Строго глянул на меня.

— Ты знаешь, что они ушли? Все до одного. А их тут работало три бригады... А у леспромхоза — договор с ихним колхозом. И теперь, помимо того, что рушатся наши производственные планы, мы еще должны — по договору — платить колхозу неустойку... Теперь ты понимаешь, насколько все серьезно, особенно — для тебя?

— Не совсем... Какая же все-таки связь между этой дурацкой неустойкой — и мною?

— Самая прямая! В дирекции лежит заявление, оставленное хакасами... И там сказано, что они уходят поневоле, спасаясь от террора. А террор этот якобы спровоцировал и возглавил — ты!

— Ничего себе — спровоцировал, — кисло усмехнулся я. И потрогал забинтованную голову. — Помнишь, мы ночью искали фельдшера? К тебе еще заходили...

— Ну да. — Он смутился слегка. — Помню.

— Так вот, это было как раз после встречи с туземцами. Один из них — Ефим — ударил меня, безоружного, ножом...

— Ефим? — повторил он, нахмурясь. — Вот как! — И потом, помолчав: — Дело в том, что заявление это — групповое. Там много подписей... И самой первой стоит подпись Ефима Кольчикова. Собственно, он-то и написал!

— Значит, он еще раз меня ударил, — процедил я. — И опять по-подлому... Тогда — в темноте, исподтишка, а теперь просто в спину.

И тут я вспомнил старую знахарку и мысленно сказал, обращаясь к ней: "Ну, вот! Видишь, как все получается? И что же теперь? Будем жить без греха - прощать и терпеть? Беречь Искру и сносить людскую подлость? Если вправду Господь дал мне свет - то почему же он не дал мне удачи, не помог отвести хотя бы этот новый удар?"

- Этот новый удар, пожалуй, посерьезнее первого, проговорил инженер. - Учти, старик, тебя ждут большие неприятности... Заявлением уже заинтересовался участковый. И нынче утром был у них разговор с директором... Хорошо, что я успел подслушать!

- О чем же они говорили?

- Да об этой истории. Участковый хочет возбуждать дело о "националистическом терроре"... Выслушивается, собака! А директор его полностью поддерживает. Это ж ему - на руку, соображаешь? Ведь в терроре-то повинен ты, а не дирекция! Леспромхоз тут не при чем. А коли так, то и разговор о неустойке тоже - отпадает...

И закурив, закутавшись в дым, он добавил негромко:

- У всех, в общем, свои интересы, - и они сходятся. И все оборачивается против тебя! А ты - один...

- Как всегда, - сказал я пересохшим ртом, - как обычно... Ну, и что же ты мне посоветуешь?

- Беги, - твердо сказал он. - Беги, старик!

- Эх, да что... все равно ведь - найдут.

- Вряд ли, - возразил Потанин. - Специально разыскивать тебя не будут - не до того! Сам, небось, видишь, какова ситуация в стране... Но, конечно, если застрянешь здесь, - съедят. С потрохами. Это уж точно. Объединятся все вместе: местная милиция, дирекция, эти туземцы... Да они и так уже объединились. И останется от тебя, дружок, - как говорят у нас в Красноярске - кучка дерьма, да пара ботинок.

- Н-да, - пробормотал я, - перспектива веселенькая... Что ж, ты прав. Надо бежать. Но тут вот какая проблема. Я же - ссыльный! Документов у меня, в сущности, - никаких...

- Ах, ты черт возьми, - проговорил, наморщась, Потанин, - это действительно - проблема... Хотя...

Постой-ка! В Абакане, при нашем тресте, организованы курсы по повышению квалификации лесорубов - мотористов, лебедчиков, маркеров... Давай-ка я тебя туда направлю, а? Выдам тебе справочку - это я могу! Ну, а дальше уж сам поступай, как знаешь. Захочешь повышать квалификацию - иди в трест... Но на всякий случай, советую тебе держаться от него подальше!

* * *

Разговор этот происходил в полдень. А вечером я уже имел обещанную справку. И укладывал вещи. И прощался с ребятами.

Прощался - исполненный томления и грусти... Я привык к этим людям и к этим местам, и сроднился с ними, и знал, что здесь, в Белых Ключах, я оставляю что-то такое, что никогда уже не повторится в моей жизни - оставляю как бы частичку себя, своей души...

Я искал тут покоя и отдыха от тревог... И нашел, вроде бы, но - не надолго. Не надолго! Пожалуй, прав был Копченый, сказав, что тихой жизни не будет у меня никогда. Все мы - проклятые. И участь у нас одна!

Участь одна - вечно бежать, скрываясь от преследований, от несчастий. Бежать от собственной судьбы...

И вот я снова срываюсь с насиженного места и остаюсь без друзей, без чьей-либо помощи, да в сущности, и без денег. (Сумма, накопленная мною, разошлась почти вся...) А за порогом - ветреный сумрак, снежный хаос. Гнилая сиротская погода. И дорога, ведущая в никуда.

Часть 5

НА ДНЕ

Проходит время...
Мне оно порой
и вправду представляется прохожим
бродягою с обветренной кожей,
в одежде, пропитавшейся махрой,
бредущим наугад, по бездорожью...
Читатель мой! —
Оно со мною схоже.

АБАКАН

Самое страшное в бродяжьей жизни - отсутствие над головой надежной крыши, я давно это проверил! И потому, прибыв в Абакан, сразу же принялся подыскивать такую крышу... Гостиницы мне были сейчас не по карману и частные квартиры - тоже. (Хозяева пускали к себе только на долгий срок и, к тому же, требовали задаток.) И все же я нашел, в конце концов, убежище вполне подходящее! Оно называлось "Заезжий дом при артели инвалидов", находилось возле городского рынка и представляло собой примитивную, последнего сорта, ночлежку.

Отдельных номеров тут не полагалось; ночлежка состояла из двух огромных комнат, сплошь уставленных койками, и предназначалась для самых низших, беднейших слоев, - для окрестных колхозников, всякого рода вербованных, базарных нищих... Здесь было шумно, грязновато, но во всяком случае - дешево. Суточная плата за койку была - полтинник. Это меня устраивало! Это - а также и то, что нравы в ночлежке были весьма свободные, и администрация не отличалась особыми строгостями.

Кстати, об администрации. Она вся состояла из монстров. Я никогда еще не встречал такого количества калек - безруких, безногих, слепых и глухонемых - собранных воедино... Зрелище это было впечатляющее.

И когда я впервые явился сюда и, стоя в прихожей, у конторки, толковал с дежурным администратором, — я поглядывал на него с содроганием... У человека этого отсутствовала вся левая часть лица: не было ни левого глаза, ни скулы, ни подбородка. По существу, от него остался один профиль! И было жутко смотреть, как профиль этот говорит, моргает, перекашивается в улыбке. И левой руки у него тоже не было. Ее заменял стальной крючок. Этим крючком он, впрочем, орудовал весьма бойко, перебирал бумаги, двигал ящиками стола и даже — почесывался.

Помимо Человека-Профиля, здесь, за конторкой, обитала также темноволосая, смуглая девушка — Ольга, совмещавшая обязанности уборщицы и курьера. Лицо ее — в отличие от начальника — привлекало другим... Оно было прекрасно! Такую строгость линий и классическую чистоту я видел, пожалуй, лишь на полотнах старых мастеров... И эта боттичеллиевская красавица была глухонемой.

Мы обменялись с ней взглядами, и я уловил там, в тени пушистых ресниц, какое-то смятение, некий странный тревожный блеск... И подумал, с чувством острой жалости, что красота для нее — вовсе не утешение, не благо. Скорее, наоборот, — лишняя тяжесть, дополнительное мучение. Ведь это действительно ужасно: иметь так много и, в результате, не иметь ничего! Быть как бы отмеченным печатью неба, а жить среди отверженных... И знать, что это навечно, что избавления — нет.

Были в этом заведении и другие экземпляры — но к ним я старался уже не присматриваться.

* * *

Весь остаток марта я провел, слоняясь по городу... Я бродил, увязая в слякоти и ежась от пронизывающего ветра. Ветер шел из Монголии и был резок и холоден; он бушевал над низкими крышами, гудел в проводах и дребезжал ржавой жестью вывесок.

Надо было срочно устраиваться на работу. И я искал ее упорно. И никак не мог найти.

Тут имелись некоторые сложности. Дело в том, что на каждом крупном предприятии существует отдел

кадров. И там — при поступлении — непременно требуют паспорт и трудовую книжку, содержащую послужной список... Так вот, книжки такой я не имел. А паспорт у меня — вы сами знаете — был неважный и, к тому же, просроченный. Я его, правда, слегка подновил, подправил (вспомнил старую блатную науку!) Но все же вид он имел сомнительный...

В одном из строительных управлений меня спросили напрямик: "Откуда вы такой? Ни одного документа — о прошлой деятельности... Да и паспортешко какой-то липовый... И, кстати, где ваш военный билет? Уж не с луны ли вы свалились?" — "А разве я похож на лунатика?" — попробовал я отшутиться. "Конечно, — сказали мне, — или на лунатика, или на беглого каторжника..." И я поспешил исчезнуть. И отчетливо понял: в моем положении надо "ходить опасно". Соваться повсюду нельзя!

Лучше всего, разумеется, было бы затесаться в какую-нибудь мелкую мастерскую, в кустарную артель, или же — подыскать поденную, временную работенку... Но и это тоже оказалось делом непростым! Если в отделах кадров требовались документы, то здесь — личные контакты, знание среды и обстоятельств.

А я ведь не знал ничего, и был чужим для всех! И действительно чувствовал себя — как бы свалившимся с луны...

Бродя по Абакану, я частенько пересекал центр города, и на глаза мне все время попадалась вывеска. (Красные литеры на черном фоне, окруженные дубовыми — или фиговыми? — листочками.) И как-то раз, остановившись перед ней, я подумал: А может — зайти? Рискнуть? Три прежние попытки не удались — что ж... Сделаем четвертую! Уже не по правилам игры, а против них! Фортуна лукава, переменчива, и — кто знает? — вдруг она мне теперь улыбнется... Вот именно теперь?!

Вывеска завораживала, притягивала. Поколебавшись с минуту, я решительно шагнул к дверям, толкнул их — и очутился в редакции.

★ ★ ★

Первый этот мой визит был, в общем, недолгим. Я познакомился с литературным консультантом Виталием Дубининым. Отрекомендовался лесорубом. А затем объяснил, что — пишу. Увлекаюсь поэзией и прозой. И вот хотел бы кое-что показать... Я человек простой — из тайги, из народа — и любой совет и помощь со стороны культурных людей приму с благодарностью. Он пробормотал уныло:

— Выращивать народные дарования — наша прямая задача.

— Так значит, я вам принесу?...

— А вы уверены, что приносить — стоит?

— Не знаю, потупился я. — Мне кажется, — да!

— Н-ну, если вам так кажется...

Общение с народом, судя по всему, никак не радовало консультанта. Вид у него был сонный, губы обвисли. И говорил он невнятно и прерывисто, — словно бы борясь с зевотой:

— Приносите... Посмотрим... Но учтите: я принимаю по вторникам и пятницам. Только в эти дни.

* * *

Была как раз пятница. До следующей встречи оставалось немного — и я решил к ней подготовиться получше, пересмотреть и заново почистить рукописи, отобрать самое зрелое, самое яркое.

Ты еще у меня проснешься, перестанешь зевать, — думал я, — ты еще, друг мой Дубинин, поймешь, с кем имеешь дело — с каким лесорубом! Я тебе покажу, сукин сын, что такое "народные дарования"!

Я сидел в своем углу, на железной скрипучей койке. Поставленный поперек ее чемодан заменял стол. На нем разложены были бумаги — и я перебирал их, дымил папирсой.

Углубленный в мысли, я как бы отключился от окружающего. И уже не замечал храпящей, сонно ворочавшейся, дурно пахнущей этой ночлежки. Я был сейчас далеко... Но кто-то внезапно приблизился и остановился, сопя, у кровати. И тотчас же я вернулся в реальность.

Я не любил, когда кто-нибудь оказывался за моею спиной; любое дыхание сзади могло означать опас-

ность... И очнувшись, я обернулся резко и вскинул голову, и увидел громоздкого, непомерной толщины человека. Он был пьян. И возвышался надо мной, слегка покачиваясь, засунув руки в карманы грязных клетчатых панталон. Редкие волосы на его черепе стояли дыбом. Под глазами набрякли лиловые мешки.

ПЕРВЫЙ ГОНОРАР

- Пишешь? - гулким басом спросил незнакомец. - Что пишешь-то, ась?

- Ты все равно - не поймешь, - отмахнулся я.

- А может, пойму? - Он прищурился. И потом: - Ты кто?

- А ты кто? - спросил я.

- Я - Барон!

- Какой еще барон? - поморщился я, - Иди, папаша, не мешай! Тебе спать пора. Баиньки.

- Не могу, - прогудел он, - душа горит. - Бас у него был тяжелый, рокочущий, с хрипотцой. - Ты, вроде, - грамотный? Знаешь пьесу Горького "На дне"?

- Ну, знаю, знаю... И - что?

- Это великая пьеса! - Он поднял мохнатый палец. - Проникновенная! О бродягах, о неудачниках, о падших людях, - обитателях такой же, в сущности, ночлежки... Там есть образ Барона, припоминаешь? Так вот, это я.

- Что ж, поздравляю.

- А ты не смейся! Я - тот самый персонаж! Да и все мы, если вдуматься...

Барон широко повел рукой, и при этом - шатнулся. Но все же не рухнул, устоял.

- Все мы оттуда, из горьковского "Дна".

- Почему же - из горьковского? - пожал я плечами. - Из абаканского. Этот вариант не хуже.

- Тоже верно.

Он затих на мгновение. Посопел, раздувая щеки. Потом склонился ко мне и спросил - дохнув густым перегаром:

- Чего же ты все-таки пишешь?

- Ну, стихи. Какая тебе разница?

- Стихи-и, - протянул он. - Интересно!

И вдруг быстрым, каким-то воровским движением,

цапнул лежащие на чемодане листки.

— А ну, — сказал я грозно, — положи!

Раздраженный, рассерженный, я поднялся. И протянул к Барону руку. Не отдаст, — стремительно подумал я, — буду бить! А что еще мне остается? Чертов алкаш... Откуда он только взялся — на мою голову?

И в этот самый момент Барон сказал:

— А ведь вроде бы неплохо! Что-то есть, ей-Богу, что-то есть. Вот тут, например: "Покукуй, Потоскуй, Погорюй, — так зовутся сибирские села..."

И рука моя ослабла. И злость прошла. Я опустил-ся на койку. И глядя на него, понял: это артист! Профессионал! Может быть, опустившийся, потерянный, пропивший карьеру, но, как бы то ни было, — артист настоящий.

Облик его изменился. Выражение пьяного ерничества сошло с лица, и взгляд стал строгим. А голос помягчел, потеплел, обрел удивительную пластичность. Впервые в жизни я слушал свои стихи в таком мастерском исполнении!

Там, в тайге, рыл я землю сырую,
горевал о тебе, в "Погорье"...

Барон читал негромко, сдержанно, слегка подчеркивая ритм и находя певучую музыку там, где я и сам, признаться, ее не видел... И музыка эта постепенно росла, заполняла собой все помещение, все видимое пространство.

Ну и вот, все сбылось. Я доволен!
Томик Киплинга. Лампа. Покой...
Я с тобой. Все сбылось... Я доволен.
Но зачем же, все более, болен
я свирепой, бродяжьей тоской?
"Потоскуй", — свищет сумрак за ставней.
"Покукуй", — закликают составы.
Стал огонь над иззябшей водой.
Мне б все это забыть, мне б забыться...
Но не спится. Не спится. Не спится!

И вот тогда, слушая Барона, я снова воспрянул духом. И опять поверил в себя.

Слушал Барона, как выяснилось, не только я один; известие о ночном "концерте" живо распространилось по всей ночлежке. И я сразу же стал здесь заметной фигурой.

Утром в субботу меня встретил Человек-Профиль. И поздоровавшись учтиво, сказал:

- Отдельных номеров у нас вообще-то не полагается. Но все же есть несколько... Есть... Так вот, если желаешь, - могу устроить.

- Конечно, - восторженно воскликнул я, - еще бы! Но, понимаешь ли...

И я сложил щепотью пальцы, и пошевелил ими смущенно:

- С этим у меня пока туговато - учти!

- Понимаю, - кивнул он. И перекосясь в улыбку. - Это ништо. Неважно. Нет сейчас денег - будут потом.

Новая комната была мала и неказиста, но все же - понравилась мне чрезвычайно! Главным образом потому, что тут было тихо. Никто не тревожил меня, не мешал. Но однажды...

Они вошли осторожно, гуськом, заботливо держась друг за друга и дробно постукивая палочками. Их было шестеро. И тот, кто шел впереди, являлся, очевидно, старшим. Был этот тип высок, сухощав, с запрокинутым к небу жестким морщинистым лицом. На нем была потрепанная - нараспашку - шинель. Над карманом ветхой, латанной гимнастерки пестрели орденские колодки. И вообще весь облик слепца выказывал старого солдата - фронтовика.

- Это ты, что ли, поэт? - спросил он, легонько коснувшись меня палочкой.

- Ну, я.

- Принимай гостей!

- Пожалуйста. А в чем, собственно, дело?

- Как в чем? - отозвался тот. - Ты же ведь поэт? Ну, вот мы и пришли - познакомиться с тобой, послушать...

Ого! - подумал я, - культурная мне попалась ночлежка...

И сказал:

- Что ж, присаживайтесь.

И так начался новый этот концерт... Польщенный и растроганный, я старался изо всех сил, - читал вдохновенно, долго. Выдал слушателям все самое лучшее. Потом, утомясь, закурил. И примолк в ожидании.

- Старший сказал - скучным голосом:

- Вообще-то ничего. Неплохо. Но...

- Что - "но"? - удивился я. - У вас, кажется, имеются какие-то претензии?

- Ты, друг, не обижайся, - проговорил он быстро, - ты вникни. То, что ты сейчас прочел, это все - как бы тебе объяснить? - литература... А нас другое интересует.

- Вот как! - сказал я надменно.

- Ну да, ну да. Нам что нужно? Что-нибудь простенькое, легкое, такое, чтоб петь можно было...

И он добавил, помедлив:

- Это ведь нам не для забавы - для дела.

- Для какого?

- Нашего... - Он потрогал черные свои очки. - Базарного. Песня в нашем деле - главное! Чтобы клиент раскошелится - его надо разжалобить, за душу задеть. Ну, вот. Потому мы и пришли. Может, у тебя найдется что-нибудь?

- Не знаю, - насупился я, - надо подумать. Когда-то я сочинял песни - блатные, лагерные... Но они, наверное, вам не подойдут.

При этих словах слепцы заметно оживились. Старший сказал, придвигаясь:

- А ну-ка, ну-ка - давай! Прочитируй!

Порывшись в памяти, я процитировал несколько текстов - наиболее жалобных, надрывных, в которых речь шла о погибшей молодости и утраченной любви... И это подействовало мгновенно - вызвало всеобщий восторг!

Две особенно понравившиеся песни слепцы заставили меня повторить несколько раз. Затем старший поднялся. Поблагодарил. И, прощаясь, сунул мне в руку плотный конверт.

Я открыл его - и увидел деньги.

- Ну, зачем же? - пробормотал я растерянно. - Не надо, ребята... Нехорошо...

- Чепуха, - небрежно сказал старшой. - Знаешь поговорку: дают - бери, а бьют - беги... Так вот,

бери! Ты человек свой; не стесняйся.

- Но все же неудобно. Если уж давать - то я вам должен, а не вы мне...

- Нашу долю мы на базаре возьмем, выпросим! С такими-то песнями - да не взять? За нас не беспокойся. А это - твое, заработанное, законное.

И они ушли, в прежнем порядке, гуськом, ступая след в след - как индейцы. И оставшись один, я долго сидел, перебирая выпавшие из конверта бумажки...

Быстро же, черт возьми, я тут освоился, - думал я, исполненный мрачного юмора, - удивительно быстро! Добился в сущности, всего, чего хотел: и успеха, и положения. И вот уже удостоился отдельной комнаты. И стал среди нищих - "своим человеком"... И даже получил у них гонорар. Первый в жизни гонорар - за поэзию!

Я пересчитал деньги. Их было немного, всего - сорок рублей. Суммы этой, впрочем, как раз хватало на то, чтобы заплатить за новое жилье... Может быть, Человек-Профиль специально и устроил мне эту встречу? Я усмехнулся, пряча бумажки в карман. - Как бы то ни было, деньги пришли вовремя! И вообще главное - не в деталях, а в сути... Посмотрим, что будет дальше! Первый мизерный гонорар я получил на дне; может быть следующий - крупный - ждет меня на поверхности?

"ВАШЕ БУДУЩЕЕ - В ВАШИХ РУКАХ"

Я притащил в редакцию целую кучу рукописей; там были лирические стихи, две поэмы и несколько новелл из "Хакаской тетради".

Принимая бумаги, Дубинин сказал:

- Ничего себе архив! - Он посвистал негромко. - Да тут материалов - на полное академическое собрание. Такие обычно делаются посмертно...

- Ну, помирать я пока не собираюсь, - улыбнулся я, - и потому не претендую - на полное... Достаточно будет, если вы отберете какой-нибудь цикл стихов или - парочку рассказов. Даю вам право выбора!

- Даете, значит, такое право? - проговорил он иронически. - Ну, ну... Спасибо.

И потом - поднимая брови:

- Где ж это вы все - успели? Когда понастряпали?

- В тайге, - сказал я смирным голосом. - По вечерам. В свободное от работы время.

- Поглядим, - протянул он. - Посмотрим! А вы - покурите пока. Или прогуляйтесь по редакции, что ли...

Я покурил. И потом - прогулялся. И снова меня окружила и взбудоражила знакомая редакционная атмосфера; суета и гомон, и несмолкаемый стрекот машинок, и особый неповторимый запах типографской краски... Была во всем этом какая-то проклятая, дьявольская притягательность, была - что говорить!

Часа два спустя я заглянул к Дубинину - и застал его оживленно разговаривающим по телефону. Вид у него был уже не тот, что вначале; он словно бы и впрямь проснулся!

С треском бросив трубку на рычаг, он поворотился ко мне и сказал, сразу переходя на "ты" и как бы подчеркивая этим новую, дружественную форму отношений:

- Эй, старик! Ты где же шляешься? Я уже тут говорил - насчет тебя.

- С кем же это ты?... - спросил я, подхватывая новый тон.

- С заместителем главного редактора. Он приглашает... Идем!

- Так ты, значит, считаешь...

- Естественно. Иначе - какой же был бы смысл?

- Ну, я рад.

- И я тоже, - сказал он, - это все-таки редкость, встретить среди "народных дарований" что-либо по-настоящему серьезное.

- А что тебе - к примеру... - начал я.

Он быстро сказал:

- Стихи! Лирические миниатюры, картины природы.

Теперь, пробудясь, он все делал быстро, и - на лету улавливая мысль - перебивал меня, опережал.

- Я просмотрел их, правда, наспех, - по диагонали - так что могу говорить лишь о первом, общем впечатлении... Так вот, оно неплохое.

- Ну, а как насчет...

- Прозы? Что ж, слог у тебя есть. Однако то, что ты принес, лучше даже и не показывать начальству. Во всяком случае - пока.

- Почему же?

- Да потому, что ты пишешь так, как будто живешь не в России, а где-нибудь на Западе...

- Что-о-о? - удивился я, - ну, брат, это ты загнул... При чем здесь какой-то дурацкий Запад?

- Ну, как же! Там ведь пишут - без тормозов. Работают, в основном, на эффект, на публику. И ты - тоже! Ты же никак не учишь наших требований, наших задач... Вот у тебя есть рассказ "Мирская тропа". Ты затронул в нем проблему сектантства. Проблема эта важная, серьезная, особенно - в здешних краях! Но какова же твоя позиция? Вместо того, чтобы осмыслить факты критически, - осудить и развенчать сектантство - ты ограничиваешься простым описательством. Мало того, ты даже как бы любишься мрачным этим колоритом... Словом, ты оказался, как говорят журналисты, "в плену у материала". И это обстоятельство, имей в виду, сразу же отметят все, и поставят тебе в вину.

Дубинин произнес это бойкой скороговорочкой, слегка посмеиваясь, поигрывая бровью. Как бы приглашая меня отнестись к сказанному с юмором, но все-таки - запомнить и учесть, на всякий случай...

- Я ведь излагаю не столько свое личное мнение, сколько общую установку, - пояснил он, пряча рукопись в стол. - Понимаешь? - И замкнув ящик, пошел к дверям.

- Постой-ка, - уперся я, - ты вот говоришь...

- Айда, старик, - мигнул он, - хватит митинговать! - И бесцеремонно потащил меня за рукав. - Начальство ждать не любит!

* * *

- Так вот вы какой! Ну, садитесь, рассказывайте.

- О чем же? Право, не знаю...

- Да о себе, о себе! Вы, стало быть - из тайги?

- Из Белых Ключей.

- Это, простите, где?

- В верховьях Аскиза, в горах.

- Та-ак... И что же вы там делали?

- Лес рубил - что же еще? Трудился в леспромхозе. И, конечно, охотничал... Наша таежная жизнь проста - не то, что у вас, у городских!

- А родом вы откуда?

- Да тоже, - пробормотал я, дернув плечем, - из тайги.

- Ну, а - здесь, теперь?..

- Теперь вот приехал в лесопромышленный трест - на курсы по повышению квалификации.

Я не спеша - эдак с ленцой - достал из кармана потанинскую справочку. (Все-таки я не зря ее припас, не зря! Для устройства на работу она не годилась; здесь же оказалась - в самый раз!) Заместитель редактора прочел ее, повертел в пальцах. И возвращая мне, сказал:

- Так, хорошо...

Пожилой, седоватый, заметно лысеющий, он сидел за большим, заваленным бумагами столом. Он не один сидел; чуть поодаль, на углу, помещался какой-то мужчина, в сереньком, наглухо застегнутом пиджаке, в сером галстуке, с узким (и тоже серым) лицом и глазами мутного болотного цвета.

Серый этот человек до сих пор помалкивал... Теперь вдруг спросил - непонятно к чему:

- И живете вы при курсах, в общежитии?

- Н-нет, - замялся я, - в другом месте.

- Где же?

- В заезжем доме, возле базара.

- Это - при "артели инвалидов"? - поднял он брови.

- Да...

- Почему ж - там?

- Да уж так получилось, - пожал я плечами. - В общежитии, когда я приехал, мест не оказалось... Попросили обождать... Ну, вот. - Я снова пожал плечами. - А что мне еще остается? Да это, в общем-то, и не важно. Главное ведь - в другом...

- Насколько я понимаю, - мягко сказал заместитель редактора, - вы хотели бы начать работать с нами?

- Н-ну, если бы такая возможность представи-

лась...

Я поймал себя на мысли, что слишком часто пожимаю плечами, и тут же дал себе слово не делать этого и вообще — держаться строже и осторожней. Зачем вот я, идиот, сболтнул про ночлежку? Подробность эта выглядит сомнительной, странноватой... А они тут взвешивают все. С ними нужно держать ухо востро!

— Что же, — проговорил заместитель, — газете даровитые люди нужны. Наш консультант... — Он мельком, с улыбочкой, глянул на Дубинина, — выдал вам самые лестные рекомендации! А он у нас ценитель строгий. И хвалит редко. И если теперь не ошибся...

— Нет, нет, — сейчас же отозвался Дубинин, — парнишка перспективный! Из него, я уверен, выйдет толк. Был бы он только — послушным.

Тут опять вмешался серый человек:

— В книжное издательство вы, кстати, еще не обращались?

— Да еще нет, — сказал я, — решил вот, поначалу, — прямо сюда...

— И правильно. Зачем спешить? Начинать лучше всего через прессу! Мы можем помочь — сделаем вам имя... И уже тогда... С нашим мнением считаются всюду. А как же иначе? Голос газеты — это голос партии!

— И народа, — веско сказал заместитель.

— И народа, — кивнул серый, — да, и народа...

— Между прочим, очень хорошо, — сейчас же проговорил Дубинин, — очень важно именно то, старик, что ты — представитель трудовых слоев, а не этой нашей тухлой интеллигенции.

— И если вы поведете себя правильно, умело, — подхватил заместитель, — перед вами могут открыться заманчивые перспективы!

Они говорили поочередно, ловко подавая реплики — как на сцене. И я начинал уже инстинктивно догадываться, что здесь разыгрывается какой-то еще неясный для меня спектакль.

— Я как-то не очень понимаю, — пробормотал я, — о чем, собственно, речь? О работе?

— Именно, — отозвался заместитель. — Дело тут вот какое... Принять вас сразу, сейчас, мы не мо-

жем. Это вообще ведь с налета не делается! Но при нашей газете имеется литературное объединение молодых, — которым как раз и руководит Дубинин! Этих молодых мы опекаем, растим и иногда печатаем — в воскресных номерах... Так вот, вы войдете туда. Примете участие в работе коллектива. Ознакомитесь с людьми. И начнете нам помогать... И это будет — ваш первый шаг!

Я слушал его — и все томительней мне становилось... Спектакль этот начинал мне не нравиться. Активно не нравиться!

— Как же я должен помогать? — спросил я, насто-рожась.

— Ну, детали потом обсудит с вами Дубинин, — сказал, подаваясь ко мне, серый, — введет вас в курс дела. А я тут вкратце хочу одно лишь заметить. Время сейчас, сами знаете какое... — Он наморщился и пошевелил пальцами. — Сложное время! И кое-кому, в связи с этим, может померещиться, что власть покачнулась, ослабла... Это явное заблуждение! Партия осталась, и по-прежнему — сильна! Однако некоторый разброд и шатание все же наблюдаются кое-где... Главным образом, в кругах творческой интеллигенции. Она ведь — с гнильцой! И легко заблуждается, и быстро впадает в ересь... И потому-то сейчас — как никогда — с особой силой и остротой встает вопрос о бдительности.

Он пристально, не мигая, посмотрел на меня бо-лотными своими, тусклыми глазами.

— Вы понимаете? Нам нужно знать настроения писательской среды. И особенно интересует нас молодежь.

— Ого, — подумал я, холодея, — так вот в чем дело! Они просто-напросто вербуют меня в доносчики, в провокаторы.

Серый выговорился — и потянулся за папиросами. В кабинете воцарилось молчание. Надо было что-то отвечать...

— Не знаю, право, как быть, — с трудом, запинаясь, сказал я. — В газете мне, конечно, очень бы хотелось поработать... Но — на других условиях! На других!

— Ну, голубчик, здесь у нас не торгуются, —

сказал заместитель. И поднялся, давая этим понять, что аудиенция кончена. — Как хотите. Но все же — подумайте...

— И не забывайте, — веско, с металлом в голосе, добавил серый, — ваше будущее — в ваших руках!

СМЕХ И СЛЕЗЫ

Когда мы вышли, Дубинин сказал, понижая голос: — Что с тобой, старик? Ты, я вижу, чего-то вибрируешь, мнешься... Плюй на все и соглашайся.

— Как так — соглашайся? — возразил я гневно. — Да ты в своем ли уме?

— Я-то в своем, — зачастил он, — а вот ты... Ты... Подводишь и меня, и себя самого! Да ты понимаешь, какой шанс ты упускаешь? Чудак, ты же можешь сделать здесь грандиозную карьеру.

— Это на чем же? — прищурился я. — На стукачестве? На доносах?

— Стукачество — пустяки, — отмахнулся он, — это дело десятое... Партийное начальство таким образом выказывает тебе свое доверие — только и всего! Ну, и приобщает к себе, конечно... Но почему, ты вдумайся, почему?

Я внимательно посмотрел на него. Странный это все-таки был парень — словно бы без костей, без стержня. Ничего не принимающий всерьез. Надо всем иронизирующий. Все понимающий — и на все согласный... И закулив, затянувшись сильно, я спросил:

— Скажи-ка, Виталий, чем ты дышишь? Кто ты?

— Кто? — он поднял ко мне лицо — веснушчатое и круглое — и вот тут я впервые увидел его серьезным. — Не знаю... Спроси-ка о чем-нибудь полегче.

— Ладно, — сказал я, — так что ты там такое лопотал насчет "карьеры"?

— Ты оцени ситуацию, — заговорил он, помедлив, — объединение у нас маленькое. И способные ребята там есть, естественно. Но все они — как говорит парторг — "с гнильцой"... И противопоставить им некого. А надо! И срочно. Нужен некий "глас народа", но где он? Где? В Москве-то все просто; на

тамошнем литературном рынке можно найти любых мастеров, на всякий вкус... Но ведь здесь же глушь, дикость. Провинция! У нас и интеллигенция-то "гнилая" - не шибко образована. А уж о простых работах и говорить нечего.

Мы медленно шли по коридору к выходу. Вокруг сновали люди, и Дубинин (очевидно, не желая быть услышанным со стороны) поминутно сбивался, замолкал, сыпал сдавленным шепотком:

- Вот у меня есть трое писак - из народа. Это же анекдот! Выступают-то они не "против", выступают - "за"... Но кому нужна их самодеятельность? Еще вчера шеф восклицал: "Где бы раздобыть хоть одного - стоящего? Я бы ничего не пожалел..." А тут как раз ты и являешься. Лесоруб. Таежник. Эдакий сибирский самородок! И к тому же поэт - настоящий, без подделки! И в стихах - сплошная романтика и никаких сомнительных зигзагов... Да ты для редакции поистине редкостная находка.

И тогда я сказал - неожиданно для себя самого:

- Знаешь... Если - по правде, то не такой уж я чистый самородок, как это кажется.

Он усмехнулся. И ответ его заставил меня покачнуться:

- Ты думаешь, я дурак? Ничего не соображаю? Конечно, ты темнишь... Откуда у простого таежника может быть такая выучка? Но мне, в конце концов, плевать. Валяй! И коль уж начал темнить - иди до конца!

И затем - уже стоя в дверях:

- Я, собственно, так и полагал, что ты согласишься на все, - проговорил он задумчиво, - ухватившись за любую возможность... И даже заранее поручился за тебя - перед парторгом! И все время тебе подыгрывал.

- Так ты, значит, был твердо уверен?... - начал я изумленно.

- Естественно, - сказал он, - какой же еще тут может быть вариант? Если да - так да. А если нет, зачем вообще было темнить?

Мы простились. И на улице я вспомнил вдруг, что у Дубинина в столе остались мои рукописи.

Я споткнулся, стал, поглядел назад... И махнув рукой, побрел, ссутулясь, прочь. Нет, появляться в

редакции снова мне сейчас не хотелось! Не хотелось встречаться там с кем-либо... Зайду как-нибудь потом, — думал я, пряча от ветра лицо в воротник, — когда-нибудь в другой раз.

Но уже знал я, чувствовал, что "другой раз" — наступит не скоро.

* * *

В эту ночь я не спал — пил горькую и жалел себя, и проклинал свою незадачливость.

Что же это такое, черт возьми, — думал я, сидя взаперти, в одиночестве, — за бутылкой водки. — Словно какой-то рок меня преследует. Я перепробовал все варианты. Разыгрывал — как в балагане — самые разные роли. И не добился ничего! В Иркутске я предстал под видом столичного хлыща — и все окончилось огнем и бегством. А здесь — сменил личину и изобразил таежного простака... И опять прогорел. И запутался. И крепко запутался! Задумал обмануть кого-то... Да разве этих волков обманешь? Маскарад мой оказался наивен, смешон, и Дубинин раскусил меня без труда.

И сейчас же — по краю моего сознания — прошла новая, тревожная мысль: в общем-то там, в редакции, со мной попробовали заключить сделку. И откровенно дали мне это понять. И серый не случайно кинул фразу: "Ваше будущее — в ваших руках"! Тут была скрытая угроза и явный намек. Намек на то, что мое будущее теперь — уже не в моих руках, а в их...

Мне стало неуютно, тоскливо. На мгновение я ощутил себя, как в полярной тайге, — одиноким, окруженным незримой опасностью... И залпом осушил стакан. И вновь наполнил его — вровень с краями.

И в этот момент в дверь ко мне постучали. Стук был осторожный, вкрадчивый.

— Кто там? — отозвался я.

В коридоре замерли, затихли. Но не ушли! Послышался смутный шорох. Кто-то легонько подергал дверь, как бы проверяя: заперта ли она...

И рука моя, держащая стакан, невольно дрогнула и опустилась, расплескивая водку.

— В чем дело? — спросил я с перехваченным дыханием, — кто это? Отвечайте же!

Ответом мне было молчание.

— Эй, — проговорил я хрипло, — что это еще за мистика? — и поднялся, опасливо поглядывая на дверь.

Там, за нею, кто-то таился, шуршал — хотел проникнуть ко мне... И молчал. Все время молчал! И упорное это молчание было непонятым, пугающим.

Мне вспомнилась старая босяцкая поговорка: "в жизни самое главное — вовремя смыться!" И я быстро оделся. И подойдя на цыпочках к окну, распахнул его бесшумно. В лицо мне хлынула ночь, обдала ветром и сыростью. Я вздохнул, глянул вниз (комната находилась на втором этаже) и мягко спрыгнул во тьму.

Кто же это мог быть? — лихорадочно соображал я, — очевидно, кто-то, точно знающий, что я здесь живу. Потому-то он и не спрашивал ни о чем! А раз не назвал себя — значит, был из милиции. Не хотел заранее пугать... Но почему милиция меня ищет? Скорее всего — в связи со старой леспромхозовской историей. Дело о поджоге, стало быть, не заглохло, и в тресте о нем знают. Ну, а газетчики непременно должны были обратиться за информацией в трест — это натурально... И с ходу выяснили все! А так как сделка наша не состоялась, они меня спокойно отдали органам... Тут схема проста, отчетлива. А я, глупец, к тому же сам им помог — раскрыл свои карты, дал этот адрес!

Я перемахнул ограду, отделяющую ночлежку от территории рынка, и углубился в путаницу рыночных закоулков, павильонов, ларьков... Время было позднее, и луна уже сдвинулась к западу, и косой ее, пепельный свет, шел теперь поверху, по крышам строений. Внизу клубились густые плотные тени; они укрывали меня надежно. И я помаленьку стал успокаиваться.

Перевел дух. Закурил — пряча огонек папиросы в ладонях. И какое-то время стоял, озираясь, прислушиваясь... Было тихо, спокойно. Никто не гнался за мной. И со стороны ночлежки не доносилось ни единого звука.

Тогда я решил вернуться и посмотреть, прове-

рять: что же там происходит?

Ночлежка мирно спала, и окна были темны; светилось только два, — мое, наверху, — и большое яркое окошко администрации, расположенное у самого входа.

Я заглянул в него украдкой. И увидел знакомый античный профиль — пушистые ресницы, прямую линию носа, тяжелый узел волос на затылке и нежную, длинную, склоненную шею... Ольга что-то читала, сидя за столом (она, вероятно, подменяла дежурного), и она была в дежурке — одна!

Толкнув дверь, я вошел торопливо. Ольга подняла глаза — и в них отразилось смутение. Она моргнула растерянно. Схватив лежащий на столе клочок бумаги, я написал:

"Кто-нибудь приходил — спрашивал меня?"

И щелчком перебросил к ней записку.

Она прочла. Помотала головой. Потом написала легким, летящим своим почерком:

"Нет, я никого не видала..."

"Но ко мне в комнату недавно стучался кто-то... Ты не знаешь — кто?"

Ольга помедлила. Прикрылась ресницами. И вывела крупно:

"Я".

"Что? — разрывая пером бумагу, чиркнул: — Ты?"

"Да".

"Но зачем", — начал было я... И тут же бросил перо, все мгновенно сообразив и задохнувшись от смеха. Предельное напряжение, сковывающее меня, внезапно схлынуло, сменилось судорожным каким-то, истеричным весельем.

Я смеялся неудержимо, бурно, до слез; задышался и всхлипывал, вспоминая нелепое свое бегство, все свои страхи и метания... Слезы текли по моим щекам и орошали губы соленой влагой, и мочили воротник свитера.

И вдруг я понял, что они — настоящие, нешуточные, и что сейчас я вовсе не смеюсь...

БРЕД

Недоразумение разъяснилось. Но все же ночлежку я покинул вскоре, ушел - подальше от греха... И помог мне в этом Барон.

Барон (я теперь так и буду его называть) оказался действительно старым актером - весьма известным в прошлом провинциальным трагиком. Он начинал когда-то в Одессе, объехал весь Юг; лицедействовал в Киеве, Харькове и Минске. Успешно играл там шекспировского Фальстафа, горьковского Барона. А затем попал под волну террора. (В послевоенные годы, как известно, Белорусский государственный театр был подвергнут чистке и сослан в Сибирь - почти в полном составе.) Здесь, в захолустье, старик опустил, стал запивать. Он еще, правда, продолжал выступать в местном театрике, но уже - не в главных ролях. И вообще не часто... Когда случался очередной запой, он бросал службу, уходил из дома, и скрывался ото всех - "на дне". И, бывало, пропадал в ночлежке неделями. В один из таких вот периодов мы как раз и познакомились! Потом Барон исчез. Но ненадолго. И однажды опять появился - весь опухший, небритый, растерзанный. И новая эта наша встреча была уже иной - приятельской. Он сразу же пригласил меня "огорчиться водочкой", "принять полкило отравы". И я принял, конечно... И в завязавшейся хмельной беседе открыл ему все; рассказал о себе без утайки.

- Сделаем вот что, - объявил, поразмыслив, Барон. - Пойдем-ка, брат, в театр! Директор там - гад. Но главный режиссер (хоть он тоже гад) все-таки человек наш, вырос на подмостках и знает меня еще по старым временам. Помнит, как я гремел! И думаю, он поможет... Куда-нибудь мы тебя воткнем... Только вот вопрос: что ты умеешь? Помощником осветителя - смог бы? В электричестве разбираешься?

- Н-нет... Я всю жизнь его как-то побаиваюсь, - признался я. - А вдруг - ударит?!

- Ну, подумаешь, - возразил растеряннo Барон. - Ну, что ж такого... Если даже и ударит... Все же ведь, током - не ножом!

- Так, милый, нож-то, как раз - не страшен, - пьяно принялся я объяснять, - тут все просто, все

естественно...

- Интересная у тебя точка зрения, - пробормотал он, разливая водку по стаканам. - Какая-то первобытная. А впрочем, я тебя понимаю.

И шумно глотнув, Барон склонился ко мне - вытянул дудкой толстые свои губы:

- Я, дружок, по правде говоря, и сам его боюсь.

- Кого - его?

- Ну, тока...

Какое-то время мы оба молчали, думая каждый о таинственных силах электричества. Барон сидел, подперев кулаком волосатую щеку. Физиономия его перекосилась, и правый глаз зажмурился.

Потом он сказал:

- Эх, если бы ты в гримерном деле понимал... Нам сейчас до зарезу нужен гример!

- В свое время я, вообще-то, мечтал стать художником, - неуверенно произнес я, - учился у неплохих мастеров.

- Да ну? - Он задрал косматую бровь. - Не врешь?

- Нет, правда, - заторопился я. - Даже работал немного в Москве - как график, плакатист... Но это все давно было, сразу после войны. И недолго.

- Неважно, - прогудел Барон, оживившись. - Главное, чтоб закваска имелась!

- И предупреждаю заранее: с гримом я, все-таки, никогда...

- Ничего, малыш, не боги горшки обжигают. - Он распрямился, тряхнул щеками. - Для начала я тебе разъясню кое-что. А дальше все само пойдет... Наш гример, Володя, тоже ведь был самоучка.

- А куда он, кстати, подевался?

- Да болван эдакий - повесился...

- Что-о? - удивился я, - почему?

- Говорят, из-за любви... Ты ее еще увидишь, эту актрисочку; ее уборная как раз возле гримерной мастерской. Что между ними было - не знаю. И вообще, решительно не могу себе представить, чем там можно увлечься... Это же не женщина - гиена. А вот, поди ж ты, - любовь! Да еще роковая! Ну, как тут не вспомнить пророка Исайю: "Блаженны вы, сеющие при всех водах". Это, конечно, мудро, правильно... Но все-таки, вешаться-то - зачем?

Вот так я попал в театр и начал подвизаться на новом поприще!

Гримерная мастерская представляла собою небольшую комнатку, заваленную бутафорским хламом. У одной ее стенки помещался обширный, многостворчатый, зеркальный трельяж, а другая — противоположная — была сплошь увешана разноцветными париками. Здесь я работал. И здесь же — спал.

Впервые приведя меня сюда, Барон сказал:

— Ну вот, дружок, твое новое убежище. Твой кров... К себе, извини, жить я тебя не зову — боюсь. Жена у меня нервная, ненавидит всех моих друзей; считает, что они меня спаивают, и встречает их утюгами... А тут ты будешь полным хозяином. Ну, как? — Он посмотрел на меня из-под нависших бровей. — Подходит? Нравится?

— Вполне, — улыбнулся я. — Еще бы!

Потом он прочитал мне небольшую лекцию об основах гримерного ремесла. И показал, как пользоваться париками.

Перебирая их — стоя у дощатой стенки — Барон сказал:

— А вот там, с той стороны, как раз и обитает Гиена... Переодевается... И Володя общался с ней следующим образом — гляди!

И он, отогнув один из париков, указал на узкую, заткнутую грязной тряпкою, щель.

— Любовался, дубина эдакая, подглядывал... Мастурбировал, что ли?

Уроки Баронагодились мне и очень: занимался он со мною, правда, не долго (наступил очередной запой, и старик снова исчез.) Но все же, с помощью его, я успел приобрести необходимые навыки. А дальше — как справедливо выразился мой учитель — все пошло само...

Я принят был на работу с двухмесячным испытательным сроком. И уже верил, что испытание — выдержи. Если, конечно, ничто не помешает... Но что

же здесь могло помешать?

Работал я усердно, держался замкнуто, в театральные интриги не вступал, и вообще ни с кем не сближался. Среду эту я, в общем, знал и старался держаться от нее подальше.

Хотя нет. Была все же одна фигура, к которой я испытывал некий, необъяснимый интерес.

Роясь в париках, я нередко наталкивался взглядом на щель, заткнутую тряпкой. И постепенно заразился любопытством и все чаще стал прислушиваться к звукам за стеною.

Оттуда доносились порою невнятные голоса, какая-то возня, кобылиное ржание. И как-то раз я не выдержал. И вынул тряпку — несмелой рукой...

И увидел двух женщин. Одна из них, стройная, худенькая и совсем еще на вид молодая, была в балетной пачке. Присев на стул, она усердно массирует свои ноги. Другая, — постарше и поплотнее — стояла, кутаясь в халатик, у зеркала.

Оглаживая тугие, крепкие икры, молодая сказала: — Кормильцы мои...

— Эх, ты, дурочка, — ответила старшая. И повернулась к ней, усмехаясь ярким, маленьким ртом. — Ничего ты не понимаешь...

Небрежным жестом отворила она полу халата. (Под ним обнажилось желтоватое тело.) И ладонью — легонько — похлопала себя по низу живота:

— Вот, что всех нас кормит! Только это одно.

И сейчас же я подумал, — поспешно затыкая щель: Ого! Так вот она какая, Гиена. Это наверняка — она... Плотоядная баба, сразу видать.

Несколько дней я старался не задерживаться у этой стенки и не думать о том, что творится за нею... Но потом, как-то невзначай, помимо воли, снова потянулся к щели.

Я иду по скользкому пути Володи, — усмехнулся я.

И колеблясь и замирая, заглянул в обиталище Гиены.

Она была одна и, на сей раз, — безо всякой одежды! И сидела она теперь лицом ко мне, с отрешенным, задумчивым видом. Лицо у нее было весьма миловидное, но с какими-то мелкими, острыми чертами...

Она сидела, вольно раскинувшись на стуле. Обнаженные ноги ее были раздвинуты. В одной руке дымилась папироска. А другою — она поддерживала большую, мягкую свою грудь.

И невольно я отшатнулся, отпрянул, — сразу вспотев и испытывая странную слабость.

Нет, — решил я, — хватит! Начинается какой-то бред... Да и стыдно все-таки подглядывать... не дай Бог, она заметит! Но почему же она так сидит?

Я отошел к противоположному краю комнаты и занялся там приготовлением телесного "первоначального" грима. Краска эта — близкая к цвету загара — расходуется в театре больше всего. Ни один актер не выйдет без нее на подмостки! Дело в том, что обычная кожа в резком свете прожекторов выглядит слишком блестящей и неестественно белой. Грим же придает ей натуральность. И он не отражает света. И на нем не видны капли пота. Словом, он крайне необходим — и его всегда не хватает. Составлять его приходится во множестве. И процесс этот, к тому же, не простой, ибо для каждого конкретного лица требуется особый оттенок, соответствующий цвету глаз и волос... Этим, конечно, отнюдь не исчерпывается гримерная работа. Первоначальный слой является всего лишь фоном, на который наносятся портретные штрихи. Но это все — потом, погода... А пока вернемся к сюжету! Итак, я стоял перед трельяжем и, склонясь над длинной полкой, загроможденной всевозможными флаконами, банками и тюбиками, — старательно смешивал краски.

И внезапно, услышал тихий свист...

Я оглянулся: в комнате не было никого. Значит, свист этот шел из-за стенки.

Подойдя к ней, я отодвинул парик — и встретился с чьим-то внимательным взглядом. В щели был виден темный, подкрашенный, чуть удлиненный женский глаз — глаз Гиены! С минуту мы молча, в упор, смотрели друг на друга. Потом глаз дрогнул, блеснул и пропал... Появились влажные губы — и послышался шепот:

— Эй, ты чего ж? Посмотрел — и ушел...

— Это случайно, — залопотал я в смущении, — извините.

— Да ты не стесняйся, глупый... Или — не хочешь?

- Боюсь, - сказал я.

Я вдруг понял все! Она, оказывается, отлично знала, что за ней наблюдают, и не возражала; ей это, наоборот, нравилось! Она специально устраивала такие сеансы - давно уже и, видать, с наслаждением и не для меня одного...

- Чего ж это ты такой робкий? - хихикнула Гигена?

- Боюсь, что в результате чокнусь, - сказал я, - и тоже повешусь, - как ваш Володя.

* * *

Ощущение бреда, чувство какой-то странной нереальности происходящего не покидало меня все последнее время. И оно постепенно росло это чувство, усиливалось, крепло...

И однажды - дошло до предела.

Это случилось в тот день, когда в мастерскую ко мне вошел незнакомый человек; приземистый, коротконогий, с выпуклым брюшком и ранними морщинами на мятом и воспаленном лице.

Он вошел без стука. И сходу, с порога, представился:

- Привет! Я - Володя.

- Какой Володя? - рассеянно спросил я.

- Ну, как какой? - сказал он, - как какой? Гример!

При слове "гример", я вздрогнул и выронил из рук банку с кремом.

- Постой, как же так? - проговорил я, запинаясь. - Ты - тот самый Володя? Но тебя же нету. Ты ведь повесился!

- Это кто ж тебе наболтал? - криво усмехнулся он. И пройдя вглубь комнаты, уселся на табурет.

- Да вот, сказали...

- Ну, было, было, - произнес он ворчливой скороговоркой, - было - верно... Сунулся по пьянке в петлю, хотел кончать с проклятой этой жизнью... Так ведь - не дали! Спасли! А кто их просил? Набежали люди, вызвали санитаров. Те меня сразу в больницу упрятали - к психам, под замок. Полтора месяца там держали, подлецы. Только вот нынче вы-

пустили...

— Стало быть, ты прямо оттуда, из психлечебницы?

— А ты думал — с того света?

Он осмотрелся медленно. И словно бы тень прошла по его лицу.

— Я вижу, ты здесь прочно обосновался, — процедил он угрюмо. — Небось, был бы рад, если бы я и в самом деле — того... а? — И он подмигнул мне, оскалясь. — Только нет, я еще жив покуда. И место это — мое!

ПОТЕМКИ

Я ушел из театра — но бредовая моя жизнь на этом не кончилась, нет! Некоторое время я бил чечетку на городской эстраде (причем, должен был почему-то наряжаться то чертом, то женщиной, то голливудским злодеем!), а затем стал работать в контакте с гипнотизером... Тип этот демонстрировал примеры массового внушения — усыплял собравшуюся в зале публику. И это ему в самом деле удавалось! Но вовсе не благодаря гипнозу, а единственно потому, что он — с редкостной сноровкой — умел нагонять на зрителей смертную скуку. Моя задача как раз и заключалась в том, чтобы заранее подготавливать зал. Я выступал, как декламатор — читал многословные, специально подобранные, классические тексты. После меня выходил баянист и исполнял, пригорюнясь, что-нибудь протяжливое, минорное — из Римского-Корсакова, или Рахманинова. И уже потом появлялся маэстро в черной крылатке.

Подойдя к краю рамп, он раскланивался, вздымал демонически руки. И начинал заунывно вещать: "Вы весь день работали и устали и вот теперь вы отдыхаете. Там, снаружи, было шумно и холодно, а здесь, внутри — тихо и тепло. Вы можете расслабиться, забыть обо всем... Так забудьте! Отдайтесь чувству покоя! И слушайте не мои слова, а внутренний ваш голос, зовущий ко сну... Он зовет — и у вас уже смыкаются веки."

Если публика не поддавалась, не задремывала, он

не отчаивался. И настойчиво продолжал ее убеждать... Но обычно особых убеждений тут не требовалось; намаявшиеся за день люди засыпали охотно! Они действительно ведь — работали и устали. И там, снаружи, было холодно, а здесь, внутри — тепло... И в конце представления зал дружно похрапывал, и жулик наш торжествовал, а мы с баянистом потешались, глядя на все это из глубины сцены.

Но однажды я заметил среди публики знакомые лица.

В зале сидел Скелет, работник управления внутренних дел, и рядом с ним — директор леспромхоза из Белых Ключей. И они не спали! И вид у обоих был весьма оживленный: Скелет указывал на меня пальцем, а директор шептал ему что-то...

И по давней своей, укоренившейся, звериной привычке, я сразу же отступил в тень, за кулисы, торопливо оделся — и бежал, не сказав никому ни слова.

Я бежал! И поскитавшись с неделю по городу, вернулся опять в инвалидную ночлежку... А куда еще я мог теперь деваться?

Возвращение было грустным. Выглядел я довольно жалко, и встретили меня там без прежнего воодушевления. (Вот тут я имел случай убедиться, сколь быстротечна и обманчива слава!) И Человек-Профиль, и глухонемая его помощница — оба они, каждый по-своему, — разочаровались во мне. И уже никто не предлагал мне отдельной комнаты... И я поселился внизу, на старом месте — в грязном, обшарпанном, полутемном своем углу.

Раньше я не обращал внимания на детали, не замечал по-настоящему, каков он, этот угол! Все здесь как бы освещалось надеждами... Теперь свет погас.

И наступили потемки.

* * *

Чтобы не голодать (и как-то все же расплатиться за койку), я вынужден был отныне соглашаться на любую черную работу.

Я очищал от мусора территорию рынка, подрабаты-

вал в качестве грузчика. Был момент, когда мне предложили заняться ловлей бродячих собак и кошек. Предложение было выгодным; платили в этой организации неплохо. И к тому же предоставляли бесплатную комнату... Но все-таки тут я восстал, воспротивился - и не польстился на выгоду.

- Не могу я ловить бездомных псов, - пояснил я, усмехаясь, я их жалею; я же ведь и сам такой, как они!

- Вот то-то и беда, что ты такой, - возразил мой собеседник. - Это точно. Мы все здесь видим, как ты живешь, куда катишься... Добром такая жизнь не кончится... Остановись! Одумайся! И иди - пока есть свободное место - к нам. Вливайся в здоровый коллектив.

- Нет, к вам я - погожу.

- А на что ты еще годен? На что рассчитываешь-то?

- Не знаю...

Человек, с которым я толковал, был с седой не-ряшливой бородой, в брезентовом плаще - нараспашку. От плаща остро пахло псиной, навозом, какой-то сладковатой гнилью... Мы сидели, потягивали пиво. Потом он допил кружку - и ушел, отдуваясь, стуча тяжелыми сапогами.

А я остался сидеть, облокотясь о столик и задумчиво грызя папироску.

Разговор этот происходил в небольшой закусочной, неподалеку от ночлежки... Я был в закусочной своим человеком - заглядывал сюда частенько и пасся здесь; помогал по хозяйству колол для кухни дрова.

Работал я тут не за деньги - а за харчи. И не зря; кормили меня, надо сказать, отменно!

В ту пору только начала внедряться новая практика самообслуживания. И маленькое это заведение являлось первым во всей Сибири образцом послесталинского западного модерна... Посетители - теснясь и робея - подходили с подносами к раздаточному окошку и получали там горячую еще и холодную закусочку. Раздавала все это Настя, бойкая бабенка - румяннолицая, белозубая, с тугими бронзовыми кудряшками волос и смешливыми ямочками на щеках... И когда подходил к ней я - она заметно оживлялась,

наваливала мне всегда тройную порцию пельменей и ставила на поднос бутылку пива и большой, запотевший от холода, граненый стакан перцовки. Перцовка с пивом — это был высший шик!

За пределами кухни я Настю не встречал; видел ее только в окошке. И оттуда она посылала мне лукавые свои улыбочки... И порою, в минуты затишья мы с ней шутили, переговаривались.

— Вот уже май кончается, — как-то сказала она, — а тепла все нет. Этот ветер проклятый... Ночью проснешься — он воет в трубе, тоску нагоняет.

— А ты спишь-то — одна? — спросил я.

— Одна, — кивнула она, потрепетав ресницами.

— Что ж так? Ведь скучно, небось, холодно?

— А ты бы хотел меня погреть? — прищурилась Настя.

— Почему бы и нет, — сказал я, — попробуем, а?

— Одна вот так попробовала, да вдруг родила, — рассмеялась она. И потом, посерьезнев: — Ладно. Мы закрываемся в одиннадцать... Жди меня у цветочного магазина — знаешь? Я там рядом живу.

* * *

Ночь была ясная, голубая — насквозь просвистанная ветром и очищенная от туч.

Распахнувшаяся надо мною светлая звездная бездна дышала холодом. И к ней возносились нестройные дальние вопли собак; может быть — бездомных? Тех самых, которых ловили в городе! И к которым я сам, по сути, принадлежал! Мы всю жизнь привычно думаем о псах домашних, раскормленных, цепных (они ведь тоже воют — но не от беды, а от злобы!) и забываем о существовании неприкаянных и бродячих... А их — не меньше! И именно их голосами вечно полнится ночь на земле. Кому же еще и звать в тоске к небесам, как не им — гонимым?

Я стоял, топчась и ежась, у цветочного магазина; ждал, когда, наконец, появится Настя. (Время близилось уже к половине двенадцатого.) И уловил в тиши какой-то странный скрип...

Затем из-за угла возникла Настя — в цигейковой шубке и с объемистой кошелкой, из которой торчали

горлышки бутылок.

— Ну, вот, — сказала она, — вот и я. Заждался? Теперь пойдем... Давай-ка — прямо, через базар, так короче будет.

Мы пошагали. И опять услышал я легкое, ритмичное поскрипывание.

— Что это скрипит все время? — поинтересовался я, озираясь.

— Да что, — отмахнулась она, — нога!

— Какая нога?

— А вот эта. — Она погладила себя по левой ляжке.

— Чего ж это она?

— Да не знаю... Я уж писала на завод, жаловалась! Делают всякую халтуру...

— Какую халтуру? — удивился я — какой завод? — И тут только заметил, что она прихрамывает. — Так ты — извини — на протезе?

— Ага. — Настя искоса глянула на меня. — А что, — не нравится?

— Да нет, ничего, — забормотал я растерянно, — пустяки...

— Ты не гляди, что у меня одна нога, — сказала она со значением, — я и с одной управляюсь — будь спок... Чудеса творю! Ребята сколько раз бывали, — не могли нахвалиться... Хочешь, спроси у них: меня весь рынок знает!

Господи, — подумал я, — что со мной? где я? Что вообще происходит? Я ведь не просто — на дне; я где-то уже почти за пределами падения... Что мне теперь остается? Стать любовником этой бабенки и кормиться из ее рук? Или, может, и вправду заняться ловлей собак — начать сдирать с них кожу — влиться в здоровый коллектив?..

Настя поскрипывала рядом и что-то еще бубнила — о своих чудесах. Но я уже не слышал ее.

Час мой стукнул. Я прислушивался теперь к внутреннему голосу. Наверное, каждому из вас знакомо это состояние; мы долго терпим, соглашаемся, молчим... Но однажды наступает перелом — и тогда словно бы рушится вселенная. И только одно звучит из глубины души: хватит! Кончено! Не хочу!

Хватит! — подумал я, — не хочу так жить... Если так — то лучше уж не жить совсем.

Мы проходили в этот момент по безлюдному рынку, — по краю его — вдоль овощных павильонов... И вот, в просвете меж ними, увидел я вдруг три четкие черные силуэта.

И заметил еще один — бесформенный, припавший к земле.

Обступившие его фигуры метались и дергались. Казалось, они пляшут... Но нет, они не плясали — они били упавшего!

Били его ногами; смертно и молча. Только слышалось в тиши прерывистое их дыхание. Да еще постанывал избиваемый, но чувствовалось, что ему уже и стонать-то — не вмоготу...

Я остановился. И тотчас же Настя цепко ухватила меня за рукав — зашептала торопливо:

— Ты что, ты что? Сдурел, что ли?! Это же блатные. Лучше в их дела не вступать — сразу убьют... Идем-ка от греха!

— Пусти, — сказал я, стряхивая ее руку. — Как так — идем? Не видишь разве: трое бьют одного...

И забыв о ней, я кинулся к месту схватки.

Появился я там внезапно, и это дало мне некоторое преимущество. Одного я сразу сбил — ударом каблука в поясницу. Он покатился, вопя. И быстро затих. Другой повернулся ко мне?.. И я увидел вдруг широкую, плоскую, изрытую крупными оспинами физиономию. И на мгновение замер, изумленный.

И потом сказал, пригибаясь и на шаривая за голенищем ребристую рукоятку ножа:

— Ну, здорово, Рашпиль! Вот мы, наконец, и встретились... Давно я тебя ищу.

— Ты? — растерянно проговорил Рашпиль. — Вот так чудеса... — Он сделал неумовимое движение рукой — и в ней блеснуло синеватое узкое лезвие. — Ты еще живой?

— Как видишь, — усмехнулся я.

— Странно...

— Это — почему же?

— Так я думал: Копченый давно уже тебя упокоил, прибрал к рукам...

— Значит, это ты навел его тогда на меня?

— Конечно.

- А как ты сам-то оказался в Белых Ключах?
- Так же, как и ты - по той же статье...
- Жалко, мы там не увиделись, не потолковали!
- Ничего... Потолкуем теперь!

Мы говорили стремительно, яростно, с напряжением глядя в зрачки друг другу, и осторожно двигались по кругу.

Я сделал несколько ложных выпадов и отметил, что он излишне нервничает, бережется... Вот тут между нами была отчетливая разница: он берег себя, а я - нет! Мне было сейчас плевать на все! И покружившись еще, я прыгнул и уклонился от его поднятой руки. И поднял и опустил - свою. И потом опять... И когда Рашпиль упал, я осмотрелся торопливо - ища взглядом третьего, мгновенно вспомнив о нем!

Третьего не было... Вернее, он был, но тоже лежал. И не двигался. А тот, кого избивали, теперь стоял над ним - на коленях. И медленно утирал фуражкой окровавленное свое лицо.

- Ну, братишка, - тихо сказал он мне, - спасибо! Выручил... Без тебя они бы, сволочи, меня добились.

С трудом, кряхтя, он поднялся. Натянул на лоб фуражку. И на околышке ее - в лунном свете - блеснул морской серебряный краб.

* * *

Человек, которого я выручил, оказался штурманом Северного Тралового флота. Он приезжал сюда на побывку, к родне. И загулял. И связался по пьяному делу с проституткой, а та навела его на шпану. Морячка стали грабить - и завязалась драка... История, в общем-то, была проста и обычна, но закончилась она кровью - и потому оставаться здесь нам уже было нельзя!

- Едем со мной, - сказал штурман, - в Мурманском управлении у меня друзей полно; что-нибудь придумаем!

И вот так, нежданно, я всплыл со дна на поверхность. И двинулся теперь по дороге, именуемой в мореходных логиях "Великим Северным Морским Путем".

Часть 6

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

Ветер. Сумерки. Час прилива.
Шторм над Беринговым проливом
Шторм крепчает. Во весь простор
от Аляски и до Таймыра.
Друг на друга глядят в упор
две земли, два несхожих мира.
Две земли... С этой мыс, и с той.
И стоят над водой сурово
англо-сакс да казак простой;
мыс Уэльского,
мыс Дежнева.

ВЕЛИКИЙ ПУТЬ

Великий Северный Морской путь (или же, в виде упрощенной аббревиатуры, — "Главсевмор") пролегает вдоль полярных побережий азиатского континента. Он идет от Белого моря — до Берингова пролива. Начинается в Архангельске и оканчивается вблизи Аляскинских скал. И хотя официальное это название он приобрел уже в наше время — известен он давно. Очень давно! Это древний путь норманнов — морских скандинавских бродяг. Путь новгородских "ушкуйников" — славянских авантюристов, впервые прошедших здесь на заре российской истории, более тысячи лет назад. В период позднего средневековья на пути этом можно было встретить корабли "Ганзы" (Германского торгового союза), а с началом Ренессанса — казачьи ладьи, ведомые Шубиным, Санниковым, Дежневым. Все это были типичные конквистадоры Севера; люди напористые, непреклонные, суровые и, в то же время, — неисправимые фантазеры.

Левка Шубин, к примеру, отплыл из Архангельска на поиски легендарных сокровищ племен Монгомзи... Не нашел их, естественно. Но зато первым обследовал низовья великой сибирской реки — Оби. И основал там город Мангазею. Санников — скупщик пушнины — проходя на промысловой ладье вдоль берегов Якутии, однажды увидел в морской дали очертания неведомой земли. И потом, забросив дела, он много раз

возвращался сюда — искал эту землю. И хотя она странным образом исчезла, и никто никогда ее так и не смог увидеть — он упорно верил в свое открытие, и заражал этой верой других. И тем самым немало способствовал освоению края. И вот — любопытная деталь! Перед смертью Санникова сыновья упрасивали его отречься от заблуждения, покаяться, признаться в ошибке. Но он не отрекся и не покался. И так и умер, завещая им: "верить и искать!"

Его земля исчезла — но все-таки не совсем, не совсем... Как бы то ни было, в истории навсегда осталась знаменитая "Земля Санникова". Она осталась как одна из загадок Севера. И, пожалуй, еще как загадка людской души. И, конечно же — это бесспорно! — как образец и символ нерушимой веры в мечту, в ее реальное осуществление.

Ибо что, в конечном счете, двигало всеми этими людьми, уводило их во льды, в неизвестность, зачастую — на верную гибель? Конечно же мечта! Мечта о богатых находках и удивительных открытиях...

Такой вот, давней мечтой многих поколений было — отыскать "Северо-Западный проход", соединяющий два океана, Ледовитый и Тихий, и открывающий, таким образом, кратчайшую дорогу на Юг, к Индии, к сказочным "пряным странам". Из века в век непрерывным потоком шли моряки на восток — и в большинстве своем гибли, пропадали без вести, а иные возвращались с полдороги... Пожалуй, нет на всем северном полушарии мест, столь роковых и гибельных в прошлом, как эти! Почти каждая миля здесь отмечена какой-нибудь катастрофой. А весь этот путь — истинное кладбище кораблей. И пройти по нему до конца удалось Сеньке Дежневу, сибирскому казаку. Случилось это в середине шестнадцатого века. Преодолев все трудности и беды, Дежнев сумел в конце концов обогнуть материк, достичь берегов Аляски и открыть искомый "Северо-Западный проход". (Тот самый, который впоследствии будет открыт вторично и обретет название "Берингова пролива".)

С того момента, когда пришел сюда Витус Беринг, началась новая полоса в истории освоения Севера. Легенды и миражи иссякли, кончились. Романтический бред сменился деловой суетой... Прежде чем наладить в здешних краях регулярное движение, необхо-

димо было изучить характер течений, водный режим и закономерности ледового дрейфа. И вот этим как раз и занялись серьезные исследователи, ученые, явившиеся на смену героям полярной конквисты. В их ряду такие имена, как Норденшельд и Нансен, Врангель и Сибиряков, Папанин и Шмидт... Впрочем, перечень этот велик, он занял бы не одну страницу, и потому не стоит на нем застревать; пора возвращаться к сюжету.

В наши дни полярные воды выглядят весьма оживленными. Древний путь ушкунников и норманнов превратился постепенно в "Главсевмор" - и стал центральной дорогой для зверобойных шхун и рыболовных флотилий. Корабли кочуют тут большую часть года. (Льды теперь их мало страшат; ведь на помощь в нужный момент всегда придут ледоколы!)

Главной добычей тральщиков является сельдь и треска. Но, конечно, в Арктике обитает немало и других пород, а также рыбная мелочь, которую называют "салагой".

И так же точно - на морском жаргоне - именуются новички, корабельные юнги.

И вот таким "салагой" стал и я, попав впервые в жизни на северный флот!

* * *

Должен сказать, что здесь мне повезло. С самого начала! Едва мы со штурманом добрались до севера, - газеты запестрели вдруг сообщениями о грандиозной амнистии.

В связи с ней свободу обретали почти все бытовики и уголовники; не затрагивала амнистия лишь убийц и валютчиков. Да еще тех, кто сидел по политическим статьям. Политическим, как и обычно, поблажек не было дано никаких. (И тут мне невольно подумалось о былом... Мой отец, старый революционер, за участие в вооруженном восстании 1905 года был сослан в Сибирь на каторжные работы. А затем - освобожден по амнистии в честь Трехсотлетия Дома Романовых. Причем тогда на свободу вышло много таких, как он... Царская власть нередко щадила своих врагов; новая же, народная, - сразу отреклась от

"гнилого буржуазного гуманизма" и никогда не повторяла "старых ошибок"!)" Поблажек политическим не было — но зато по отношению ко всем другим, правительство проявило небывалую широту и щедрость. На волю вырывались отныне тысячные толпы блатных, а также всякого рода спекулянты, аферисты, растратчики. Даже убийцам, по этой амнистии, сроки были сбавлены на половину! Ну, а всем тем, кто успел уже освободиться и обретался в ссылке, — предоставлялась возможность вернуться к нормальной жизни. Ссылка отменялась. Судимости снимались начисто. И бывшие "зэки" могли теперь получать законные, чистые паспорта...

Разумеется, я воспользовался этим немедленно. И в Управление Тралового Флота явился, как новорожденный; с новенькими бумагами и без единого пятна в биографии!

И при содействии штурмана (у которого действительно оказалась в управлении уйма всяких знакомых) меня приняли там приветливо и тотчас зачислили на борт рыболовного сейнера, готовившегося к дальнему рейсу и уходившего в ближайшие дни.

* * *

Последний мой вечер на берегу мы решили со штурманом (звали его, кстати, Иван Васильевич) провести вместе, — посидеть в ресторане и выпить за Добрый Путь и Попутный Ветер.

Я жил в "бордингаузе" — матросском общежитии, неподалеку от порта. Иван Васильевич зашел за мной, и мы отправились в город. Мы шли по просторным улицам Мурманска; по улицам, где перемешались все эпохи и стили, где рядом с тесовыми оградами и резными оконными наличниками старинных изб, соседствовали современные "блочные" постройки, высились многоквартирные дома. А над крышами их текло и клубилось белесое небо. Хотя час был уже поздний и пахло близкой осенью, — тьма еще не пришла, не настала. Еще продолжался полярный, круглосуточный день, и облака пронизывал тусклый, немеркнувший, призрачный свет. И в этом свете все окружающее — очертания зданий и лица людей — все выглядело

странно, как-то безжизненно...

Внезапно, где-то рядом, послышались тихие, тягучие звуки траурного марша. Музыка приближалась, росла. И затем, из-за поворота, выползла навстречу нам похоронная процессия.

Людей было много, двигались они медленно и понуро, и в сумрачном этом потоке, плыли, колыхаясь, желтые, украшенные цветами, гробы.

Я подсчитал: гробов было пять. Ого! - удивился я, - многовато... - И тут же спросил у своего спутника:

- Это что - жертвы кораблекрушения?

- Ну, мой милый, - сказал Штурман, - не строй себе иллюзий. Жертвы кораблекрушений, как правило, остаются в море.

- Но тогда в чем же дело? Эпидемия, что ли, была?

- Эпидемия? - Он усмехнулся, поджимая губы. И эта его усмешка показалась мне неуместной и странной. - Пожалуй, что так... Да, конечно. Эпидемия!

- Какая же?

- Тебе нужно точное медицинское определение? - Он покосился на меня. И потом - мигнув глазом: - Что ж, формула здесь простая: сорок градусов с минимальной закуской.

- Послушай, - сказал я, - ты не кривляйся...

- А я не кривляюсь, - возразил он, - я серьезно говорю.

И пока мы стояли, пропуская процессию, и потом, пока шли к ресторану, - он не спеша поведал мне эту историю.

Суть ее - вот в чем.

В тот самый день, когда мы прибыли в Мурманск, здесь состоялся торжественный вечер, на котором чествовались старые, уходящие на покой, лоцманы и шкипера. Пенсионеров набралось что-то около десятка. Явились все их сослуживцы и друзья. И вечер, таким образом, получился шумный, большой... Так как высокое партийное начальство пьянку, в принципе, не одобряет - столы были сервированы не для выпивки, а для чая. Все было выдержано в строгом стиле! В изобилии имелись цветы, конфеты и фрукты. И возле каждого стола помещался огромный, трехведерный самовар, доверху налитый водкой-перцовкой.

(В некоторых самоварах, впрочем, содержался армянский коньяк!) Напитки были специально подобраны по цвету. И налитые в стаканы, они внешне ничем не отличались от обычного чая.

И вот так, попивая "чаек" и закусывая конфетками, старички чрезвычайно весело провели этот вечер.

Все они, в результате, напились до столбняка. Их пришлось выносить. И половину почтенного собрания — прямым путем — понесли не на дом, а в море.

И там они, наконец, обрели заслуженный покой...

— Вот в этом самом зале все и произошло, — добавил, в заключение, штурман, когда мы вошли в ресторан. — Ну, а с самими героями этой истории мы только что встретились!

Ресторан был набит битком, исполнен гомона и суеты. Мы с трудом отыскивали свободный столик. И когда уселись — Иван Васильевич сказал:

— По старым поверьям, насколько я знаю, встреча с покойником — это не к беде, а наоборот, к удаче!

— Так это — если встретишься с одним покойником, — усомнился я, — а их вон сколько было!

— Ну что ж, — отозвался он, — значит, тебя ждет или небывалая удача или уж действительно крупная неприятность... Но при всех обстоятельствах — надо выпить. За тебя! За почин! За великий путь!

— Чайку? — улыбнулся я.

— Конечно, — кивнул он, — согласно традициям! — И щелкнув пальцами, подозвал официантку.

РОКОВАЯ КРАСОТКА

Не буду утомлять вас подробностями морской повседневной жизни. Я испытал в сущности, все, что надлежит испытать "салагам"; и традиционные шуточки команды над новичками, и изнурительный труд, и бессонные ночи на шаткой палубе, — в соленой ветреной воющей мгле... Это все достаточно однообразно и утомительно, да и описано уже сотни раз! Моя же писательская задача — в другом. Меня интересует не течение быта, а зигзаги судьбы; детали и факты, связанные с крутыми, внезапными переменами...

Заполярные моря — мелководны, каверзны, бурны. Плавать там не легко. Однако сейнер наш благополучно достиг Новой Земли, миновал беспокойные, вечно бушующие, кипящие, "Карские ворота". И вышел в море Лаптевых. (Там скопились — судя по последним радиосводкам — огромные косяки сельдей.)

И вот там-то начались первые приключения... Причем не в море, а на берегу, — в тихой, укромной бухте Тикси.

С момента отплытия, прошло около двух месяцев; я получил неплохую передышку. Но теперь антракт кончился. И дальнейшие события стали разворачиваться уже с катастрофической быстротой.

Виною всему оказалась одна красotka — и какая красotka! Такой, я уверен, большинство читателей не встречало вовек.

Завезли ее в Тикси американские моряки.

В ту пору в русских водах шлялась потрепанная промысловая шхуна из Юконского пароходства... Я вот сказал "американские моряки". Фразу эту следует принять, как метафору. Настоящих "янки" не было на этом судне, его населял всевозможный сброд; там были китайцы, итальянцы, какие-то индейцы. Были и славяне. И были черные, — самых разных мастей и оттенков.

Их судно — так же, как и наше — укрылось в бухте, спасаясь от близящегося шторма. И мы совершенно случайно встретились в портовой столовой.

Так как здесь сошлись, смешались, все почти языки, мы быстро перезнакомились и легко нашли один, общий язык... Этому, конечно, немало способствовала выпивка.

Поначалу мы дружно сдвинули стаканы — за русский и американский флаги! Затем стали пить за все представленные тут племена и народы... Процесс этот затянулся надолго. А потом наш механик предложил перекинуться в картишки. И началась игра.

Я не участвовал в игре, но с интересом наблюдал за ней. В основном — не за картами, а за людьми. Мое внимание особенно привлек огромный, грузный негр, все лицо и руки которого были сплошь испещ-

рены затейливой татуировкой.

Негр проигрывал, но держался невозмутимо. Только лицо его постепенно меняло цвет, из шоколадного — становилось все более серым. И все отчетливей проступали на этом сером фоне узоры дикой его татуировки. Он выгреб из карманов все деньги и отдал их, крихтя. И погодя — снял с запястья позолоченный браслет. А потом пошептался о чем-то со своим приятелем, белокрысым поляком. И тот объявил на чистом русском языке:

— Последняя ставка. Разыгрываться будет баба, — идет?

— Баба? — удивился, вертя в пальцах колоду, механик. Опытный картежник, старый шулер, он был сейчас в выигрыше — и это далось ему без труда. — Какая баба? Что-то я не пойму.

— Хорошая, — усмехнулся поляк, — красивая. Чего еще надо?

— Но... Черт возьми, где же она?

— На шхуне. В кубрике.

— Так, — сказал задумчиво механик, — в кубрике, значит... А она чья, эта баба?

— Вон его. — Поляк ткнул пальцем в сторону негра, и тот покивал, осклабясь.

— Черненькая?

— Нет, беленькая... Да какая тебе разница?

— Никакой, — воодушевился механик. — Давай, волюки!

Самое удивительное в этой истории то, что и механик, и мы все, отнеслись к предложению поляка с полной серьезностью. Разумеется, мы были очень пьяны тогда — и как бы отключились от реальности... Ну, а кроме того, никто из нас не знал в точности: какие у этих американцев порядки? Может, у них и действительно имеются в кубриках женщины? Это мы здесь чтим старинные обычаи, боимся допускать женщин на борт, а Америка-то ведь — на другой стороне планеты! У них там, возможно, все наоборот!..

Белокрысы поляк (его звали Стасем) поспешно ушел — и воротился через четверть часа. За это время каннибал успел проиграть последнюю свою ставку. И когда Стась появился в дверях столовой, его встретил восторженный рев русских... Но тут же

все умолкли: посланец воротился один!

- Эй, - грозно спросил механик, - где же баба?

- Тут, тут, - пробормотал он, - все тут! Без обману!

Протиснувшись сквозь толпу, Стась положил на стол небольшой плоский чемоданчик. Раскрыл его со звонким шелком. И жестом фокусника извлек оттуда нечто розоватое, блестящее, напоминающее пластиковый или резиновый пакет.

- Теперь, глядите, - мигнул Стась. - Слабонервных прошу удалиться! Дети до шестнадцати лет не допускаются!

И развернув странный этот пакет, он пригнулся, и начал надувать его, багровея.

И перед изумленными нашими взорами, постепенно образовались, вырисовались, очертания женской фигуры. И чем сильнее надувал ее Стась, тем все более объемной она становилась - распрямлялась, оживала, росла...

Кукла оказалась большой, - метра полтора в длину - и, выглядела теперь вполне натурально. Сработана она была по голливудскому стандарту; с белыми прямыми прядями волос, с выпуклой грудью и круглой, лоснящейся задницей. Там-то вот, сзади, и находилось отверстие для воздуха...

- Ну, а прочие детали, - завинчивая пробку, пояснил Стась, - тоже на своем месте и вполне годны к употреблению... Желаящие могут убедиться, посмотреть!

Желающих оказалось множество. Лежащую на столе красотку обступили со всех сторон. И кто-то вздохнул протяжно:

- Ну прямо, как живая! Сама на грех просится... А имя-то хоть есть у нее?

- Есть, - отозвался Стась. - Мэри. Прошу любить и жаловать!

- Ее бы еще приодеть - так, чуть-чуть, для соблазну...

- Это тоже можно, - кивнул Стась. И деловито стал извлекать из чемодана и показывать собравшимся кружевные трусики, бюстгальтер, ажурные черные чулочки с красными подвязками. - Девочка с приданым!

- И где ж это вы достали такую, а? - спросил

гулкий бас.

- Прислана из Квебека - по специальному заказу!

- Во, канадцы! - хохотнули в толпе, - во, черти, что делают!

- Да, это сервис...

Сидящий рядом с механиком парень сказал, похлопав его по плечу:

- Повезло тебе, старик, поперло!

- Да какое там - поперло? В чем - повезло? - внезапно и резко отозвался механик. Все это время он сидел тихо, а теперь его вдруг прорвало. Он был явно обижен и раздосадован, - он ведь рассчитывал на другое!..

- Связался с жульем. Проигрывают, а по счету не плотют.

- Это кто ж тут - жулье? - нахмурился Стась.

- Да вы оба, кто же еще! Вы мне что подсунули?

- А тебе, значит, не нравится...

- А что ж мне тут может нравиться? Я пока еще - не онанист, не извращенец, не псих.

Стась что-то быстро проговорил, обращаясь к своему другу. И тот, разинув зубастую пасть, захохотал, трясая животом стол. Потом он бросил несколько отрывистых фраз... Механик спросил с подозрением:

- Это он - о чем?

- О тебе, - пояснил поляк, - говорит: ты не псих, ты просто дурак!

- Что-о? - взревел, поднимаясь, механик, - я?..

- Ладно, черт с тобой, - махнул рукой Стась. - Не нравится девочка, я ее обратно заберу.

- Ну, уж нет, - возразил механик, - что это еще за новые фокусы!

- Но ты же сам сказал..

- Неважно. Теперь она - моя! Что захочу, то и буду с ней делать.

- Н-да, - медленно проговорил Стась, - я вижу: ты не просто дурак. Ты именно - псих! Настоящий, клинический...

И в этот самый момент за соседним столом вспыхнула шумная ссора. (Там ведь тоже играли и пили!) Послышались хриплые вопли, звон разбитого стекла. И это послужило мгновенным сигналом ко всеобщей свалке.

Механик со Стасем сцепились, рухнули на пол и покатались, рыча...

Я же оказался в самом центре водоворота; среди мелькающих кулаков и перекошенных лиц. Почему-то все люди постепенно сгрудились, скопились, вокруг нашего стола — вокруг Красотки! И какое-то время я вертелся там — уклоняясь от ударов и сам ударяя кого-то...

А потом, все заслоняя, возникла передо мною ухмыляющаяся, оскаленная, — вся в каких-то жутких орнаментах — физиономия негра.

Помнится, я несколько раз наскакивал на него, — снизу вверх, по-петушиному (причем злости у меня никакой не было, был хмельной азарт борьбы!), и он лениво оборонялся, загораживался... Но потом это ему, очевидно, надоело. Он развернулся стремительно — и в следующую секунду комната с треском перевернулась в моих глазах. Я сразу очутился под столом. И там успокоился, затих, задремал...

* * *

Когда я очнулся, побоище уже кончилось, и помещение опустело. Я лежал один, под столом, среди обломков мебели. А рядом со мною — непонятно, как сюда попавшая, — валялась злополучная Красотка. Вид у нее был плачевный, она явно успела побывать под ногами. Резина сморщилась, и груди опали, и на животе ее темнел рубчатый отпечаток чьей-то гигантской подошвы.

Да и сам я тоже выглядел не лучше... Рубашка моя была разорвана, лицо — в крови. Нос распух, расплылся и сильно болел; до него нельзя было дотронуться. Уж не сломал ли его негр? — подумал я, — только этого мне не хватало... (И вот это-то, как раз, и случилось! След негритянского нокаута остался у меня навсегда и, должен признаться, красоты он мне никак не прибавил.)

Подобрав куклу, я спрятал ее за пазухой, — чего ж ей было зря валяться? И пошатываясь, прикрывая лицо ладонью, побрел к дверям. И едва только вышел наружу — услышал милицейские свистки.

Меня арестовали и отвели в портовую комендатуру. И оказалось, что я — единственный, кого власти

смогли задержать! Остальные участники драки успели скрыться. Кто-то их вовремя предупредил... Меня же ребята не заметили, забыли. И мне, таким образом, пришлось теперь отдуваться - одному за всех.

В комендатуре я натерпелся сраму! Меня долго там мытарили, допрашивали, составляли протокол. А затем я был доставлен под конвоем на борт корабля. И сдан под расписку вахтенному начальнику.

Он холодно - с каким-то безгловым любопытством - осмотрел меня. И сухо усмехнулся:

- Вот так ты, значит, начинаешь свою морскую карьеру? Хорош... Ну, ладно. Умойся, приведи себя в порядок, а потом - зайди-ка к Старпому. Он хочет с тобой поговорить.

Час спустя я находился уже у старшего помощника капитана. И тот сказал мне:

- Вот что, голубчик. Приказано списать тебя на берег...

- Почему - списать? - испугался я. - Неужели из-за этой истории?

- Нет... Хотя она тоже, конечно, повлияла. Но главное в другом. Пришел специальный приказ из Управления...

- Насчет меня?

- В том-то и дело. Как выяснилось, ты скрыл, при поступлении на флот, кое-какие факты своей биографии. Например, старые судимости... Ведь они были?

- Ну, были, - трудно, с запинкой, признался я, - но амнистия же их сняла, отменила!

- Вот так и надо было в анкете отметить: что они, дескать, были, но теперь - сняты! Понимаешь?

- Но не совсем... Какая, в сущности разница? Ну, хотя бы даже и скрыл. Кого это задевает?

- Это задевает закон! Существует правило, по которому бывшие заключенные в заграничное плавание выходить не могут. Правило это весьма жесткое! А мы скоро можем оказаться в иностранных водах.

- Ну и что же теперь? - пробормотал я растерянно. - Неужели ничего нельзя придумать?..

- Не знаю, что тебе сказать, - вздохнул он. - Вообще-то можно было бы, наверное, придумать что-нибудь... Но слишком уж много ошибок ты натворил!

Было видно, что разговор этот ему, старому моряку, человеку простому и добродушному, - весьма

неприятен. И говорил он, занавесив глаза седыми бровями, морщась, как от кислого.

— Во-первых, схитрил, утаил правду. А во-вторых, оказался замешанным в скандале. Капитан тобой очень недоволен! Даже видеть тебя не хочет.

— Но что же я здесь буду делать? — проговорил я с тоской, — в этой глуши, в двух шагах от Северного полюса...

— Послезавтра сюда должен зайти каботажный грузовик "Бурун". Он возвращается в Архангельск и заберет по пути тебя. Мы уже радировали на "Бурун", договорились.

— Спасибо хоть на этом, — сказал я. — Но как же все-таки в управлении смогли узнать?

— Кто-нибудь накапал, — пожал он плечами, — настучал... Стукачей у нас, сам знаешь, больше чем сельдей в море.

Так мы потолковали. И я ушел. И на прощание он сказал, крепко хлопнув меня по плечу:

— Ничего, мальш, все образуется. В следующий раз будешь умней! А лично я — что ж... Единственное, что я могу для тебя сделать, это отметить в твоих документах, что уволен ты — не по приказу из управления, а именно за пьяную драку... О приказе лучше не поминать! Это, брат, серьезно. Ну, а скандал в порту — дело ясное, простое, понятное всем... — И добавил, пряча в усах усмешку. — Но все-таки впредь старайся в скандалы не попадать!

СИБИРСКИЕ РЕКИ

Вот я и опять (трудно даже сосчитать, в который уж раз!) потерпел "крушение" и оказался на мели.

И глядя вслед уходящему сейнеру — стоя на пирсе — я вновь испытал привычное чувство одиночества и отчаяния... Сейнер уходил на рассвете. Над морем Лаптевых, над седой его, серой равниной, волоклись косматые клочья тумана. Они тоже были окрашены в серое. Вода и небо слились, и казалось, корабль висит в пустоте, — уменьшается, улетаёт, оставляя меня одного на чужой и стылой земле.

Денек начинался зябкий, унылый. Изредка, поры-

вами, налетал холодный ветер. Возле берега уже виднелось ледяное "сало", и тревожно и хрипло кричали чайки, кружась над ним, садясь на заиндеветый песок.

Чайка жметя к берегу, садится, - подумал я, - наверное, опять будет буря!

* * *

Я угадал! Погода вскоре испортилась - и все-ррез. И надолго. И пароход, который должен был меня подобрать, где-то застрял, задержался. А может, просто, - поспешил пройти стороной, минуя Тикси. (Эта бухта, как я говорил, весьма тиха и удобна, но вообще-то весь здешний район испещрен отмелями, рифами, островками, и приближаться к нему во время сильного шторма - рискованно.)

Итак, я поневоле остался! Надо было теперь как-то устраиваться, подыскивать работу. Но потолкавшись в порту, я понял, что шансов у меня здесь почти никаких нет: после памятного шумного скандала местное начальство смотрело на меня косо... Я даже побаивался, что они - чего доброго - еще заведут на меня уголовное дело.

И потому я без малейших сожалений покинул Тикси - и ушел с геологами на Восток.

Геологов я встретил совершенно случайно, на краю городка, в небольшой закусочной. Я сидел там и пил чаек (на сей раз - не "мурманский", а самый настоящий!), и вид у меня был грустный... Вдруг хлопнула дверь, и в комнату, топоча, ввалилась компания девушек.

Девушек было трое. По повадкам, по выговору я сразу признал в них москвичек. Мы разговорились. И оказалось, что они и впрямь мои землячки, недавние студентки, выпускницы геологического факультета, что они работали в экспедиции, в низовьях Лены, а сейчас перебираются на реку Яну, - там у них находится главная база.

Затем и я, в свое очередь, рассказал о себе, о своих злоключениях. И одна из девушек, - румянолицая, смешливая, с золотистыми веснушками и озорным прищуром ярких серых глаз, - сказала тотчас же:

- Ну, если так, - идем с нами! Ведь не пропадать же, в самом-то деле... Хочешь в экспедицию?

Я согласился. И спустя полчаса уже шагал с ними вместе к аэродрому. Собраться в дорогу мне было ведь нетрудно! Все мое имущество находилось со мной - в заплечной котомке. (Классический матросский сундучок, о коем я мечтал, мне приобрести пока еще не удалось, и слава Богу! Что бы я теперь с ним делал?) Да и сама котомка весила немного; в ней лежала смена белья, книжка Диккенса "Большие надежды", а также - финский нож, табак и спички. И все, пожалуй... Нет, не все; я забыл упомянуть о "Мэри", о дурацкой этой кукле!

Зачем я вообще таскал ее с собой? Не знаю, не знаю. Наверное, просто из озорства; все-таки вещь была занятная, редкостная. Да и досталась она мне, как боевой трофей! Никакого другого объяснения я подыскать не могу, так как использовать куклу по прямому ее назначению я, конечно, никогда и не собирался. До этого я как-то еще не созрел. Да собственно, и надобности такой у меня не было. Вокруг имелось достаточно женщин - натуральных, ненадувных...

* * *

А теперь мне хочется отвлечься немного и предложить вам другую, более возвышенную тему.

Вот уже второй раз, в крайне трудный момент, меня выручала подроспевшая вовремя экспедиция. Первая, если вы помните, производила раскопки казачьих поселений и вообще была связана с историей колонизации Севера. Новая же, эта - занималась исследованиями грунта... В районах рек Лены и Яны земная кора вся смята, перекарежена, вздыблена. Двести миллионов лет назад - в эпоху триаса - здесь шли мощные горообразовательные процессы. Поднимались хребты, обнажались недра, образовывались различные метаморфические (цветные) породы. Вот они-то как раз и интересовали геологов. И немало разговоров было тогда - о голубой алмазоносной породе "кимберлит".

Сейчас-то якутские алмазы - не новость! Знаме-

нитые Ленские алмазные прииски известны всему миру. Но в ту пору, о которой я рассказываю (конец 1953 года), дело это только начиналось; еще кипели научные споры и шли пробные поиски.

Кимберлит тогда еще не был открыт в Сибири (его обнаружат лишь в августе 1954 г.), но некоторые ученые упорно верили в него. И, кроме того, молва об этой породе, о драгоценной "голубой глине" жила в Якутии издревле. Так же, как и легенда о "Золотой бабе" - в низовьях Оби и Енисея. Так же, как и упоминания в Мансийском фольклоре о "горючем черном поте земли".

История соткана из анекдотов. И вот вам один из них: в течение нескольких столетий мореплаватели отыскивали "Северо-Западный проход", упорно стремились к далеким, сказочным богатствам, не зная того, что берега, мимо которых они проходили, во многом богаче Индии, и исполнены сокровищ, гораздо более доступных, лежащих почти под рукой...

В сущности, у всех северных рек, по меткому выражению сибиряков, - "золотое дно"! Металл этот действительно рассыпан повсюду. Но золото - что ж! Это, так сказать, - общий фон. А помимо него, каждая великая река еще отмечена чем-то своим, специфическим... Например, Енисей с его притоками, - это уголь, никель, медь, платина, урановая руда. Например, Обь и Иртыш - богатейшие месторождения нефти. (Вот он - знаменитый "черный пот земли"!)

Ангара - это железные руды. Ну, а система Ленского водораздела, конечно, - алмазы. Причем с открытием их как-то незаметно угасла слава крупного притока Лены - золотоносного Алдана. А ведь Алдан в свое время был так же знаменит по всему северу, как и Юкон и Сакраменто. И запасы золота там не иссякли еще и поныне.

Тут, кстати, можно было бы упомянуть и о "мягком золоте", о пушнине. Меха ведь тоже - одно из очевидных богатств Сибири! И самые ценные соболиные шкурки опять же добываются в тайге Енисейского края; вблизи Байкала (Баргузинский край) и в Якутии, в тех местах, где пробегает красавица Лена.

О реках и вообще о природе Азиатского севера, можно рассказывать бесконечно.

Между прочим, вы знаете, что протяженность Енисея — около четырех тысяч километров; что истоки его находятся на 50-х параллелях, у знойных границ Монголии, а впадает он в заполярное Карское море? (Это уже — за 70-ой широтой!) И он, таким образом, пересекает всю Сибирь и проходит почти по всем климатическим зонам. В его верховьях бродят верблюды, а внизу — белые медведи. И когда весной, на одном его конце запевают соловьи, то на другом — еще стелются вьюги, трещат и лопаются льды, брезжат отсветы северного сияния.

Река эта столь уникальна, что древние монголы чтили ее, как святыню. Они называли Енисей "братом океана", и ездили поклоняться его берегам.

Вы знаете, что Обская губа простирается в длину на семьсот километров, а в ширину — до восьмидесяти? Там встречаются места, где вообще не видать берегов. А во время паводков вода поднимается на высоту двухэтажного дома и затопляет все окрест, и в непогоду там гуляют шестibalльные штормовые волны. И это все уж никак не похоже на "нормальную" реку! И в древности так и считали, что низовья Оби — вовсе не река, а удивительное, внутреннее "Мангазейское" море.

В этом "море" — свой микроклимат. И свои загадки: блуждающие острова, небывалой плотности туманы...

Вы знаете, что в озеро Байкал впадают триста рек, а вытекает — всего лишь одна, Ангара?!

И до сих пор еще никто не может толком объяснить: как же вмещается в это озеро столько воды? Некоторые участки байкальского дна, впрочем, так и не удастся промерить до конца. И в связи с этим уже давно существует предположение, что где-то, в глубинных пустотах земли, находится гигантский водоем (остаток древних триасовых морей), соединенный с Байкалом и простирающийся подо всей Восточно-Сибирской платформой... Предположение это, кстати, совпадает и с бурят-монгольскими сказаниями о некоем подземном царстве, населенном водя-

ными духами!

Народная фантазия, как мы видим, уходит корнями глубоко в историю и в почву Сибири. И Байкал здесь занимает едва ли не центральное место. О нем сложено множество разных преданий и сказок. И всегда он предстает в образе мрачного Хана, владельца несметных богатств и пышного гарема.

И есть рассказ о том, как Ангара — неверная жена — тайком, в ночи, сбежала от старика к молодому любовнику Енисею... И есть, кроме того, легенда о Лене, она весьма поэтична. И мне лично нравится более других.

Изо всех рек, рожденных в горах Байкала, Лена единственная, — не впадает в него, а наоборот, круто отворачивается и стремительно уходит на север! Причем, к ней сразу же присоединяются мелкие притоки — Киренга, Чух и прочие... Легенда вот как это объясняет:

Получив предложение Хана, юная красавица с презрением отвергла его. И ушла, покинув родные места. Вдогонку за ней поспешили родственники — сестры и братья — пытались уговорить ее, образумить, вернуть. Но все оказалось напрасным! Вернуть беглянку не удалось. Перед Леной стоял выбор: или заточение в гареме, или же холод одиночества, бездомные скитания, тоска полярных пустынь... И она, любя свободу, выбрала это — последнее.

* * *

Тоска полярных пустынь!.. Я в полной мере ощутил ее, бродя по Якутской тундре, по отрогам Верхоянского Хребта.

Хребет этот является водоразделом: с одной его стороны течет Лена, с другой же — восточной — Яна. Она не столь велика, не так многоводна, как ее прославленная соседка. (В сибирской "речной мифологии" имя Яны не упоминается.) Но все же и она достаточно любопытна и своеобразна. И на редкость сурова.

Там есть, к примеру, городок Верхоянск; старинный, небольшой, сплошь деревянный, который знаменит тем, что в нем — в этой именно точке материка

- находится "мировой полюс холода". (Теперь с ним, правда, начала конкурировать Антарктида, но ведь она - земля нелюдимая, нежилая...)

В Верхоянске действительно холода достигают невиданной силы! Ветер в эту долину почти не проникает, и воздух в ней застаивается, становится жестким, тяжелым. Здесь, если плюнешь, слюна мгновенно превращается в звонкую льдышку, а пар при дыхании - в колючую снежную пыль. Дышать таким воздухом трудно и опасно; рот непременно надо чем-нибудь прикрывать. Люди тут, все же, живут, но зверь из верхоянской долины уходит зимой. А птицы, залетев сюда невзначай, попадают в мертвую зону. Они словно бы вязнут в этом воздухе и падают на землю, ослепнув и зачочнев. И неживые, застывшие их тела, при ударе раскалываются - как стеклянные.

Однако так - не везде. В низовьях Яны, за селом Казачьим погода, наоборот, переменчива, бурна, и ветры там порою бушуют неделями. И я видел, как встают над тундрой метельные смерчи, идут, упираясь в нависшие тучи, крутящиеся, шаткие, снеговые столбы.

А есть и вовсе гиблые места - пустынные, поросшие чахлым кустарничком, повитые серым гнилым туманом. В тех урочищах, под снегом таятся и дышат, незамерзающие болотные топи, именуемые в Сибири - зыбунами...

И вот там, на краю зыбуна, подруга моя - веснушчатая и сероглазая москвичка Нина - сказала однажды:

- Знаешь, а ведь экспедиция наша сворачивает работу...

- Уже?

- Ну, да. Зима пришла! Теперь нам делать здесь нечего.

- И когда же и как будут нас вывозить?

- Послезавтра... В Верхоянск придет большой транспортный самолет и заберет всех сразу.

- Значит - в Москву! - сказал я, не в силах сдержать улыбки, - наконец-то...

- Да, но понимаешь ли, - медленно, запинаясь, проговорила она, - тут вот какое дело... Боюсь, милый, тебя в этот рейс могут не взять. Даже наверняка - не возьмут.

— Как так? — дернулся я, — почему?

— Ну, потому, что ты — человек случайный, посторонний. В кадровых списках экспедиции твое имя не числится... Ах, я уже разговаривала с начальником; спорила, упрасивала. Но все бесполезно! Одно твердит.

— Что же?

— Нет места — и кончено! В экспедиции, дескать, и без того много людей — тридцать человек. Но самое главное: грузы! Мы же везем образцы пород, пробы грунта, а также — слюду, кристаллы Пироба, Пироксеи... Их немало. Это все, пожалуй, тонны на три потянет. Ну и вот. — Она вздохнула, прикикая ко мне. — Не знаю, что теперь делать...

— Что ж тут поделаешь? — хмуро отозвался я, — чему быть — того не миновать. Я к неприятностям давно уж привык. Как-нибудь перебыюсь! Но не печалься: может, мы еще встретимся...

— А ты — хотел бы?..

— Конечно.

— Для тебя это все — не простое приключение? Не так, как с другими?..

— Во всяком случае, в тебе есть что-то особенное, не похожее на всех других, — сказал я. — И вообще, ты — единственная женщина, ни разу не причинившая мне никаких огорчений... А это тоже не забывается.

— Вот как! — она усмехнулась. — Ну, знаешь, ты мастер на комплименты!

— Да я просто — не умею, — ответил я, — и разве дело тут в словах?

— Но поговорить все же надо! Хотя один-то раз — всерьез... Ведь расстаемся же!

Мы стояли на узкой тропе, тесно прижавшись друг к другу. Слева от нас громоздились острые, заснеженные скалы, справа — простиралось болото. Волнистое, белое, оно уходило к горизонту, и край его терялся в мутном дыму.

И оглядевшись и помедлив несколько, Нина сказала негромко:

— Вот ты рассказывал мне сказки про Ангору и Лену...

— Это не простые сказки! — наставительно заметил я.

- Да, да, разумеется. И я теперь думаю: как же быть-то, а? Понимаешь, в Москве у меня тоже ведь есть свой Хан. Правда, он добрый. И роскоши там немного. А о гареме и вовсе речи нет... Какой уж гарем! Но все-таки... - Она говорила с улыбочкой, небрежно, словно бы шутя. Но глаза ее - большие, ясные, серые, - странно вдруг помрачнели, были теперь почти черны. - Может, и мне тоже бы надо - бросить все и бежать? Или просто взять да и остаться здесь... в этих самых "полярных пустынях"?

- Ох, не знаю, - забормотал я, - не знаю, Ниночка. Это все слишком сложно, рискованно... Слишком уж ответственно...

С минуту она пристально смотрела на меня, отогнув край мехового капюшона. Потом опустила руку. А я продолжал:

- Жизнь у меня - имей в виду! - странная, скверная. Судьба постоянно ведет меня по краю катастроф. Зачем это тебе? Да еще - здесь... Якутия - не курорт! Нет уж, лучше лети в Москву. Так спокойнее. А там посмотрим... Живы будем, встретимся! Непременно!

* * *

Я мямлил и мялся так - от растерянности. Я ведь не знал тогда: люблю ли я всерьез эту девочку? Над этим я вообще как-то мало задумывался... Теперь-то я понимаю, что это как раз и был тот самый случай, которого я все время жду и ищу! Но ведь в жизни нашей почти всегда так и происходит: мы многое начинаем по-настоящему ценить лишь после того, как - теряем...

Если б я лучше разбирался в себе и верил в фортуны, - все повернулось бы иначе. Что мне стоило бы, в самом-то деле, задержать Нину, оставить ее здесь, с собой?!

Мы простились - и вот, спустя два дня, в Верхоянск пришло известие о том, что самолет с геологами попал в антициклон, потерпел аварию и разбился в тунгусских гольцах.

САГА О РЫБЬЕМ ЖИРЕ

Я прожил в Якутии всю зиму — и чем я только ни занимался! Служил в Верхоянске, в конторе по заготовке пушнины. Но скоро ушел, не вынес здешнего климата. Немного пошатался с охотниками в горах. Потом спустился в тундру и там, неподалеку от села Казачьего, осел в оленеводческом совхозе. Некоторое время заведовал "Красным Чумом" — передвижным совхозным клубом. Оленьи стада ведь постоянно перемещаются, бродят по тундре. И с ними вместе кочуют пастухи. Вот их-то я и обслуживал; разъезжал по кочевым стойбищам с библиотекой и кинопередвижкой. Затем — уже накануне весны — стал развозить на собачьих упряжках почту. Словом, поскитался и повидал немало!

В этих краях все исполнено своеобразия — и сама природа, и местные нравы, и людские типы... Типы здесь встречались мне прямо-таки уникальные! Но поговорим сначала о нравах.

* * *

Все северные племена, населяющие эту часть континента (якуты, эвенки, чукчи, камчадалы), кое в чем схожи меж собой. Эти племена делятся на две категории — на так называемых "береговых" и "оленных".

"Береговые" промышляют рыболовством и охотой на морского зверя, "оленные" же занимаются пастушеством. (Деление почти библейское!) Причем пастухи живут гораздо спокойнее рыболовов; основательней, беспечнее, сытнее.

Северный олень для туземцев — поистине, благословение Божие. Он обеспечивает их всем необходимым, буквально всем! Из оленьих шкур шьется одежда и изготавливается обувь, из жил делаются нитки, из рогов и копыт — различные украшения, гребни, браслеты, а также чубуки для трубок и рукоятки для ножей. И основная пища здесь тоже — олень! Мясо его варят, коптят и вялят, то есть выдерживают сырым на ветру, на морозе. Вот вяленое, нарезанное тонкими ломтями мясо — самое распространенное блюдо у

оленоводов. А главное лакомство — язык и губы, костный мозг и, конечно же, свежая парная оленья кровь.

У "береговых" — все иначе. Они во многом зависят от случая, от стечения обстоятельств. Выпадает, порою, скверный сезон — и тогда они терпят голод. Собирают корни растений и даже древесных червей. Белые и жирные, черви эти кладутся в суп — и навар от них получается довольно густой...

Однако до этого дело доходит редко; людям здесь все-таки помогает "большая земля". Да и само море, оно тоже почти никогда не оставляет их без прокорма.

Морские дары, как правило, щедры! И в общем, жизнь на побережье идет не так монотонно, как в глубинах тундры, и женские украшения здесь богаче (из перламутровых раковин, из моржевых бивней.) И кухня — разумеется, в добрые дни — выглядит весьма разнообразной.

Состоит она, преимущественно, из рыбных блюд. Их множество, горячих и холодных. Рыбу в изобилии солят, коптят, а некоторые сорта (треску, молодую лосоську) употребляют в сыром виде. И больше всего здесь ценится сырая тресковая печень, рыбий жир, свежая икра и слегка обжаренное, подрумяненное, тюленьё сало!

И когда якуты (впрочем, так же, как и камчадалы) принимают гостя, — стол уставляется именно этими лакомствами.

"Береговые" — народ оседлый. Большинство из них живет в избах. Там, как правило, всегда хорошо натоплено. А в честь гостя полагается топить особенно жарко, не жалея дров! Таков местный шик... В этой жаре высидеть одетым нельзя, невозможно. По неволе приходится разоблачаться... И, помнится, поначалу я часто чувствовал себя там — как в бане.

В бане, исполненной адской духоты и насквозь пропитанной запахом рыбьего жира!

Рыбий жир здесь очень популярен. Его любят не только люди, но и собаки; они жадно вылизывают каждую пролитую его каплю. Его используют не только в кулинарии, но и при других надобностях. Он помогает при ожогах, ссадинах, нарывах. Он благотворно

действует на кожу, размягчает ее, делает гладкой и шелковистой – и потому играет важную роль в туземной косметике.

Ибо женщины – всюду женщины. Стремления у них, в принципе, одинаковы. (Разница только в критериях, в восприятии вещей.) И если, в отличие от европейских своих сестер, якутские и чукотские женщины почти никогда не купаются – то этому есть свои причины. Существует поверие, что с морской водой смывается счастье... Однако забота о нарядах, об украшениях, о красоте и качестве кожи – присуща им всем в полной мере!

У них вы можете встретить немало всяких мазей и притираний на рыбьем и животном жиру. Кстати, ведь именно от них, от северных женщин, проник в европейскую косметику секрет знаменитого "спермацета": особого, нежнейшего, очень ценного кашалотового жира. И "спермацетом" называли его уже в Европе – непонятно, почему (по глупости? или ради приманки?), так как к сперме продукт этот не имеет ни малейшего отношения, и добывается у кашалота из головы.

И они, также первыми, задолго до нас, были осведомлены о таинственных, благодетельных свойствах талого снега, весенней воды...

* * *

Приятель мой, Алеша (киномеханик, с которым мы вместе разъезжали по стойбищам) заметил однажды:

– Вся здешняя цивилизация – на рыбьем жиру!

Сказано было остроумно, но – зло. И это тем более выглядело странным, что сам-то он, по матери, был якутом.

Имелся у него, впрочем, и отец, и тоже якут... Но в действительности Алеша родился не от него (он сам мне в этом признался). Я спросил с осторожностью:

– От кого же – если не секрет?

– Не секрет, – усмехнулся он, – от какого-то проходимца... Наверное, от такого же, как и ты! У нас ведь женщины дают всем, кто придет, кто захочет. А мужья не препятствуют. Наоборот!

И потом — щуря узкие свои глаза:

— Да ты наверняка сам уж попробовал, убедился... Так ведь?

— Так...

— Сколько ж раз?

— Это неважно. Ты мне вот что скажи: почему мужики-то не препятствуют, а? Что ж они, вовсе без самолюбия?

— Ну, тут не так все просто, как кажется, — задумчиво проговорил Алеша, — и дело не в самолюбии... Я как-то разговаривал со здешним шаманом. Есть у нас такой старичок — и он объяснил. Это с древности повелось. Племена-то ведь наши — небольшие. И раньше они жили обособленно, замкнуто. С чужими не смешивались. Ну и постепенно каждое племя стало как бы превращаться в одну общую семью — понимаешь? Вот тогда-то и возникла надобность в том, чтобы старую кровь — разбавить свежей, чужою... И появилась поговорка: "если муж изменяет — это брызги из дома, а если жена — брызги в дом!" Да это потом уж и изменой перестало считаться. Вошло в обиход. Ну, а места у нас, на побережье, бойкие! Корабли ходят часто. И часто останавливаются. И в общем тут много народу успело побывать — и побрызгать...

Он наморщился, дернул плечом. И глядя на него, я понял вдруг, что этот парень — весь исполнен комплексов. И судя по всему, он не очень-то любит здешнюю жизнь и маленький свой народ.

— А чего тут любить? — сказал он в ответ на мое замечание. — Я, все-таки, не дикарь. Человек начитанный. Окончил десятилетку, — потом — курсы механиков в Якутске. Теперь вот хочу поступать в институт. Недавно послал бумаги... И если примут — сбегу отсюда с радостью. И навсегда. Чего мне тут любить? Рыбий жир? Эти брызги?..

— Ну, что ж, тебе видней, — сказал я. — Но мы не договорили! Все-таки мне непонятно. Женщины, значит, пользуются полной свободой. Ну, а мужья — они-то как же? Ничем своих потерь не компенсируют?

— Нет, почему ж, — возразил Алеша, — они тоже стараются...

— Но как? И где? Заезжих женщин здесь почти не бывает.

- Они пользуются местными... Из соседних племен... Однако, дело тут вовсе не в банальном блудстве, нет! Речь идет скорее о своеобразном обмене.

- Обмене - женами?

- Если хочешь... Но главная цель все же не в этом...

- А в чем же еще? - прищурился я.

- В детях! Ритуал здесь простой. Отдавая тебе свою жену якут или, скажем, чукча, сразу приобретает право и на твою, - понимаешь? И когда ваши жены потом рожают, вы становитесь не соперниками, а как бы родственниками.

И он добавил, помолчав:

- Конечно, с человека проезжего, случайного - какой с него спрос? Тут процесс, так сказать, односторонний. Но если ты живешь неподалеку и адрес твой известен...

- Ага, - пробормотал я, - так вот оно, в чем дело!

* * *

Я почему так заинтересовался данной темой? Дело в том, что недавно, как-то вечером, мне случилось забрести в один местный дом... (Алеши со мной не было, он ушел куда-то к родне; у него она имелась тут повсюду!) Встретила меня якутка - весьма миловидная, круглолицая, молоденькая. Я поинтересовался: "Где хозяин?" Она беззаботно махнула рукой: "Не знаю. Уехал куда-то". Я попросился - переночевать. И она, ни слова более не говоря, ввела меня в жарко натопленную комнату и указала на широкую, заваленную звериными шкурами, постель. Было поздно уже, и я сильно устал и зазяб. И улегшись - вытянулся с наслаждением. Незаметно стал задремывать... Но кто-то внезапно завозился рядом, легонько вздохнул. Еще не вполне осознавая реальность происходящего, я протянул руку - и пальцы мои ощутили горячее тугое женское бедро, скользнули по шелковистой коже.

И тут я окончательно проснулся!

Хозяйка, оказывается, успела раздеться и лечь со мною. Она лежала навзничь - вольно раскинувшись

и полуприкрыв ресницы. Углы ее маленького пухлого рта были чуть приподняты в загадочной, выжидательной, неподвижной улыбке. Я глядел на нее, и мы оба молчали. Я — от растерянности, а она — не знаю уж, почему. Вероятно, она считала, что в такой ситуации любые слова излишни...

Она хороша была, эта азиаточка, что говорить! Одно лишь портило все, мешало мне, — густой, тяжелый запах рыбьего жира.

Я еще не привык к нему тогда, не вошел во вкус. Он поднимался, вызывая во мне спазмы — душил меня! И понадобилось время, пока я освоился и собрался с силами.

Побудило меня к действию, — должен заметить, — какое-то особое, сложное чувство. Определить его не так-то легко... Чувство ответственности, что ли? Ничего не поделаешь, — думал я, склоняясь над ней, — надо! Запах, конечно, мерзкий... Но куда ж деваться? Все-таки, это женщина! И если я не смогу, я потом всю жизнь себе этого не прощу. Да и судьба тоже мне не простит... Ведь не даром же существует старая заповедь: чего хочет женщина — того хочет Бог!

И вот, только я собрался с силами, — снаружи, со двора, донесся скрип полозьев, собачий визг, топот шагов.

Это вернулся хозяин.

Войдя в комнату, он искоса глянул на нас и быстро, коротко сказал что-то по-якутски. Жена ответила ему, так же коротко и весьма безмятежно. И лениво потащила на себя какую-то шкуру — зарылась в меха...

Он же медленно прошел к столу. Уселся грузно. И вытащил из-за пояса длинный, широкий, синевато-по-блескивающий нож.

А я, смятенно, — не сводя с него глаз, — вскочил и начал одеваться.

Жена его не проявила ни малейшего беспокойства, но я-то переполошился не на шутку. Еще бы! Я ведь всегда, в подобных случаях, представлял на месте мужа — себя самого... И теперь, естественно, ожидал скандала, может быть, поножовщины.

К кулачному бою северяне мало пригодны, но когда имеется нож — они страшны! С этим оружием они

не расстаются ни на миг, привыкают к нему с младенчества и владеют им в совершенстве. Оно посерьезнее всякого кольца! Якуты и чукчи умеют бросать ножи из любого положения и даже - в темноте; определяя расстояние по звуку и безошибочно поражая цель.

Да и кроме того - как, вообще-то, сражаться с обиженным мужем?! Неловко все-таки. Нехорошо. У него же ведь - все права. А у меня...

А у меня был сейчас единственный выход из положения, - немедленно и без шума бежать! И так я и попытался было сделать. Но едва лишь я набросил на плечи полушубок и шагнул к дверям, - он сказал:

- Ей, куда ж ты? Постой... Так, паря, худо получается.

- Знаю, знаю, - пробормотал я, стоя к нему вполоборота. - Худо... Но что ж теперь делать?

- Иди сюда, садись. - Он подвинулся, опрастывая место на лавке. - Потолкуем.

- О чем?

- Обо всем... Ты, может, есть хочешь?

Эти его слова меня поразили и сразу обезоружили. И поколебавшись какое-то мгновение, я робко приблизился к столу.

Хозяин сидел спокойно. На столе перед ним лежал большой кусок вяленого мяса. И он не спеша отрезал тоненькие ломтики, и шумно жевал. И смотрел на меня, не мигая. И поигрывал длинным своим, тяжелым ножом.

Как и все якуты (это - раса монголоидов), был он коренаст и смуглолиц, с редкими кустиками усов, тяжелыми скулами и резкими коричневыми морщинами. Возраст его определить было трудно. А понять, о чем он думает - еще трудней! Маленькие глазки его были упрятаны глубоко и поблескивали остро и холодно. И хотя я сообразил уже, что скандала, видимо, не будет, - я все время держался настороженно, инстинктивно ожидая какого-нибудь подвоха...

- Ешь! - сказал он, придвигая мне мясо, - хочешь? Доставай-ка нож...

Ага! - подумал я, тотчас же, - начинается... И ответил, как можно небрежней:

- Нож я, конечно, могу достать. Он у меня всегда с собой... Но - не хочу.

- Что ж так? Мясо хорошее, медвежати́на!

- Нет аппетита.

- Но, может, - нерпичьего сала? рыбьего жирку?

Ты говори...

- Спасибо, - сказал я, - не беспокойся.

- Ты, что ли, больной?

- Да нет, просто - спешу. Не до еды. - Я пожал плечами. - Какая уж тут еда! Идти надо...

- Идти сейчас плохо, - отозвался он, - ветер поднимается, слышишь?

Некоторое время мы сидели так и беседу вели вполне светскую: о погоде, о здоровье, о всяких пустяках.

Достав трубочку и задымив, он поинтересовался тем, что я здесь делаю и откуда я родом? Я пояснил, что - заехал сюда случайно, а дом мой - в Москве. Он помолчал, катая трубку в зубах. И потом, приблизив ко мне скуластое, темное свое лицо, спросил:

- А бабу - имеешь?

- Нет. Холостой.

- Ай-яй, жалко. - Он поцокал языком. - Худо получается.

- Ничего, - успокоил я его, - всему свое время! Пока что спешить мне незачем.

- Вот то и жалко, что - незачем. Был бы ты здешний, имел бы бабу, - я бы к ней ходил...

- Что-о-о? - протянул я изумленно, - как?

- Однако ты, паря, глупый. - Он укоризненно качнул головой. - Ну, ходил бы к ней так же, как и ты вот - к моей... Ты же спал с ней! Может, теперь сына мне дашь.

- Да какой там сын, - отмахнулся я. - У нас с ней ничего и не было, не получилось. Я не смог - клянусь! Ничего не смог.

- Не можешь? - Он отшатнулся и захохотал. Высоко подбросил нож - и не глядя, поймал его за рукоять. И с силой вонзил в доску стола. - А я могу! О-го-го! Я много еще могу! Вот оставайся здесь, женись, - сам потом убедишься.

Я вскоре ушел. И заночевал в другом месте. Человек этот показался мне тогда очень уж диким и странным. Я так и не мог разобраться — где он шутит, где говорит всерьез? И лишь теперь, после разговора с Алешей, кое-что, наконец, прояснилось, стало мне понятным...

— Ну, а насчет мужской ревности, — сказал в заключение Алеша, — ты не думай, что ее вовсе нет. Я читал в одной книжке: это чувство свойственно абсолютно всем — и людям, и животным. Только проявляется оно по-разному.

— И тут, значит — тоже?..

— Конечно. Но обычно — в ранней поре, до женитьбы. Когда ухаживают, сватаются... Когда еще ищут невест... Вот тогда ревнуют всерьез, свирепо. Соперников не терпят! И убирают их с дороги безжалостно.

— Убивают, что ли?

— Случается и так. Но вообще-то вариантов много... Иногда поступают подло: портят соперникам красоту, понимаешь?

— Н-не совсем, — сказал я, поеживаясь.

— Будешь в Казацьем, — мигнул он, — разыщи там двух дружков, Попова и Долганова. Мужички это знаменитые, о них сказки рассказывают. Они тебе все разъяснят!

СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ

"Разыщи двух дружков, Попова и Долганова, — посоветовал мне Алеша, — мужички это знаменитые, о них сказки рассказывают". Что ж, я так и сделал, при первой же okazji. Разыскал их, увидел...

Якуты — одно из первых северных племен, принявших крещение. Идею Бога принесли сюда русские конкистадоры — казаки. И хотя идея эта дошла до туземцев как-то плохо (вероятно, потому, что в Небо на севере никогда не верили и ждали от него всегда только — беду!), русский язык все же прижился здесь, и русские имена — тоже... Иван Попов

и Аким Долганов были якутами. Хотя и не совсем чистокровными: где-то в минувших поколениях к монгольской их дикой крови примешалась не менее дикая — казачья. Сочетание получилось своеобразное. И это наложило сильный отпечаток на их характеры, на весь их облик.

Впрочем, о натуральном облике этих людей судить было трудно... Когда я впервые увидел их, я испытал мгновенное головокружение. Передо мной, во дворе Долгановского дома, сидели два чудовища. Один был как бы обструган начисто, лишен ушей и носа, и верхней губы. Из-под нее торчали длинные, желтые, лошадиные зубы... Лицо же другого вкривь и вкось исполосовывали рваные розовые шрамы. И, кроме того, приглядевшись, я понял, что он — совершенно слеп.

Они сидели на лавочке — рядышком. И были немые и недвижимы, как истуканы, как какие-то мрачные языческие идолы.

Я окликнул их через ограду и поздоровался. Но мне никто не ответил. И тотчас же безносый — Иван Попов — поднялся, обеспокоенный. И вслед за ним встал с лавки слепой.

И они медленно, держась друг за друга, взошли по скрипучим ступенькам крыльца — и скрылись в избе.

И дверь захлопнулась.

* * *

Вот так они, в общем-то, и жили — обособленно, отчужденно. С посторонними не общались. И не расставались друг с другом ни на миг.

Они были закадычными друзьями!

Но такими они стали не сразу; в ранней молодости их разделяла лютая, непримиримая вражда...

История эта началась еще до революции. Подробностей ее теперь уж никто почти и не помнил! В селе ходили различные слухи, смутные воспоминания... Но было достоверно известно: породила их вражду — ревность.

Иван и Аким влюбились в местную девушку, красотку (звали которую так же, как и реку, — Яной!).

И крепко подрались из-за нее - по пьяному делу. И кто-то из них пригрозил другому:

- Станешь у меня на дороге - будет худо. Убивать я тебя не стану, но красоту попорчу. И сильно! Так что Яну ты все равно не получишь!

И тогда-то оба они - при свидетелях - поклялись: "до смерти друг друга не убивать, но красоту, по возможности - портить!"

И вот, началась диковинная охота - и тянулась она долго. Враги подстерегали друг друга на островах Янского лимана, в окрестных болотах, в ивняковых зарослях тундры... И всякий раз, столкнувшись, они отчаянно и свирепо дрались. И каждый норовил при этом, полоснуть ножом по лицу соперника - "подпортить ему красоту".

Однажды Иван подкараулил в ивняке Акима. Свалил его, связал. Начал кромсать ему лоб и щеки, и невзначай - острием ножа - выколол сопернику глаз.

В следующий раз повезло Акиму. И тот вдоволь насладился местью! И Иван тогда прибрел в село обезображенным, - безносым, с обрубленными ушами, с напрочь отрезанной верхней губой.

Несколько недель он отлеживался дома, взаперти. А когда, наконец, залечил раны и вышел, оказалось, что Аким исчез.

Он бежал из села, и след его уходил в горы. И вдогонку за ним, по этому следу, отправился Иван.

О красавице Яне оба они, к тому времени, забыли... Теперь уж им было - не до нее! О каком сватовстве могла тут идти речь? Оба понимали: с этим отныне кончено навсегда.

И вскоре Яна благополучно вышла замуж за норвежца - штурмана китобойной шхуны, и навсегда покинула тундру.

А эти двое по-прежнему продолжали безумную свою охоту. Любовь была для обоих потеряна, кончена - и осталась им только ненависть, только месть.

Какое-то время оба они скитались в чащобах верхожанского хребта, и жуткие их образы удивляли тамошних жителей, пугали их. И вот тогда, постепенно, стали возникать всевозможные небылицы и рассказы, в которых Иван и Аким представляли в виде таежных леших, полночных оборотней... Да они и действительно выглядели такими!

А затем — уже в начале тридцатых годов — оба внезапно воротились домой.

Воротились вместе. Воротились — друзьями! Аким теперь полностью ослеп, и шел по селу, запрокинув голову, уставя в небо пустые, выколотые свои глаза. А рядом, бережно поддерживая его, шагал Иван (когда-то красивый, озорной, кудрявый парень.) И был он — оскаленный, без ушей и без носа — похож не на живого человека, а скорее, на оживший труп...

Смотреть на них сбегалось много народа, но все молчали, пораженные. И монстры эти шли, окруженные безмолвием — словно в пустоте, в безлюдной пустыне.

Акимовский дом стоял на самом краю села, над лиманом. Иван привел слепца туда — и они медленно, держась друг за друга, взойшли по скрипучим ступенькам крыльца. И скрылись в избе. И дверь хлопнулась.

* * *

И еще одна, не менее странная личность повстречалась мне в этих краях — только уже не в тундре, а в горах, в верховьях Яны, у ее западного притока, Сарманга.

Тайга там тихая, малолюдная, дремучая. Она не густа, но богата всяческой дичью. А климат сравнительно мягкий — много мягче, к примеру, чем в Верхоянской долине.

Есть в окрестностях Сарманга немало ущелий, доверху заваленных сугробами и словно дремлющих в пышных пуховинах. Над ними разливается голубоватое снежное сияние, и дышится там легко! И крепко — до головокружения — пахнет свежей хвоей, густым смоляным настоем.

И в одном таком хвойном урочище — в голубой первозданной глуши — я случайно набрел на занесенную снегом избушку.

Я постучался. Дверь отворил высокий бородатый старик. Он оказался русским, и жил, судя по всему, один.

В комнате яростно топилась печь, но помещение

не проветривалось, и было здесь душно, надымленно, смрадно. Пол заседал мусор, на столе громоздилась грязная посуда, постель стояла смятой и неприбранной.

Да и сам старик тоже выглядел каким-то запущенным. Мысленно я сразу же окрестил его "отшельником". Был он космат и нечесан, в неряшливой бороде, в несвежей рубаше без пояса. И ходил по избе босяком. Длинные черные нестриженные ногти на его ногах перекрутились штопором и загнулись на манер когтей. И когда он ходил, то стучал ими об пол — по-собачьи.

Мне стало неуютно, нехорошо... И я решил не застревать в этом доме надолго. Но затем мы разговорились — и время потекло незаметно.

Отшельник достал бутылочку. Сполоснул стаканы. Поставил на стол закуску. И мы выпили. А немного спустя еще... И я, озирая комнату, спросил:

— Вы давно уже тут?

— Нет, не очень... Я раньше в Забайкалье проживал, а до того — в Красноярском крае, на Енисее.

— Значит, вы все время движетесь на Восток, — проговорил я задумчиво. — А откуда — простите?

Я знал, что веду себя невежливо. По сибирским правилам знакомство нельзя начинать с таких вопросов. Я ведь интересовался деталями биографии, а здесь ее "трогать" было не принято! Во всяком случае — так вот, сразу, напрямик... Но удержаться я не мог, слишком уж старик заинтересовал меня. И кроме того, я чувствовал, что он — не сибиряк, не настоящий таежник.

— Я вообще-то с Запада, — вздохнул он, — с Украины. Там, на Юге, вырос и учился, а впоследствии и сам учительствовал.

— Так вы — учитель?

— Да. Был. Теперь-то уж я на пенсии.

Ответ его удивил меня чрезвычайно, учителей я не такими представлял! А впрочем, язык у него правильный, книжный, — погода, отметил я, — вполне интеллигентный язык! Что ж, в жизни случается всякое. Может, с ним беда какая-нибудь стряслась? Или же это — бывший лагерник, старый ссыльный? Долго страдал, опустил...

— Далеко же вы забрались, — сказал я. — Мне ка-

жется, у нас сходные судьбы... Я ведь сам отбыл срок на севере, и недавно только освободился.

- Вы думаете, я из лагерей? - он поднял брови.
- Нет, все гораздо проще! Или, если хотите, сложнее. Я жил весьма тихо, покойно. Хотя и размышлял о многом. И многое видел, замечал... И пришла пора, когда я понял: надо спасаться, бежать.

- Бежать - от кого?

- От цивилизации.

- Зачем?

- Затем, что она сгнила, почти уже распалась. Мир наш агонизирует, неужто вы сами не понимаете? И агония эта завершится ужасающей катастрофой. И скоро, учтите, очень скоро!

- О чем это вы, - о Страшном Суде? - спросил я.
- Об атомной бомбе?

- Называйте, как хотите, - усмехнулся он, - я, кстати, неверующий... Но бомба эта действительно - Страшный Суд, данный нам за грехи наши! В сущности, атомный распад явится естественным продолжением уже существующего распада - морального и этического. Распада нравов, распада всех норм... Станет его заключительной фазой!

- И вы, значит, в предвидении катастрофы, решили укрыться здесь?

- Здесь очень удобное место! Я долго искал такое... Война сюда не придет. Ну, рассудите сами: какой же смысл бомбить голую тундру, пустынную тайгу? Эта часть континента гораздо более отдалена от цивилизации, чем, скажем, Африка.

Мы еще выпили. Потом я сказал:

- В атомной войне самое страшное - не столько бомбежка, сколько радиация, всякие там осадки... А от них не скроешься.

- Это тоже учтено, - оживился отшельник. - Смотрите! - Он сложил ладони. - Яна здесь - на самом дне. Ее с запада защищает Верхоянский хребет, с востока - хребет Черского. На юге высится мощная гряда Сунтар-Хаята. Остается открытым только выход к морю, но там ветер дует, в основном, вдоль побережья. Ну, а все прочие ветры - разбиваются о круговой барьер... Так что радиация, как видите, никогда сюда не проникнет!

Бутылка опустела. Старик принес новую. И вдруг

воскликнул - с каким-то мрачным торжеством:

- Погибнут все! До единого! Жизнь сохранится только здесь, да еще, наверное, в Гималаях...

И разлив водку по стаканам - он высоко поднял свой:

- Выпьем за это!

Пить за это мне поначалу не хотелось. Но я уже захмелел, ослаб, затуманился. Из тумана выплыли картины прошлого... И вспомнив все свои неудачи и бедствия, я воскликнул:

- Ладно! Черт с ним! Мир действительно прогнал - и пусть он пропадет, испарится...

- Нет, нет, - поспешно возразил отшельник, - я пью за другое.

- За что же? - удивился я.

- За то, чтобы жизнь все-таки сохранилась тут, осталась.

- Ага. - Я задумался на миг. Но почему только тут? Может, найдется еще одно укромное место, где есть издательства, где выходят книги, журналы?

Мы были, к тому времени, уже на ты. И старик сказал мне строго:

- Не болтай чепухи! Какие еще книги? Планета будет очищена полностью.

- Я так не согласен, - проговорил я. - Ведь должен же я осуществить свою идею...

- Поздно! - мотнул бородой отшельник.

- Поздно? - я всхлипнул и пригорюнился. - Ты уверен?

- Абсолютно.

- А сколько времени ты уже ждешь этого Светопреставления?

- Да уж лет восемь...

- Вот видишь! Может, так оно и дальше потянется, а?

- Нет, теперь уже скоро, - объявил старик. И потянулся, сопя, к бутылке. - Это все, как горный обвал. - Он плеснул водку в стакан. - Начинается медленно, не приметно. Затем набирает силу, растет, и рушится уже неудержимо. И погребает под собою все. - Тут он выпил залпом и замер, не дыша; глаза его округлились, вышли из орбит. - И мы уже, в сущности, погребены... Лавина - над нашими головами!

Вот так мы сидели и пили — за гибель цивилизации, за Конец Света.

— Я сказал:

— Ты бы хоть приготовился, что ли. Прибрался бы, навел бы порядок в доме... Все же такое событие!

— Надоело, — отмахнулся он, — устал. Да и какой смысл? Все равно пропадать!

Он как-то сразу остыл и сник. По лицу его распустились морщины, сырая борода обвисла. И я подумал, что он и действительно устал. Смертно устал — от безмерного своего ожидания, от жуткого одиночества и от пьянства...

— Как же ты, папаша, живешь тут один? — спросил я, позевывая. — Как, вообще-то, кормишься?

— Неподалеку есть село Барылас, — сказал он, — туда мне переводят пенсию. Ну, я и хожу иногда — за деньгами, за покупками. Но чаще якуты сами мне все привозят. Здесьние люди — наивные. Они меня за колдуна принимают, за какого-то шамана... Боятся... Ну, а там, где страх, там и почет!

Спать я улегся у печки, на сдвинутых лавках. Отшельник же долго еще курил, возился, расхаживал по комнате. И засыпая, я слышал сухое четкое клацанье когтей.

И в тот момент, на зыбкой грани яви и сна (когда реальные предметы и звуки сплавляются с мутными ночными видениями), в собачьем этом клацаньи почудилось мне что-то недоброе, пугающее, действительно — колдовское...

Утром я стал собираться в дорогу.

— Куда ты? — сказал старик. — Оставайся. Надежнее места все равно не найдешь!

— Надо идти, — пробормотал я. — Спешу... Не могу. Конечно, если бы знать точную дату — другое дело! Но ведь ничего же неизвестно...

— Известно главное, — сказал отшельник. И поднял палец. — Это — будет!

И я ответил, уже стоя в дверях:

— Вот потому-то мне теперь и надо спешить!

НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ

"Мне надо спешить", — сказал я, прощаясь с отшельником. И в самом деле, застревать тут я не хотел, не мог. Я почти физически ощущал движение времени: как течет оно, как уносит дни...

Конечно, место это было спокойное, хорошо защищенное. Именно здесь и следовало бы отсиживаться в случае "Светопреставления"... Но ведь оно еще не наступило! Ну, а то, что лавина — уже над моей головой — меня как-то мало заботило. К этому чувству я привык за годы скитаний, надо мною вечно нависали несчастья, постоянно реяла какая-нибудь тень.

Однажды, уже в приморской тундре, мне довелось увидеть, как полярная сова охотится на песка. Была тогда ночь — морозная и ясная. Над тундрой висела огромная, радужная, ледяная луна. А рядом с ней блистали еще две — ложные... Ложные луны — явление здесь нередкое, но всегда жутковатое. (Оно возникает во время самых сильных холодов, в феврале и в начале марта.) И когда в черной бездне вспыхивают огненные эти круги, пустынная снеговая равнина преображается, становится как бы нереальной, похожей на сновидение. Или же на пейзаж чужой планеты.

Сова бесшумно и низко парила над равниной, и была она — белая — почти не приметна в фосфорическом свете многих этих лун. Она реяла, как призрак, и выдавала ее только тень. Тень отчетливо выделялась на снегу, скользила по кустам и ухабам и догоняла песка. И накрывала его порою.

Зверь, очевидно, был еще молодой и глупый, и плохо понимал, что происходит. Он ни разу не поднял головы, не глянул вверх... Но стремительная эта, настигающая тень, пугала его безотчетно. И он метался, в ужасе, по тундре — убежал от незримой беды. А затем, устав и обеспамятев, он начал кружить на месте — попал в "кольцо страха". И это означало уже верную гибель, ибо тот, кто попадает в такое "кольцо", вырваться не может. Он почти уже кончен, приговорен. Ему не уйти!

И глядя на песка (сцена эта разыгрывалась в сотне метров от меня), я ощутил в груди мгновенный мягкий толчок. И вскинув ружье — сшиб проклятую сову.

Охотники - якуты, бывшие со мною, тотчас же стали меня бранить. Убивать сов, оказывается, было грешно! Птицы эти пользовались здесь почетом. Они олицетворяли собою древнюю мудрость, были связаны с мистической символикой, с духами ночи и таинствами тьмы.

О "ночном мистицизме" северян я кое-что слышал и интересовался им, но сейчас я думал не об этом - думал я о себе...

- Ты, однако, плохой охотник, - сказал с укоризной один из якутов. - Умную птицу убил, а дорогой мех упустил, проворонил. Песец-то был голубой, за такого большие деньги дают.

- Ничего, не беда, - примирительно сказал я, озирая фантастический пейзаж, - нависшие над горизонтом луны, голые холмы и змеящиеся тени. - Песцов полно... Еще много можно добыть!

- Нет, теперь уж не много, - возразил другой. - Весна началась, или ты забыл?! Эти морозы - последние. Ну, а как потеплеет, зверь станет линять, охота кончится.

* * *

Вскоре и впрямь потеплело. И над береговыми торадами заплескался весенний ветер. Он еще дышал снегом, но уже был влажен и мягок, и пахнул дальними морями и странствиями...

И подгоняемый им, охваченный бродяжьей тоской и нетерпением, я отправился в порт. Но не в Тикси (там появляться мне не хотелось), а в другой, именуемый Певек и расположенный на побережье Восточно-Сибирского моря.

Помогли мне уехать туземцы. Они создали своеобразную эстафету. Янские оленеводы передали меня соседям - кочующим по Уядинской тундре, а от тех я попал к "оленным" чукчам с Индигирки. И вот так, переходя с рук на руки, я благополучно проделал весь свой нелегкий путь.

В пути, между прочим, у меня случилась еще одна встреча, и тоже, - с отшельником... Но отшельник этот был уже другого сорта!

Там, на Сарманге, я никак не мог разобраться:

кто же передо мной? Философ? Сумасшедший? Пророк? Или просто человек с темным прошлым?... Этот же, новый, — никаких сомнений не вызывал. Был он не философ, а самый обыкновенный жулик, старый уркаган! И я превосходно знал это; мы ведь когда-то встречались с ним в лагерях. Другьями мы, правда, не были, но все же принадлежали к одному клану. И мне было известно, что он (кличка у него была Сопля) ухитрился бежать из-под стражи (по блатному выражению — "ушел во льды".) Причем ушел не один — и вся их группа бесследно исчезла в полярной тайге. И ходили слухи, что все они там полегли, погибли...

И вот теперь Сопля сидел передо мной: живой, ухмыляющийся, почти такой же, как и встарь. И единственная перемена заключалась в том, что одна его нога была — деревянная.

— Где же ты ее потерял? — спросил я.

И он ответил, небрежно похлопав ладонью по деревяшке:

— Во льдах. Попал под пулю, получил заражение... Да что вспоминать! Жизнь у нас — сам знаешь — как у птицы мымры. Которая дерьмо клюет. Она клюв вытащит — а хвост завязнет, хвост вытащит — а клюв снова там... Так и я, завяз когда-то... Но ничего, все обошлось.

Он жил в небольшом зимовье, на берегу Индигирки. Я проезжал на оленьих нартах мимо, увидел мерцающие в сумраке огоньки — и попросил погонщика свернуть туда. Я устал от бесконечной санной дороги, от пустынных снегов (уже раскисших и вязких), мне не хотелось ночевать у костра, на сыром, пронизывающем ветру. И я решил теперь провести ночь в нормальной избе... Здесь было всего три дома, и нарты наши остановились у крайнего. Мы вошли. "Нормальная изба" оказалась строением весьма мрачным, сложенным из камней, обмазанных глиной. И обстановка там была самая первобытная. Мебели никакой не имелось. На полу были навалены медвежьи шкуры. В углу дымилась железная печка, а на подоконнике горел жировой светильник. Неровные отблески пламени освещали человека, сидящего в глубине. И я сразу же распознал в нем старого колымского беглеца.

Мы обнялись, разговорились, я забросал его воп-

росами. И он рассказал, что живет тут давно. Ловит рыбу, ставит капканы на песца и медведя, а также птичьи силки — и ничего, перебивается. Затем и он, в свою очередь, поинтересовался моей судьбою. И так мы толковали, развалиясь на шкурах. И я все ближе придвигался к печке; застуженный, насквозь прохваченный ветром, я никак не мог согреться... И потребовал чаю — покрепче, погорячей!

Сопля спохватился, захлопотал. Подошел, хромя, к печке. Пошуровал там. И сказал досадливо:

— Черт, дрова-то почти прогорели... Вот незадача! А в доме — как на грех — ни одного полешка не осталось.

— Так мы сходим, поищем, — сейчас же сказал мой спутник, — молчаливый, угрюмого вида, чукотский парень. И поднялся живо. И я тоже привстал...

— Ладно, сидите, — махнул рукой Сопля, — куда вы — в такую темень? Да и вообще, вы ведь мои гости!... Я уж сам позабочусь.

— Но как же — ты-то? — растерялся я.

— Какнибудь, — усмехнулся он. — Соображу...

Он умолк, опустил лицо, собрал морщины у губ. И вдруг воскликнул:

— Эх, была не была! Где наша не пропадала?!

И нагнувшись, быстро отстегнул деревянную свою ногу — и решительным жестом сунул ее в загудевшую печь.

А затем, заваривая чай, мигнул беспечно:

— Не тревожьтесь, голуби! Не пропаду. Вырублю себе новую...

Когда мы, на следующий день, прощались, я тихо сказал ему:

— В прошлом году была объявлена амнистия... Ты об этом слышал?

— Нет, — ответил он так же тихо, — да мне это все равно без пользы. Без разницы.

— Как так, без пользы? Твой побег теперь — прощен... Ты тут одичал, слова понимать перестал. Говорю ж тебе: амнистия! По ней и не такие статьи снимаются.

— Эх, если б только — побег, — пробормотал он, поеживаясь.

— А разве было еще что-нибудь?

— Было. В том-то и дело! — Он закурил, затянул—

ся со всхлипом. - Понимаешь, мы тогда долго плутали, чуть с голоду не подошли. Ну и вот - одного паренька...

- Что? - спросил я, мгновенно напрягаясь, настораживаясь. И уже догадываясь кое о чем, но не желая верить страшной этой догадке... - Что вы с ним сделали?

- Ну, попросту говоря, - съели.

Он произнес это с мягкой, чуть смущенной улыбкой. Но улыбался только рот, глаза его были холодны и странно неподвижны. Какое-то мгновение он смотрел на меня, не мигая. Потом добавил:

- И вся беда в том, что вскоре после этого мы нарвались на патруль. Вот тогда-то мне и прострелили ногу. Но это - ладно. Главное, что я второпях обронил свой мешок. А в нем было мясо... жареное... Понимаешь? Уходил я, правда, по болоту, и может, мешок - утоп. Но кто знает? Вдруг его все же нашли? И если так, то я давно уж приговорен... За людоедство ведь вышку дают! И пощады тут не бывает.

Мы разговаривали с Соплей торопливо, в половину голоса. И я думал, что спутник мой, чукча, ничего не расслышал толком, не уловил.

Но, как оказалось, я ошибался. Он уловил все! И часа два спустя, - когда мы уже мчались по размокшей тропе на восток, - он спросил внезапно:

- Этот твой друг - он плохой или добрый? Или он, может, больной? Какой он?

- Не знаю, - сказал я. И это было вполне искренно. - Не пойму.

- Вот и я тоже не пойму! Одного человека - съел. А для другого - чтоб только чай вскипятить - ноги своей не пожалел... Это как же?

- Есть русская поговорка, - сказал я со вздохом, - "чужая душа - темный лес". И это очень верно! В людях все намешано, все что угодно. Поди разберись в них, пойми... Мы сами себя-то не всегда понимаем, а что уж говорить - о других?!

До Певека оставалось теперь уж недалеко. Но все-таки следовало торопиться! Весна наступала не-удержимо. И я, к тому же, двигался навстречу ей. А на пути моем лежало еще несколько рек, и среди них — знаменитая Колыма.

Я двигался навстречу полярному дню, и с каждой пройденной верстой день разгорался все ярче, и меркнул все медленней и неохотней... И в тот момент, когда я увидел, наконец, Колыму — была уже настоящая весна! Над речною дельтой тянулись, крича, лебединые косяки. Берега очистились от торов. И в мутных, вздувшихся водах отражалось неза-катное солнце.

Колыма! Я знал эту реку давно. Ведь именно здесь находился зловещий "Дальстрой", — одно из самых крупных лагерных управлений. Великое княже-ство потаенной чекистской империи "Гулаг".

Здесь я когда-то и встретился впервые с Соплей.

И оба мы, в общем, пробыли в лагерях "Даль-стройка" недолго. Он ушел в побег, а я — на этап, на "большую землю"... Но все места эти я запомнил на-крепко. И сейчас мне было интересно взглянуть на Колыму глазами вольного человека — увидеть ее как бы в ином, новом свете... Интересно, несбыточно, дивно!

Я остановился в большом приморском селе Амбар-чик. Поселился в гостинице. И с недельку отдыхал, после долгого пути. Разглядывал окрестности, на-слаждался комфортом.

Наслаждался им — по праву. Теперь я мог себе это позволить. Я ведь покинул Якутию не с пустыми руками. В заплечном моем мешке лежала дюжина шу-рок — песцовых и куньих — и ими я расплачивал-ся за все услуги.

И чувствовал себя, как купец, богатым и краси-вым...

* * *

Богатому — хорошо! К нему все тянутся, его все любят... Я быстро в этом убедился, прибыв в Певек

и связавшись с портовыми бичами.

По-английски "бич" — означает пляж, песчаную отмель. А на международном морском жаргоне — это человек, оказавшийся на мели... В сущности, я сам был всю жизнь таким вот бичом! Но эта публика вообще-то разношерстная, тут имеется немало разновидностей. Есть к примеру, бичи-профессионалы, постоянно обитающие не в море, а на "мели", в портовых кабаках. На Юге таких, кстати сказать, множество. Одесса буквально кишит ими. В дальних же, северных, холодных портах, бичей — не густо. Но, как бы то ни было, они водятся всюду! Они словно бы принадлежат к широко разветвленной, подпольной секте "морских паразитов". Многие моряки сравнивают их с "водяными вшами". (Вши эти живут на коже моржей — и могучие звери не могут от них избавиться. И чем быстрее плывет обеспокоенное животное, тем глубже въедаются вши в его плоть!) "Профессионалы" такого сорта — пронырливы, хитры и безжалостны... Однако некоторую пользу можно все же извлечь и из них. Шныряя по берегу, они знают здесь все. Они лучше любого диспетчера осведомлены обо всех швартующихся судах. И могут (конечно, за доброе угощение) дать свежую информацию и свести с нужными людьми.

Меня они облепили сразу и густо. И обхаживали старательно. И мешок мой, в результате, сильно полегчал... (Чего я им всю жизнь не прощу!) Но все-таки я своего добился! Познакомился с местными рыбаками. Без труда договорился с ними обо всем. И с началом путины — опять очутился в открытом море.

МЫС ДЕЖНЕВА

Я проработал на траулере весенний сезон, побродил по Восточно-Сибирскому морю, — а затем расстался с рыбаками. Случилось это на Чукотском полуострове, в селе Уэллен. Певекский траулер дальше не шел, поворачивал назад. А я назад — не хотел! И "списавшись" на берег, стал подыскивать какое-нибудь новое судно... Уэллен — место бойкое. Оно расположено на скалистом берегу, у входа в Берин-

гов пролив - на самом перекрестке водных дорог. Здесь сходятся и пересекаются все пути, ведущие из Ледовитого океана - в Тихий. Здесь-то как раз и начинается легендарный "Северо-Западный проход"!

И, как каждый людный перекресток, Уэллен всегда выглядит шумным и оживленным.

Когда я появился там, на рейде стояло несколько кораблей. Маячила военная канонерка, виднелись какие-то катера. И были также три промысловые шхуны.

Я уже научился немного различать силуэты. И быстро понял, что одна из шхун - китобоец. На приподнятом ее носу виднелась тупорылая гарпунная пушка. Другое же судно - типичный зверобой, охотник за котиком. (Высокие мачты, смотровая марсовая бочка - наверху мощная скошенная труба и гибкие обводы.) А поодаль стояла еще одна посудина - и она показалась мне странно знакомой...

Я вгляделся пристально - и узнал старую американскую шхуну "Юкон".

* * *

Встретились мы, как друзья... И я рассказал американцам о том, как и чем завершился скандал в бухте Тикси.

- Мало того, что я потерял тогда службу, - добавил я в заключение, - я чуть без носа не остался. А все - из-за этого каннибала! Еще хорошо, что удар был не прямо нанесен, а - сбоку...

Переводил, как обычно, Стась. Выслушав его, каннибал оскалился весело, затрясся от смеха. Но тут же посерьезнел. И долго, сосредоточенно разглядывал меня, и деловито щупал мне нос толстыми своими, черными, татуированными пальцами.

Потом он что-то прохрипел... И Стась склонился ко мне, участливо:

- Это все не страшно! Он уверен, что кривизну можно легко исправить.

- Правда? - обрадовался я, - каким же способом?

- Да самым простым... Надо теперь ударить - с другой стороны!

- Ну уж нет, спасибо, - сказал я поспешно, - этот рецепт пусть он побережет для себя самого.

Мы сидели — как и в первый раз — на берегу, в столовой. Но пили теперь мало. А в карты и вовсе не играли. Все были озабочены делами, заняты мыслями. Я — своими, американцы — своими. Они, насколько я смог понять, браконьерствовали (незаконно добывали котика и морскую выдру — колана.) И для забот у них имелось немало причин.

Отправляясь на свой "Юкон", Стась сказал:

— Не знаю, сколько мы здесь проторчим. Власти пока не дают разрешения выходить в ваши воды... Разрешат — пойдем к Новосибирским островам. А нет — повернем к Алеутам. Но при всех обстоятельствах эту субботу и воскресенье мы здесь пробудем. Так что решай! Хочешь с нами — приходи на шхуну. Ребята уже знают тебя, верят тебе...

— Но это значит — бежать с родины, — пробормотал я.

— Естественно, — сказал Стась, — а что? Или ты беспокоишься о чем-то?

— Беспокоюсь...

— О чем? О документах? Пустяки! Сделаем.

— Нет, я — о другом... Ну, скажи: что я буду в Америке делать? Что я там — могу?

— А в самом деле, что ты можешь?

— Да ничего... Ну, стреляю неплохо, еще умею бросать ножи. Но ведь это и там умеют, и почище, чем я! Да и вообще, — разве это дело?

— А чего же ты хочешь?

— Иную судьбу.

— Какую же? — Стась внимательно посмотрел на меня. Махнул рукою друзьям — чтоб не ждали. Затем уселся поудобнее и подпер кулаком подбородок.

— Ну? Я слушаю!

— Не знаю, как тебе объяснить, — заговорил я смущенно. — Я, видишь ли, пишу... Только не смейся! Да, сочиняю! И мечтаю как-то начать... Но разве я смогу начать за границей, — там, где все чужое? И язык, и люди, и сама земля?

— Ах, так вот, в чем дело, — сказал он протяжно. — Ты бы хотел приехать на Запад, как интеллект, как фигура почтенная, значительная... А тебе невдомек, что Западу на это плевать!? Мы для него все равно чужие, лишние, каковыми бы мы ни были — интеллектуалами или гангстерами... Быть

гангстером даже лучше. Все-таки бизнес!

Белокурый, с худым, костистым лицом, Стась был уже не молод. Но и не стар, - на вид ему можно была дать лет сорок пять. И говорил он, заметно нервничая: сюжет этот, очевидно, его задевал... И глядя на поляка, я подумал: интересно, а кто он сам-то? И как он вообще попал на эту шхуну?

Стась заказал пива. Отхлебнул и сказал - как бы отвечая моим мыслям:

- Я по образованию - историк. Славист. Перед войной был преподавателем в Варшаве. Затем ушел в партизаны. Сражался против Коричневых Рубашек и против Красных Звезд... Ну, и естественно, вынужден был потом уехать! А здесь теперь веду жизнь джекклондоновского бродяги... И я не один такой!

- Жалко, - пожал я плечами.

- Конечно, жалко, - сказал он, - но я все-таки не пойму: откуда у тебя этот снобизм? Мы все, значит, можем быть на простых ролях, а ты, значит, - нет?!

- Ты пойми, Стась, - сказал я. - Вот мы с тобой - из разных стран, а живем одинаково! И оба находимся в конфликте со своим законом... Так какой же смысл мне это все перетасовывать? Блатные мудро говорят: "Хер на хер менять - даром время терять".

- Как хочешь, дружок, - сказал он, опуская брови. - Я вовсе не собирался тебя агитировать. Просто думал помочь... Ведь при всех обстоятельствах остается главный резон - свобода! А она - рядом! В хорошую погоду Америку можно увидеть невооруженным глазом.

- Но я сейчас и так свободен, - возразил я. - Скитаюсь повсюду, делаю, что вздумается...

- А политический режим?

- А что мне - режим? При режиме несвободны лишь те, кто служит ему, кто ему подчинены. Всякие чиновники, партийцы, работяги... Но я же бродяга! По выражению одесситов - "подземный человек".

- Та-ак. - Он быстро глянул на меня исподлобья. - Может, ты и вообще уходить не собираешься? Не хочешь?

- Нет, почему же? Хочу, - проговорил я медленно. - Очень хочу увидеть Америку, страну Марка Твена и Джека Лондона, Хемингуэя и Дос-Пассоса...

И есть еще остров, где умер Гоген! Дороги Фландрии, по которым бродил Уленшпигель. Парижские мосты, под которыми спал Франсуа Вийон. И места, где страдал молодой Вертер. И закоулки туманного огромного города, где жили Оливер Твист, Пирипп, Давид Копперфильд.

- Складно говоришь, - усмехнулся Стась. - Что ж, вот тебе и предоставляется возможность...

- Но я не желаю идти там понизу, по дну, жить в потемках. Как тот же Оливер Твист... Я устал от дерьма, с меня хватает нашего! Зачем мне еще хлебать заграничное? Нет, Стась, я намерен - если уж переступлю черту - воспользоваться всеми благами открытого мира!

- Я вижу, ты действительно сочинитель, романтик, - сказал поляк и прищурился иронически. - "Всеми благами"... Ну, насмешил! А впрочем, дай тебе Бог.

- Конечно! Но для этого надо чего-то стоять... Надо сначала - кем-то стать!

Стась допил пиво. Со стуком поставил кружку на стол. И поднялся. И вид у него в этот момент был задумчивый, замкнутый.

Мы стали прощаться. И он вдруг спросил, задержав мою руку в своей:

- Ты говорил, что хочешь "стать кем-то"... Но ты уверен, что станешь? Что это получится?

- Не знаю, - насупился я.

- Смотри, потом спохватишься - а будет уж поздно... Еще пожалеешь об упущенном шансе!

- Может быть, - пробормотал я, - может быть...

* * *

Потом я долго бродил по каменистому берегу, по скользким скалам... Вот уже третий раз в жизни вставала передо мною проблема бегства, проблема эмиграции. Судьба упорно и повсюду подсовывала мне этот шанс! Она как бы искушала меня... Впервые это произошло давно, во Львове, у западных границ отечества. Затем - в Сибирской тайге, у монгольских рубежей. И вот теперь - опять. И тоже у границы, на самой крайней, восточной точке азиатского

континента. Я пересек - из края в край - всю свою страну (а это, как никак, одна шестая часть света!). И много перемен случилось за истекшие годы, а проблема бегства так и осталась - мучительной, трудной, больной... И всякий раз, сталкиваясь с ней, я безотчетно колебался, и в самый последний момент - отказывался, выходил из игры.

Сейчас я, наконец, сумел полностью разобраться в внутренних своих противоречиях.

Конечно, мне очень хотелось увидеть мир, пошляться по планете! Но беда в том, что все варианты, предлагаемые мне - не были "чистыми". Старый мой приятель, Копченый (помните его?), был политический авантюрист, а Стась - авантюрист полууголовный. Первый имел дело со всякими разведками, второй же - с браконьерами и контрабандистами... А я не желал "нечистых" путей! Я действительно устал от дерьма. Ну, а для новых, других путей, - сам еще был не вполне пригоден... Мне еще предстояло найти себя. Сделать себя! И осуществить это я, конечно же, мог только здесь, на суровой своей земле. На родине.

На родине, которая, кстати, никогда не была ко мне добра. Которая вечно меня отвергала, преследовала, и в общем, сама принуждала к бегству, толкала - прочь, за рубеж...

Погруженный в мысли, я забрел далеко. И как-то незаметно для себя очутился на скалистой возвышенности - на краю мыса Дежнева. Отсюда открывался просторный вид. Тянул с пролива несильный бриз. Шипела набегающая волна - плевалась соленой пеной. Вода вблизи берега была мутной, серо-зеленой. Дальше цвет ее сгущался. А там, где начиналась территория Америки, виднелась темная, испещренная барашками, лиловая полоса.

Словно бы там сама природа провела черту, разделяющую два полушария! Вдоль Берингова пролива проходит не только ведь государственная граница, там еще и лежит меридиональная граница времени, отделяющая Восток от Запада. И когда в Штатах ночь - над Сибирью лучится утро, а когда здесь темнеет - там, на Западе, уже близится рассвет.

Давеча Стась сказал: "Америку можно увидеть невооруженным глазом". Что ж, наверное... Но я, как

ни старался, так и не смог ее разглядеть. Очевидно, тут нужны были глаза настоящего моряка!

Семен Дежнев, конечно, ее видел отсюда! Устало, жадно и удивленно смотрел он на незнакомый берег. Он ведь стремился достичь оконечности старого своего материка, но вовсе не думал, что наткнется — на новый... Америку, впрочем, открывали несколько раз и с разных сторон (с Юга и с Севера), и всегда — стремясь к другому, думая о другом... Открывали как-то ненароком, случайно.

А может быть, нет, не случайно? — подумал я тут же, — может, так оно и было задумано свыше; чтоб однажды, из ветреной мути возникла огромная эта земля, и встала — на пути у всех!

Ветер незаметно окреп. Стало смеркаться. Прибой теперь бил в скалы гулко и часто. И под грохот его, под мощный этот ритм, начали слагаться у меня стихи, — о двух несхожих мирах, глядящих в упор друг на друга...

И вот, в тот самый момент, когда я воспарил, вознесся, — кто-то крепко ударил меня сзади по шее.

И я, с высот поэзии, мгновенно упал на мокрый гранит.

ПОПОВ И ДОЛГАНОВ

Я быстро вскочил и обернулся, потирая шею. И увидел двух незнакомых мне людей. Один был в зюйдвестке и брезентовой куртке, другой — в свитере и плаще.

Кто они? — подумал я с тревогой и гневом. Откуда? И что им надо?

Человек в зюйдвестке проговорил, разглядывая меня:

— Вот те раз... Да это ж ведь — не тот!

И он, отступя, разрозился морским сверхъестественным матом, в котором подробно перечислялись все ангелы небесные и все силы ада, а также — моя и его ближайшая и отдаленная родня.

Парень в плаще — стоявший поодаль — сказал:

— Что ж, Авдеич, материшься-то? Ты бы, наобо-

рот, извинился...

- Да, браток, извини, - сказал мне Авдеич, - промашечка вышла.

- Ничего себе - промашечка! - держась за шею, усмехнулся я. - От такого удара можно и помереть невзначай...

- Это я не со зла, - сказал Авдеич. У него было широкое крепкое лицо, пышные усы и крошечные медвежьи глазки - в морщинистых веках. - Это я так, в шутку.

Спутник Авдеича (помоложе его, потоньше и чуть выше ростом) объяснил мне, что они ищут одного местного "бича". Нынче утром тот проиграл пари - проспорил три бутылки - ушел и исчез. Испарился! И нигде его с тех пор нельзя отыскать...

- А ты со спины - прямо - вылитый он, - добавил Авдеич. И опять ввернул пару крепких слов. - Мы шлялись по берегу, смотрим: кто-то на мысу торчит... Такой же бушлат, сапоги. И такая же манера сутулиться. Ну, точная копия! Вот я и хряпнул слегка - по загривку.

- У нашего боцмана рука - как механический пресс, монеты мнет, стальные тросы сгибает, - улыбнулся парень в плаще. Как выяснилось впоследствии, это был судовой радист, носящий традиционное прозвище "Маркони". - Ему бы не в море трудиться, а в Олимпийских играх участвовать.

Боцман слушал и кряхтел смущенно. Потом он достал трубку - закурил. И вдруг сказал, придвигаясь ко мне:

- Ладно. Чтоб не было обид - давай-ка и ты теперь хряпни!

- То есть как? - удивился я.

- Очень просто! Обменяемся ударами - вроде, как руки друг другу пожмем... И дело с концом! Я начал, теперь твоя очередь. Ну?!

Он засопел, приблизил ко мне лицо.

- Давай, бей!

Драться мне, в общем, не хотелось; злость уже прошла. Да и ребята эти мне понравились, пришлось по душе. Но понимая торжественность момента, я согласился. И, примерясь, ударил - по всем правилам бокса - в левую его челюсть.

Авдеич шатнулся. Но устоял. И одобрительно про-

ворчал, поглаживая ладонью щеку:

— Ничего, подходяще... Бьешь, правда, слабовато, но — четко, правильно. Красиво бьешь. Молодец!

Тогда Маркони сказал:

— Вот и познакомились.

И потом, положив нам обоим на плечи руки:

— Что ж, сейчас, я думаю, самое время выпить. — Он покосился на Авдеича. — Пойдем, что ли?

— Конечно, — кивнул Авдеич. — Само собой. Только вот задача: где достать? Мы же — пустые... А тот ублюдок будет теперь от нас прятаться все время, сколько мы тут стоим.

— Не беда, братцы, — отозвался я. — Идемте, я вас приглашаю! У меня кое-что есть... На выпивку хватит... А кстати, вы с какого же судна?

И боцман ответил, вынув изо рта трубку:

— С китобойца "Скиталец".

— Так это же — мое имя! — воскликнул я, смеясь.

* * *

Так началась новая моя морская служба.

С помощью Авдеича я устроился на шхуну матросом, причем — быстро, легко. Дело в том, что на борту заболел человек, и появилось свободное место... Происшествие это как раз и послужило причиной остановки корабля; заболевшего (у него был приступ аппендицита) потребовалось срочно переправить на берег, в больницу. Внезапной этой передышкой воспользовался также и старший механик, обнаруживший какие-то помехи в машине. В общем, "Скиталец" простоял на рейде двое суток, и команда провела — как шутил Маркони — "законный уикенд". И стала готовиться к отплытию только следующей ночью... Я спросил у боцмана, почему именно ночью — и он ответил, постучав ногтем о стекло карманных своих часов: "Ждем, когда кончится понедельник... А иначе не будет фарта — этот день опасный. Вот, как только стрелка перебежит за двенадцать — так и пойдем. На всех парах!"

В полночь по палубе прошла мелкая дрожь — ожила и заработала машина. Минуту спустя загремела якорная цепь. Раздались три долгих гудка; это

"Скиталец" прощался с берегом и с оставшимся там матросом... И сейчас же за бортом сместились и поплыли Уэлленские огни.

Мы миновали толпящиеся на рейде суда; "Юкона" там уже не было. И я мимолетно подумал: вот и еще один шанс потерян... Выпущен из рук... Кто знает, может, Стась был прав - и мне действительно придется когда-нибудь пожалеть об этом?!

Вблизи Уэллена, как вы уже знаете, проходит несколько границ. И есть там, помимо перечисленных, еще одна - идущая не вдоль пролива, а поперек его. Невидимая, но вполне реальная, осязаемая эта черта, именуется "полярным кругом"... Так что Уэллен и впрямь - Великий Перекресток! Да так его, впрочем, и величают многие шкипера.

За чертой этой пролив кончается - и открывается угрюмое Чукотское море.

И войдя в него, вырвавшись на простор, "Скиталец" тотчас зарылся в пенные гребни. Несмотря на летнюю пору, море пахло холодом и бедой. Над ним клубилось низкое облачное небо. И дул обжигающий ветер - выл и свистел, запутавшись в корабельных снастях. И снасти звенели тягуче...

Кто-то из матросов, стоявших со мной, сказал, подняв голову:

- Снасти поют - значит, ветер не меньше шести баллов,

- Н-да, погодка, - проговорил другой. - По такой волне не очень-то разгонишься!.. Ни черта мы тут, братцы, не найдем.

- А кого мы сейчас ищем? - спросил я, - китов? Кашалотов?

- Двух спермуэлов.

- Это еще кто? - не понял я.

- Норвежцы так кашалотов называют, - пояснил пожилой краснолицый моряк. - Из них "спермацет" добывают - знаешь? Ну, вот. Мы за двумя этими бродягами и гонимся, от самого Анадыря. Думали, что они к "Святому Лаврентию" направятся, а они - вон куда сунулись сдуру! Совсем не в свои места.

- Почему ж - не в свои?

- Да ты, парень, какой-то дикий, - удивился краснолицый, - ты откуда к нам попал? На чем раньше плавал?

- На тральщиках.

- Селедку, значит, ловил! - Он усмехнулся пренебрежительно. - Оно и видно.

* * *

Я узнал немало любопытного об этих водяных гигантах. В отличие от усатых китов, питающихся планктонной "похлебкой", кашалоты (зубастые киты) едят кальмаров, осьминогов, разную донную рыбу. Они достают добычу с огромных глубин и являются лучшими в мире ныряльщиками. И вот именно в связи с этим они избегают, не любят арктические моря. Слишком уж мелки и бедны для них здешние воды! Рыбы тут, конечно, великое множество, но кальмар (главное лакомство!) обитает гораздо южнее - вблизи Японии, и дальше, по всему Великому океану. И стада кашалотов пасутся, как правило, в тех пределах, не выше северных сороковых широт.

Одиночки, правда, заплывают и выше, встречаются всюду - но речь о них впереди! Сейчас мы говорим о коллективных, так сказать, стадных обычаях.

Для любовных игр и сражений спермуэлы собираются около Фиджи и Самоа, возле Бермудских и Азорских островов, а также у восточных берегов Японии, там, где проходит теплое течение Куроисио. В тех местах разыгрываются порою жестокие, долгие битвы. Ведь кашалоты - полигамны! Как у моржей и у китов, самцы у них владеют гаремами. На каждого повелителя приходится по пять-восемь самок. Однако обладать этим богатством - не просто... За счастье приходится бороться.

Может быть, потому, что спермуэл - многоженец, у него такое большое сердце? (Длина семь метров, а вес - около ста килограммов.) И голова у кашалота также не малая; она составляет треть туловища. Нижняя хватательная челюсть усажена пятьюдесятью страшными зубами, остротой и прочностью не уступающими акульим. Зато мозг мизерный: средний вес его всего пять килограммов... Ну, а половой орган весит около восьми - почти вдвое больше! И соотношение всех этих деталей яснее всего, по-моему, раскрывает главную его сущность.

Кашалот-самец создан для любви и для драки! Вся его жизнь проходит в непрерывной яростной борьбе — за самок, за еду... Ему ничего не дается даром. Еще бы! Чудовищные моллюски, которыми он лакомится, — существа агрессивные и грозные. Так что за каждый вкусный обед он расплачивается кровью. И с гаремом у него тоже хватает хлопот. В молодости спермуэл всеми способами пытается овладеть стадом самок, а потом — из последних сил — старается удержать его, отбиться от соперников.

А соперников множество! Тут и подрастающая молодежь (иногда и собственные сыновья), и пожилые, матерые одиночки, когда-то, где-то упустившие свое счастье, но еще не утратившие азарта и надежд.

Дерутся самцы беспощадно. Они прежде всего стараются схватить друг друга за нижнюю челюсть. Это ж ведь — основное их оружие! И нередко наносят друг другу тяжкие непоправимые увечья.

Побежденный, естественно, изгоняется — и вот тогда-то, став неприкаянным бобылем, он и заплывает в северные моря. Заботиться ему теперь не о ком, а на себя — плевать!

Но бывает так, что и победитель не удерживается в гареме надолго; измученный, ослабевший от ран, он быстро затем уступает место какому-нибудь новому, молодому, дождавшемуся своего часа, конкуренту.

И вот так, собственно, и случилось с теми двумя спермуэлами, за которыми гналась теперь наша шкуна.

Моряки хорошо их знали, и впервые встретились с ними два года назад, — около острова Хоккайдо. Тогда как раз состоялась первая их "дуэль"...

Она была первой — но далеко не последней! Проигравший потом возвратился еще раз — попробовал было осилить врага, отогнать от самок... Но не сумел. И ушел к высоким широтам, унося на шкуре бесчисленные шрамы.

А спустя некоторое время — в Охотском море — его нагнал второй дуэлянт. Он тоже оказался в неудачниках, стал холостяком, превратился в бродягу.

Мозг у спермуэла мизерный. Но памятью Господь их не обидел! И им присуще чувство ненависти и мести. И когда эти двое встретились — тотчас

вспыхнула старая их вражда. Борьба разгорелась с новой силой... И тут их настигла китобойная шхуна.

И все же они успели скрыться в тот раз, спастись; их заслонил от гарпуна внезапно налетевший шквал.

Прошло еще полгода. И вот, совсем недавно, китобоец снова наткнулся на этих двух бродяг. И начал погоню. И, в результате, зашел за полярный круг.

По словам моряков, опознать "дуэлянтов" не составляло труда. У одного была повреждена нижняя челюсть; у другого же справа, над самым глазом, — образовался большой нарост дикого мяса. Он почти окривел и видел теперь плохо. И вероятно поэтому ни он, ни его противник не стремились на Юг, в океан. Глубоководные кальмары были им уже не по зубам...

И узнав обо всем этом, я как-то сразу невольно вспомнил о Попове и Долганове — о тех жутких оборотнях, которые повстречались мне на Яне. Было что-то до странности общее, сходное, в судьбах всех четверых...

И я дал кашалотам якутские имена; одного — окривевшего — назвал Долгановым, а второго — Поповым.

КРОВАВОЕ МОРЕ

Я нес ночную вахту — и озяб, и замаялся. У вахтенного матроса служба хлопотливая; надо успевать следить за лагом и прислушиваться к окрикам с мостика, и быстро выполнять все поручения дежурного начальства. И набегавшись, я встал у борта и прислонился к нему, отдыхая... В этот момент плеснула высокая темная волна. Обдала меня ледяными брызгами и растеклась, шипя, по палубе. Я обтер лицо ладонью. Взглянул мельком на руку — и вздрогнул.

Рука была вся в крови.

— Странно, — мелькнула мысль, — наверное, я поранился — а боли совсем не чувствую... Откуда эта кровь?

Я посмотрел за борт. И тут же понял - откуда! Море вокруг корабля было окрашено кровью.

Ночь уже кончалась. Наступал рассвет... Хотя, конечно, за Полярным Кругом ночь - понятие относительное! Летнее солнце там вообще почти не заходит; оно лишь опускается к горизонту. И бесформенное, сплющенное, движется по краю мира, отбрасывая тусклые, неживые лучи.

Сейчас оно медленно восходило из-за дальней черты. Цвет его был странно багров. И таким же багровым выглядело море. Тяжелые волны маслянисто лоснились и отсвечивали кроваво... И казалось, что это истекает кровью - само солнце!

И тотчас же раздался крик "марсового" - сидящего в бочке наблюдателя:

- Вижу на Северо-Востоке фонтаны!

- Сколько? - зычно напрягаясь, спросил капитан.

- Два.

- Какие?

- Косые, - ответил марсовой. - Точно говорю: спермуэлы!

Спермуэла - самого крупного кита из семейства "зубастых" - можно легко распознать по многим признакам. По форме (он напоминает гигантское, тупо обрубленное с комля, корявое бревно), а также и по манере пускать фонтаны. В отличие от всех других китов, он выбрасывает воду не прямо вверх, а вбок, - под углом в сорок градусов.

Итак, мы нашли, наконец, Попова и Долганова! И двинулись к ним - на Северо-Восток.

- Ишь, сколько кровищи! - проговорил, подойдя к борту, Авдеич. - Драка, видать, была сурьезная... Ну, теперь мы их возьмем! Только бы погода не подвела. - Он нахмурился. - Только бы погода...

- Так вроде бы чисто, - возразил я.

- А ты вот туда глянь! - боцман показал на запад. Я обернулся: сзади, настигая нас, росла взъерошенная, черная туча.

"Если солнце красно с вечера, - продекламировал боцман, - моряку бояться нечего. Если красно поутру - моряку не по нутру"! Это старая прибаутка, деды наши знали, - что к чему.

Туча ширилась, разбухала. В косматых ее недрах

слышалось глухое ворчание, и изредка вспыхивал ветвящийся, синий огонь.

Близились гроза! И надо было опередить ее - и вовремя достичь места схватки... Шхуна шла теперь полным ходом. На палубу высыпала вся команда. Боцман бормотал, раздувая усы:

- Вот они, голубчики! Ага, ага! Дрались под водой, на глубине, а теперь оба лежат, отдыхают.

Дуэлянты лежали совсем рядом - словно бы это были не враги, а друзья или родственники. Волны раскачивали их, перехлестывали через их тела. Но они не двигались...

Они походили на спящих - или на умерших? Но нет, нет, спустя минуту один из них (чуть поменьше размерами) зашевелился. И описал вокруг другого медленный полукруг.

Я подумал, что сейчас опять начнется бойня - и они, увлекшись, не заметят новой надвигающейся на них беды... И крикнул беззвучно: "Спасайтесь! Бегите отсюда!"

И будто услышав меня, поняв, меньшей развернулся вдруг, и вспенив воду лопастями хвоста - пошел стремительно прочь...

Оставшийся по-прежнему был недвижим. Шхуна подобралась к нему на дистанцию выстрела - и я смог хорошо разглядеть его.

И по искривленной, выпирающей вбок челюсти, я сразу признал Попова!

Он был огромен - метров тридцати в длину, не меньше! Черную тушу его покрывали кровоточащие раны... Но все же Попов жил. Он дышал!

На носу корабля, возле пушки, началась суета. Боцман уже был там. И рядом с ним толпилось еще несколько моряков. Среди их брезентовых роб отчетливо выделялась пестрая, клетчатая куртка гарпунера - норвежца. Вот гарпунер пригнулся, прицелился. Плавным движением рукой, корректируя ход судна...

Шхуна притормозила. И сразу ахнул выстрел. И к Попову, с тягучим свистом, полетела стальная игла гарпуна.

В следующее мгновение, палуба огласилась проклятьями. Посыпалась матерная скороговорочка Авдеича. И гарпунер, распрямившись, смущенно и растерянно, развел руками. Он промахнулся... А этого

с ним почти никогда не случалось!

Моряки горевали с ним вместе, и я был единственный здесь, кто сочувствовал не ему, не команде, а — раненному кашалоту.

Гарпун срикошетил, скользнул по спине спермуэла — и как бы пробудил его этим, вывел из столбняка.

И сейчас же Попов (усталый, истекающий кровью, но все еще могучий) натужно вздохнул. И легко, бесшумно стал погружаться.

Блеснула корявая черная его спина, перевитая радужными лентами пены... И это было последнее, что я успел заметить, потому что в тот самый момент нас нагнала, настигла гроза.

С тяжким треском раскололось небо. Коротко вспыхнул слепящий свет. И на шхуну, на море, казалось — на весь мир — обрушились звенящие, хлесткие дождевые струи.

— Такие грозы бывают в Заполярье редко, раз в пять лет, — воскликнул, проходя мимо, краснолицый пожилой матрос, — надо же, чтоб это случилось именно сейчас! Именно...

Он не договорил. Шхуна сотряслась от страшного удара. И я решил, что мы наскочили на подводный риф. Но краснолицый, цепляясь за мой рукав, прокричал — сквозь гулкую пелену ливня:

— Это кашалот. Нырнул неглубоко — схитрил, каналья, — и теперь атакует! Таранит!

Последовал новый удар. И затем очень быстро — еще один! По корпусу шхуны прошла как бы судорога. Раздался треск. Судно накренилось, черпая бортом волну... И тут я не выдержал:

— Он же нас потопит, — завопил я, — идиоты, стрелять не умеют... Теперь надо уходить — пока не поздно! Чего капитан медлит?

Но капитан не медлил. "Скиталец" рванулся сквозь дождь и ветер — и круто повернул на Юг.

* * *

"Скиталец" повернул на Юг. И на следующий день опять вошел в знакомый Берингов пролив.

Маркони запросил береговую радиостанцию — и узнал, что больному была сделана операция; что пере-

нес он ее трудно, и сейчас еще лежит, и выйдет через неделю... Время это, однако, капитан не хотел терять! И китобоец миновал Уэллен без задержки, на полном ходу.

Еще через двое суток мы были уже в Беринговом море. Но и там не стали задерживаться. Слишком уж был здешний климат суров и неудобен для промысла! Это море почти круглый год забито льдами, и в мореходной лоции указывается, что здесь "преобладает циклоническая деятельность, которая создается Алеутским минимумом, Гавайским максимумом и сибирскими антициклонами".

Команда устала от неудач, и шхуна рвалась теперь дальше, к нижним широтам, — туда, где лежат Курильские острова, и веют тихоокеанские ветры...

— Нам надо план выполнять, — заметил Авдеич, — и хватит с нас бродяг-кашалотов! С этими бандитами — вечная морока... Не-ет, мы сейчас займемся другими китами — вегетарианцами! В эту пору их полно, возле Курил и по всему Охотскому морю.

— Почему именно там? — спросил я.

— Эти воды — самые богатые планктоном, понимаешь? Да и рыбы навалом, более трехсот видов! А это тоже кое-что значит. Усатый кит — он ведь и рыбку прихватывает, знает в ней толк... Но главное, характер у него золотой. Без фокусов, без зигзагов, не то, что у спермуэла. — Боцман вынул из зубов трубку и, усмехаясь, огладил усы. — Этот-то, криворотый-то, мы думали: он помирает, а он вон какой номер выкинул! И ведь момент уловил: дождь, гроза... ничего не видно... А еще говорят, кашалот — дурак!

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ

Охотское море расположено между Камчаткой и Сахалином. Здесь действительно царство китов. И самые рыбные в мире места. И вот удивительное дело: остров Сахалин по форме напоминает чудовищную рыбу, а полуостров Камчатка — кита. Они плывут встречным курсом, "Сахалинская рыбина" выныривает из Японских вод. А "Камчатский кит", изогнувшись,

погружается в волны Тихого океана.

Под самым носом его рассыпались - словно мелкая рыбешка - Курильские острова. И похоже, что "кит" гонится за ними...

Мы проскочили мимо Курил ночью. И с первыми проблесками зари перед нами распахнулась белесая водная равнина. Обычно бурное, беспокойное Охотское море выглядело сейчас на редкость тихим и ласковым. Его засекали солнечные блики. Над ним, в безоблачной синеве, клубились и реяли сотни птиц. И стоял полнейший штиль!

- Ну, наконец-то! - сказал, улыбаясь, боцман, - погода - прямо по заказу! Теперь мы отыграемся, возьмем свое... Уж теперь-то - точно!

Сверху, из "вороньего гнезда", раздался крик марсового:

- Вижу фонтаны! Прямо по курсу!

- Сколько? - спросил с мостика капитан.

- Штук восемь...

- Полный вперед, - прорычал в переговорную трубку капитан, - самый полный!

Шхуна шла на всех парах, и команда ликовала. "Вегетарианцы" были верной добычей! И с каждой минутой расстояние между ними и китобойцем сокращалось... Но внезапно с юга-востока надвинулся туман.

Мы увидели его не сразу; мы ведь смотрели вперед - на китов!

Киты играли. Знаете, как резвятся эти гиганты? Они прыгают по воде, словно дети - по тротуару...

Хвостовые лопасти у них устроены не так, как у рыб, а - горизонтально, и обладают, в связи с этим, редкостной мощностью. И прыжки китов, сопровождаются всегда пушечным гулом. Но все равно в их играх есть что-то трогательное, инфантильное.

А туман, между тем, наползал! Первым его углядел марсовой и прокричал тревогу... Но что же тут можно было поделать? "Скиталец" и так шел полным ходом - не шел, летел. Но туман двигался быстрее. Повторялась, в сущности, та же история, что и с Чукотской грозой. И в обоих случаях мы были обречены, оказывались в проигрыше.

Вскоре туман навалился на шхуну - и поглотил корму. Я покосился туда, и увидел плотную, тяжело

кольшающуюся, стену. Обвел взглядом море - но и оно уже тоже затмилось, помрачнело...

А затем меня с головы до ног окутали, обволокли густые лиловые клубы... Не стало ни мачт, ни палубы. Я словно погрузился вместе с кораблем в мутную жидкость - невесомую, неосязаемую, пахнущую йодом и гнилыми водорослями.

Ощутимыми, отчетливыми в ней были только звуки.

Где-то очень близко слышался сочный плеск, раздавались гулкие хлопки по воде - это играли киты. Они резвились с прежней беззаботностью.

Люди же чувствовали себя потерянными, полуослепшими. Когда-то я говорил об обских туманах... Они там действительно, сильны. Но такого страшного, как этот - я еще никогда не встречал! Впрочем, здешний край в этом смысле прославлен. И моряки не зря называют Камчатку "дьявольской кухней туманов".

Простерев беспомощно руки, я двинулся по палубе - ошупью, робко отыскивая дорогу к кубрику.

И вдруг услышал голоса.

Разговаривали сгрудившиеся у рубки моряки. Шел типичный мужской треп... Треп бездомных, изголодавшихся людей - о любви, о сексе, о всяких пикантных деталях.

Таких разговорчиков я наслушался за жизнь немало. И в казармах, и в тюремных камерах, и на кораблях - везде преобладал один, традиционный сюжет.

И сейчас толковали о том же, - но не о людях, а о моллюсках.

- У них, не так, как у всех прочих, - повествовал бойкий тенорок. - У них это делается по-простому, по-пролетарскому! Вот, скажем, кальмар... Он подплывает к какой-нибудь дамочке, протягивает ей - своим щупальцем - пакет со спермой. И та берет, ни слова не говоря, и кидает себе прямо в матку.

- Врешь! - усомнился кто-то, - неужто, у них так?

- Все точно, ребята, - подтвердил хриплый голос (и я сразу узнал краснолицего моряка). - Есть и другая порода - называется "аргонавты". Так у тех - еще проще... У спрута, у мужика, щупальце со спермой отрывается и плывет - навроде рыбы - ищет самку! А как найдет, само к ней в нутро заползает.

Она, дура, вообще ни о чем не знает... Спит, к примеру, видит сны, а сперма-то уже - промеж ног!

- Промеж щупальцев, - поправили его с хохотом.

- Ну, правильно, - согласился краснолицый, - да какая разница? Главное, что - тама! И без хлопот!.. Я как-то в порту с одной девчонкой познакомился. Конечно - выпили, поболтали. Ну, потом я и говорю: "Ладно, короче... Ложись!" А она мне: "Ты что, мол, хочешь, - как кальмар? Сунул пакет со спермой и все дела? Нет, я все-таки человек. Ты свое щупальце пока не протягивай... Сначала - поухаживай за мной, понравься мне!"

- Эх, девочки, - вздохнул первый, - цыпочки - курочки! У меня тоже в Петропавловске осталась одна. И еще - в Усть-Камчатске. Но теперь, когда я их увижу? План не выполнен, фарту нет. А наш капитан с пустыми руками не привык возвращаться... Верно говорю, ребята, загорать нам в море - до осени!

- Да, не везет, - послышался новый голос, - в который уж раз упускаем добычу! То дождь, то туман... И все как-то исподволь, исподтишка! Вот же, подлость какая! С чего? Почему?

- Так бывает, братишки, когда на борту - баба, - сказал из тумана Авдеич. И все на минуту при-
молкли, слушая затейливый его мат.

- Или когда - неудачник... Истинный неудачник! - добавил затем Краснолицый. - Но кто бы это? Раньше таких у нас, вроде, не было...

Я находился уже поблизости от них - в двух шагах. Но услышав эти слова, дальше не пошел. Замер, не дыша. И слегка попятился.

Ребята недоумевали, терялись в догадках, но мне-то все сразу стало ясно! Я прекрасно понимал, что здесь истинный неудачник...

И баба, - подумал я затем, - она ведь тоже имеетя! Лежит в моем мешке, плывет на этой шхуне. Правда, она - резиновая, надувная... Но кто знает, какие у фортуны прихоти? На что она обращает внимание? Может быть, для нее вполне достаточно того, что есть?

Заблудившаяся в тумане, шхуна стала на прикол. И простояла так сутки. А когда немного развиднелось — завернула в ближайшую удобную бухту.

И там я ушел с корабля. Я решил это сделать сам, не дожидаясь осложнений...

Никто из команды, собственно, не бросил мне ни малейшего упрека. И Маркони с Авдеичем провожали меня, как друзья. Но все же я видел, с каким огромным облегчением восприняли все мой уход!

Я как бы притащил на шхуну бедственную свою участь — и ребята стали угадывать это. Я не принес им добра! Наоборот... И в общем — я понимал это отчетливо — китобой из меня не вышел, не получился.

Да и вообще, какой из меня моряк? — думал я, сидя в береговой пивной, за бутылкой водки. — Это все началось случайно... И протекало нелепо... И пора мне уже с этим кончать. Пора возвращаться на материк, прибиваться к какому-нибудь берегу!

Да, но к какому? — тут же спросил я себя. — Куда? Куда?

И, не найдя ответа, потянулся к бутылке...

За соседним столиком сидел какой-то рослый парень — в форменном кителе, в фуражке с морским "крабом". Мы постепенно разговорились. Он оказался вторым помощником капитана, с плавучей фабрики "Алеут", являющейся базой местной краболовной флотилии.

Этот корабль я видел на рейде. Он был огромен, многоэтажен, ярко освещен. Оттуда слышалась музыка и долетали женские голоса...

Водочка сближает людей быстро, легко. И спустя час мы были уже — лучшими друзьями! Я поинтересовался: куда база держит путь? И выяснил, что — к Сахалину и дальше... Конечный пункт: Бухта Ольга, в Японском море.

— Ольга? — наморщился я. — Она, по-моему, недалеко от Владивостока?

— Рядом. Милях в двухстах всего...

— Слушай, друг, — сказал я, — возьми меня на судно, а? Согласен на любую должность!

— Не знаю, — замаялся Костя (так звали нового

моего друга), — вряд ли это возможно. База набита битком, все укомплектовано полностью... А чего ты так рвешься-то?

— Хочу — на материк.

— Зачем?

— Долго объяснять, — махнул я рукой.

Но все-таки — объяснил... И незаметно увлекшись, рассказал ему о своих скитаниях.

Повествование длилось долго. За это время мы успели опорожнить еще одну бутылочку. И я, в заключение, проговорил, развязывая дорожный свой мешок:

— Вот все, что осталось от прежнего богатства... Три шкурки — но зато какие! Голубой песец! Знаешь, сколько он стоит? Две с половиной тысячи! В "Ольге" я одну шкурку загоню и расплачусь по-честному. Или — вместе пропьем!

И я потряс перед его взором пушистым, шелково переливающимся мехом. Но Костя смотрел не на песцов, а на раскрытый мешок. Оттуда высывалась белокурая прядка женских волос.

— Что это? — спросил он, пригибаясь. — Ты, может, женские скальпы коллекционируешь?

— Да нет, это так, игрушка, — пробормотал я, — надувная...

— А ну, покажи!

Осторожно, медленно — хоронясь от сторонних глаз — я достал Красотку и развернул ее. И выслушав все мои комментарии, Костя пришел в восторг.

— Но это же гениально, — смеясь сказал он, — значит, что же: как понадобилась — надул! А надоела — выпустил воздух и спрятал! Какая выдумка, какая выдумка! Решение всех проблем... Вот что, — песцов ты своих спрячь. А лучше подари-ка эту красоточку.

— Но ты обещаешь?..

— Ради такого дела — в лепешку расшибусь! Не беспокойся. Пойдем прямо сейчас.

Когда мы уж поднялись из-за стола, я спросил:

— Сколько у вас на базе женщин?

— Ох, много, — отозвался он. — Работают в цехах, и в столовой, и в прачечной — повсюду. Сплошное бабье царство!

— Но зачем же тогда тебе — эта красотка?

— А вот именно поэтому... Устал, надоело! Хочу покоя! Хватит с меня истерик и всяких фокусов...

И он добавил, усмехнувшись:

— Вот появишься там — все сам поймешь!

* * *

Поздней осенью пятьдесят четвертого года я вышел из ворот Владивостокского порта. На мне был все тот же потрепанный морской бушлат. Тяжелые обитые сапоги. И мешок за спиной болтался — совсем уже легонький, плоский.

День был пасмурный, мглистый. Моросил мелкий дождичек — сек лицо и полз за воротник. Пройдя несколько улиц, я огляделся, ища укрытия. Увидел вывеску пивной. А на противоположной стороне улицы — массивное здание библиотеки.

С минуту я стоял, колеблясь, не зная, куда повернуть. Пивная манила — но идти туда было боязно... Денег оставалось немного, их следовало беречь!

И шлепая по лужам, я пошагал — через улицу.

В библиотеке было тихо, чисто, тепло, и пахло старыми книгами, особым неповторимым запахом, всегда напоминающим мне детство... Я сразу как-то обмяк, расслабился, отогрелся. Лениво подошел к столу, на котором — тяжелой грудой — лежали подшивки сибирских газет. Стал их небрежно перебирать. И вдруг увидел подшивку газеты "Советская Хакассия".

Это была та самая газета, в которой я безуспешно пробовал начать... И где оставил, уходя, все свои рукописи.

Теперь я с интересом ее просматривал: я как бы встретился со старым знакомым...

Наконец-то я узнал, что делается в мире и в нашей стране. В ней, судя по всему, начинались немалые перемены! Сталинский ставленник — Берия — был разоблачен и расстрелян. "Коллективное" руководство skonчалось. Ко власти пришел Никита Хрущев. Имени его раньше я никогда не слыхивал — и одно это уже было признаком неплохим, обнадеживающим.

Ну, а что же творится в самой Хакассии? - Я склонился над подшивкой. И смаху перелистнул несколько номеров.

И отшатнулся. И на мгновение даже зажмурился.

С помятой, захватанной газетной страницы на меня в упор смотрело мое собственное имя: "Михаил Демин". И пониже - жирным курсивом - значилось: "Лирический Цикл".

Цикл был довольно большой, и подобран неплохо. И здесь же, в редакционной заметке, сообщалось, что газета представляет читателю нового, молодого (!) начинающего автора.

Заинтересовавшись, я торопливо начал рыться в пропущенных экземплярах. И обнаружил там еще две поэтических подборки, а также - большой, во весь разворот, художественный очерк о природе Южной Сибири.

Значит, час мой пришел, - подумал я, - все-таки я дождался...

И странное дело - я подумал об этом с облегчением, с радостью, но уже без того пылкого юношеского восторга, который охватывал меня раньше при мысли о такой удаче... Я больше не бурлил и не пенился.

Ну что ж, вот и окончилась моя одиссея! Продолжалась она почти два года - но за это время я как бы прожил целую жизнь. Было все в ней: и голод, и безумие, и страх... И трубил надо мной ветер странствий - ветер многих морей. И встречались на пути моем Сирены, и попадались чудовища. И приходилось мне проскальзывать между Сциллой и Харибдой. И сталкиваться с гигантским Циклопом (правда, уже утомленным, дряхлеющим, но все еще по-своему - грозным!) Я несколько раз уходил у него из-под рук, спасался от заточения... Но давалось мне это нелегкой ценой.

Теперь это все позади. Зигзаги кончились. Начинается новый, обратный путь. Мне предстоит вернуться туда, откуда я бежал когда-то, и где сейчас - призывно и гулко - ударили колокола судьбы!

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Часть 1. Вне закона</i>	7
<i>Часть 2. Вторая попытка</i>	75
<i>Часть 3. Третья попытка</i>	131
<i>Часть 4. Если Господь заронил в тебя свет</i>	181
<i>Часть 5. На дне</i>	233
<i>Часть 6. Ветер странствий</i>	269

Mikhail Dyomin
Taezhnyi brodiaga.
Printed in USA

МИХАИЛ ДЕМИН • ТАЕЖНЫЙ БРОДЯГА

0-89830-093-2